

Свет отчего дома

«Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича и Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им случилось наблюдать в жизни».

Лев Толстой.

Вместо предисловия

У меня было не так уж много шансов родиться. И это никакое не преувеличение. Моего деда по отцовской линии едва не прикончили известные своими зверствами анненковцы, шедшие карательным обрядом по Сибири через деревню деда с бабушкой. Спаслись деду, сочувствующему новой власти, удалось лишь чудом...

Мой отец прошёл через самую страшную из мировых войн – Великую Отечественную, побывав в самом пекле её, под Сталинградом, и закончив весной 1945 года в Восточной Пруссии. Мужчин – его ровесников – осталось в живых три процента, остальных выбила война. А отец уцелел.

И вот думаю теперь, уже сам находясь на склоне лет: если я всё-таки родился, значит, это было нужно?

Родился я, можно сказать, ещё в сталинское время, в феврале 1953 года, буквально за несколько дней до его смерти. Мне в этом смысле повезло, потому что я рос уже в другое время – не очень сытое, но уже не страшное и не голодное, очень романтическое...

...Целинный совхоз «Михайловский» в Казахстане, на самой границе с Россией – там, где сходятся Павлодарская, Омская, Новосибирская области и Алтайский край... Мои родители, Дмитрий Петрович и Антонина Тимофеевна, были в числе его основателей, первостроителей. Как тогда говорили – первоцелинников. Предки мои по отцовской линии – тульские, по материнской – пензенские. На стыке девятнадцатого и двадцатого веков они отправились в поисках лучшей доли в Сибирь – осваивать новые земли, обосновавшись на землях нынешней Новосибирской области. Ну а отец с матерью в поисках всё той же лучшей доли продвинулись ещё дальше, в Казахстан. Мне было в ту пору два года, а теперь уже (страшно подумать!) под шестьдесят. С 1955 года я живу в Казахстане, и поэтому считаю себя коренным казахстанцем.

Сегодня кое-кто не прочь объявить целину одной из хрущевских авантур. Я убеждён, что это не так. Да, дров наломали, особенно в первое время, распахав огромные сплошные массивы, чего делать было нельзя. Но ведь и край этот преобразили, цивилизовали. Я верю, что история ещё воздаст должное первоцелинникам, оценит их заслуги по достоинству. Для меня же самого, выросшего на излете хрущевской волны, целина с её романтической закатской, неповторимыми человеческими характерами и судьбами, своеобразным бытом, где смешались традиции и обычаи разных стран и народов, – исток всего лучшего, чистый родник, основа основ. Поверьте, я знаю, что говорю: настоящие целинники – не из худшей породы людей.

Считаю, мне повезло с родителями, дедушками и бабушками. В детстве мне много внимания уделяла бабушка по отцу, Мария Петровна, женщина удивительной судьбы. Бабушка родилась ещё в девятнадцатом веке, у неё было 14 детей, 13 из которых она пережила. Бабушка была землячкой и современницей Льва Толстого (и, кто знает, может, даже видела его в своём раннем детстве), она прожила 98 лет, до последних дней сохраняя ясность и остроту ума, поразительное жизнелюбие. Она была почти неграмотной и с трудом расписывалась печатными буквами, но она говорила, как пела, такого чистого русского языка теперь уже не встретишь.

Фронтная «профессия» моего отца, Дмитрия Петровича Поминова, – разведчик, сапёр, войну он закончил в Восточной Пруссии, награждён главными солдатскими наградами – медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденами Славы третьей степени и Красной Звезды.

Отец всего повидал в жизни, обладал могучим природным умом, много читал, что стало примером и для нас, его детей.

Немало горя пришлось хлебнуть моей матери Антонине Тимофеевне, которая всю жизнь посвятила нам, детям. Мать – человек с ярким самобытным характером. Своеобразна и её речь, в которой на все случаи жизни находятся пословица или поговорка.

В нашей семье, где было четверо детей и бабушка, действовали чёткие правила: учись и работай на совесть, не хитри, не подличай. Живи так, чтобы родителям не было за тебя стыдно. Я эти правила хорошо усвоил и по ним воспитывал троих собственных сыновей. А о бабушке, Марии Петровне, отце с матерью рассказал в новеллах «Такая долгая жизнь», «Записки об отце», «Золотое слово», они опубликованы.

Я закончил Берёзовскую среднюю школу, которой благодарен за атмосферу высокой нравственности, чистоты, порядочности. Более всего нас учили здесь не столько наукам, сколько тому, чтобы мы всегда оставались людьми.

Журналистом захотел стать в старших классах школы. Наверное, тут сказалось влияние старшего брата Александра, писавшего стихи и к тому времени начавшего работать в газете.

После школы пошёл работать в Железинскую районную газету «Ленинское знамя»: хотел проверить, моё ли это дело – журналистика? Я благодарен «районке» за выучку. Она приучила меня к ответственности, к правилу «ни дня без строчки». Это было и трудное, и счастливое время. Районная газета выходила три раза в неделю и была

прожорливой, как кукушонок. Материалов всегда не хватало, профессия «районщика» приучала к «скорописанию» – со всеми вытекающими последствиями. От газетных штампов мне потом приходилось избавляться многие годы. Однако мне всегда будет дорог и памятен хлеб «районки» – очень трудный и очень нужный людям. И ещё я навсегда буду благодарен своим первым газетным учителям – Владимиру Мартыновичу Калиновскому, Александру Сергеевичу Державцеву, Леониду Павловичу Кишкунову, никого из которых, к сожалению, уже нет в живых...

Отработав два года в Железинской районной газете «Ленинское знамя», я поступил на факультет журналистики КазГУ. Учился хорошо, получал именную стипендию, ездил на сельхозработы и в стройотряд, редактировал факультетский рукописный журнал «Камертон». Думаю теперь, что на факультете нас недостаточно учили практической журналистике, зато мы слушали великолепные лекции и общались с прекрасными преподавателями и людьми. Спасибо им всем – тем, кто ещё жив, и тем, кого уже нет. А не называю их здесь лишь потому, что назвать пришлось бы очень многих.

В студенческой жизни хватало всякого. Плохое отсеклось и забылось, хорошее живёт в памяти. У меня есть небольшой цикл новелл о студенческой жизни «У нас на курсе», который вошёл в две мои книги.

Закончив университет, приехал по распределению в Павлодарскую областную газету «Звезда Прииртышья», в которой работаю 34-й год, в том числе больше 20 лет – редактором. Редактором был назначен в 35 лет – я был самым молодым редактором областной партийной газеты в бывшем Советском Союзе.

Я был членом бюро обкома Компартии Казахстана – перед тем, как эта партия ушла в политическое небытие. И с тех пор у меня установилась достаточно устойчивая аллергия на партии, поэтому я принципиально не вхожу ни в одну из вновь создаваемых – даже если зовут.

Хорошо или плохо столько лет быть редактором газеты при столь стремительно меняющихся временах? И хорошо, и плохо. С одной стороны, раз устоял, сохранил коллектив, смог провести газету через многие рифы и мели – значит, чего-то стоишь. Но тут есть и большая опасность: привыкаешь к людям, прирастаешь к ним... Некоторые коллеги помнят тебя практикантом, знают как облупленного, а ты должен их заставлять работать по-новому, портить с ними отношения, иногда даже расставаться. По-человечески это очень тяжело, мне, во всяком случае, такого рода обязанности доставляют немало душевных мук.

Моя профессия и нынешняя должность приносят не только удовлетворение и радость, но и многие разочарования. Теперь я хорошо знаю, что человек по сути своей далеко не идеален, что в нём вполне уживаются начала высокие и низкие.

Когда-то я считал журналистов особыми, едва ли не исключительными людьми. Теперь, поварившись в нашей газетно-телевизионной среде три с лишним десятка лет, понимаю, почему журналистику называют второй древнейшей профессией.

Мне грех жаловаться: я дожил до гласности... Что же касается свободы печати, то это миф. Правда лишь то, что существуют газеты разных хозяев, и можно выбирать, кому из них служить...

Наверное, есть смысл коротко сказать о своих книгах.

После университета я восемь лет «оттрубил» в сельхозотделе «Звезды Прииртышья» корреспондентом. Сначала это было интересно, а потом стало сильно надоедать: каждый год по кругу – посевная, сенокос, уборка, зимовка скота и т.д., и т.п. Спасало меня то, что накапливался жизненный материал, который уже не вписывался в газетные рамки, требовал иных форм и иных выходов. Так постепенно рождались журнальные очерки, проблемные статьи, заготовки для будущих книг.

Первую из них – «Целина в новых берегах» – я в муках рожал в материнском доме в «Михайловском» во время отпуска, насилуя чтением свеженписанных глав младшего брата-филолога Петра. Первый блин вышел порядочным комом. Я не обольщаюсь насчёт больших достоинств той книжки, но в довершение ко всему рукопись в издательстве искромсали, и в таком изуродованном виде она вошла в коллективный сборник «Талант владеть землёй». Однако издателям не удалось истребить во мне страсть к бумагомарательству. Следом я написал книгу «Крупяной клин» – о проблемах выращивания гречихи и проса в Казахстане. В ту пору гречка была большим дефицитом, и я полагал, что теперь агрономы-гречкосеи, коих я защищал, должны будут бесплатно кормить меня гречкой до самой смерти. А если серьёзно, то мне не стыдно за эту книжку, это добросовестное журналистское исследование, может быть, когда-нибудь оно послужит неплохим пособием для изучения истории земледелия в нашем крае и в целом в Казахстане.

Эти мои бывшие «труды», если можно так выразиться, «технологичны» и отчасти описательны, я шёл в них вслед за моими героями – агрономами, мелиораторами, специалистами других сельскохозяйственных профессий. Но названные книги дороги мне ещё и тем, что давали «энергию заблуждения» (я был убеждён, что они очень нужны), а ещё тем, что без них, наверное, не было бы других. Я имею в виду книги «Помню и люблю», «Характеры», «Живу». Это уже другой жанр, а в сущности, пожалуй, одна книга, которую я пишу более 30 лет. Она, эта книга, растёт во мне, как дерево, цепляясь корнями за пласты прошлого (историю жизней моих дедушек-бабушек и родителей), и тянется вверх кроной событий моей собственной жизни. Это своего рода литературное дерево моей жизни.

Я также издал книги очерков и статей «Мои современники» и «Между прошлым и будущим». В литераторах себя не числю, считаю своим главным делом журналистику. Но журналистику особого рода – исследовательскую, очерковую, добротную документальную прозу, цена которой, на мой взгляд, ничем не ниже, чем добротной беллетристике. Именно эта работа составляет основу моей жизни, если хотите, служит её оправданием.

Так, я долго и мучительно подступался к одной из, может, главных своих книг – «Хронике смутного времени». Эти записки я начал писать давно – ещё в разгар горбачёвской перестройки, совпавшей с большими изменениями в моей собственной жизни: я стал сначала заместителем, а затем редактором областной партийной газеты. Жизнь стремительно менялась, обрушивая на меня настоящий водопад фактов, событий, явлений. Разобраться во всем сходу было просто невозможно, а давило это на психику со страшной силой. Я часто оказывался в ситуациях, из которых нельзя было выйти, не поступившись чем-то очень важным: когда выбирать приходилось не между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим... Возникали вопросы, на которые не находил ответа... Именно в такие мгновения – может быть, от отчаяния – рождалось желание взяться за ручку и попытаться доверить чистому листу бумаги то, что не всегда доверишь даже близкому человеку... Попробовать понять, что происходит вокруг тебя, да и с тобой самим.

Иногда эти записки помогали снять напряжение, обрести душевное равновесие, становились чем-то вроде отдушины...

Больше двадцати лет я веду эти записки. И взявшись их однажды перечитывать, вдруг подумал о том, что многое из пережитого и передуманного мною может быть небезынтересно другим людям...

Я не сразу нашёл форму изложения записок и лишь после долгих раздумий остановился на жанре хроники, когда события излагаются день за днём... Это не мемуары в их общепринятом виде, а скорей «летопись впечатлений», мозаика жизни.

Моя хроника – не «правая» и не «левая». Она такова, какой была жизнь, я лишь следовал за нею. Я не судья и не адвокат тем людям, о которых пишу, и тем событиям, о которых идёт речь. Я лишь свидетель, хотя и не бесстрастный.

Вышли в свет уже два тома «Хроники» – в журнале «Нива», за что я очень благодарен его главному редактору и моему другу Владимиру Романовичу Гундареву, а также отдельными книгами. Недавно вышла третья книга. Эти три тома отражают наше сложное и противоречивое время с 1988 по 1997 год.

Доброжелательные отзывы на выход «Хроники смутного времени» появились во многих казахстанских изданиях, в «Литературной газете». Иногда я получаю в высшей степени трогательные отклики на эту книгу от совсем незнакомых мне людей. Но некоторые люди отказываются её читать, объясняя это тем, что они не хотели бы даже вспоминать о том времени и о той жизни. Мне самому также иногда тяжело перечитывать те свои записки, но тут уж ничего не поделаешь – надо... Годы работы над «Хроникой» – тяжёлые из-за нагрузок, но и счастливые годы...

Ещё не могу не сказать о «блестках», которые я пишу больше тридцати лет. Это короткие, порой в несколько строк, лирические миниатюры, новеллы, зарисовки, случаи из жизни. Начав их как-то собирать, я с удивлением обнаружил, что они могут составить целую книжицу. И я её издал, так и назвав – «Блестки». Я дарю эту маленькую книжку друзьям, подчёркивая: «Это хорошая книжка!». «Мы ещё не читали её, а ты уже говоришь – хорошая!» – удивляются они. «Хорошая потому, – отвечаю, – что её можно носить в кармане и читать с любой страницы».

Книга, которую вы держите в руках сейчас, составлена из наиболее дорогих для меня очерков, рассказов, новелл, ранее опубликованных в моих книгах «Помню и люблю», «Живу», «Между прошлым и будущим», «Блестки».

Что ещё остаётся сказать в заключение? Да, я не раз бывал разочарован своей профессией. Но я ей и благодарен – именно она даёт возможность познавать жизнь как никакая другая. Она подарила мне столько замечательных встреч, путешествий!

В сущности, нормальному человеку для счастья надо не так уж много: здоровье, дело по душе, которое даёт ему средства для нормального человеческого существования; ещё обязательно семья и возможность жить без душевного дискомфорта, в согласии с самим собой, то есть с собственной совестью, в соответствии со своей натурой.

Мне очень повезло в том, что мы давно идём по жизни вместе с Ольгой Григорьевой – моей женой, матерью троих наших замечательных сыновей – Данила, Дмитрия и Павла. Мы с Ольгой понимаем друг друга с полуслова, она хорошая журналистка, настоящий поэт и моя первая советчица в творческих делах.

Я думаю, мне ещё рано подводить итоги, хотя кое-что в этой жизни я всё-таки сделал. Когда у меня тяжело на душе, я вспоминаю фразу главного героя повести Василия Белова «Привычное дело» Ивана Африкановича: «Всё равно лучше было родиться, чем не родиться».

Юрий ПОМИНОВ, сентябрь 2010 года.

Свет отчего дома

Когда-то давно я предложил двум своим братьям, имеющим, как и я, некоторое отношение к литературе, написать о нашем старом доме. «Ты журналист и поэт, – агитировал старшего, – тебе это вполне по силам». «А ты филолог, ученый – тебе и карты в руки, вспомни хотя бы традиции классиков... – убеждал младшего. – Давайте напишем все втроём – как у кого получится... Сравним... Может быть, сведём всё вместе...».

Сначала они вроде загорелись. Но из этой затеи так ничего и не вышло. И вот теперь, спустя два с лишним десятилетия, я пускаюсь в это рискованное предприятие в одиночку, абсолютно не будучи уверенным в том, что у меня это получится.

...Улица Абая, дом номер восемь. Это был наш адрес в бывшем целинном совхозе «Михайловский». Пишу – «был», потому что нет теперь ни дома, ни совхоза, ни даже его названия – всё уже в прошлом, в памяти – моей, да, может быть, ещё чьей-то.

Дом был как дом, ничего особенного – камышитовый, всегда чисто выбеленный, под шифером – таких строили большинство в раннюю целинную пору. И отличался наш дом от других разве тем, что шифер на нём настелили двухцветный. Скорее всего, просто такой попался шифер. Но мне это нравилось. Я даже втайне гордился тем, что крыша у нас особенная, не как у всех...

К сожалению, я совсем не помню, как строился наш дом. Не знаю, почему, ведь в четыре года человек уже кое-что соображает, и важные события из того возраста должны откладываться у него в памяти. У меня не отложилось... А может быть, меня в очередной раз отправили на лето к бабушке с дедом, и я приехал, когда наш дом уже стоял... Зато я точно помню: рос с ощущением, что дом у нас был всегда. И наполовину вросшая в землю пластяная баня на задворках усадьбы. И колодец с журавлём, куда мать в летнюю жару спускала ведро с молоком, чтобы оно не скисало... И погреб рядом с колодцем – холодный, как тогда говорили; в него мы закладывали на зиму картошку и всякую солонину – квашеную капусту, солёные огурцы, помидоры, грибы и арбузы в бочонках... И два приусадебных огорода: один побольше, соток на пять, для картошки; другой, поменьше, на две стороны дома, для овощей и столовой зелени. Ещё стояли рядом два сарая, один из которых ещё недавно служил нам жилищем.

Я никогда не задавался мыслью о том, откуда взялось всё это. Мне казалось, что так было всегда. И даже клёны и тополя, прикрывающие летом фасад нашего дома своей тенью, а зимой служившие прибежищем огромных – до самых окон и выше – сугробов, даже эти деревья казались мне всегдашними здешними обитателями.

В нашем доме я больше всего любил две вещи: большую русскую печь и чердак. Правда, печь, занимавшая прежде с треть нашей просторной кухни, просуществовала недолго. Мать говорит – прошла мода на них – вот и избавлялись...

А наш чердак я запомнил хорошо. На нем мне позволялось летом ночевать с кем-нибудь из друзей. Вечерами тут было темно и душно: шиферная крыша за день накалялась на солнце и медленно отдавала тепло. На чердаке пахло пылью... Временами становилось страшновато – ребята постарше говорили, что на чердаках ночуют летучие мыши, что они пьют кровь людей и животных. Но скорее тут было уютно – среди старых подшивок «Огонька», перевязанных шпагатом; отслуживших своё и непонятно зачем хранимых старых сапог и ботинок, дырявых пальто и одеял, прочей домашней утвари... Через щели в крыше ночью проглядывали звёзды, отчётливо слышны были голоса редких прохожих с улицы, доносилось мерное лопотание тополиных листьев... И уж совсем становилось славно, когда начинал накрапывать дождь – под его негромкий аккомпанемент так неслышно и сладко подкрадывался сон...

* * *

Собственно, из-за этого самого дома наши отец с матерью и поехали на целину. Уж десять лет прошло, как закончилась война, с которой вернулся отец, и восемь, как они поженились. Уже было трое детей на руках, а собственного жилья они так и не завели. Мотались по городам и весям в поисках лучшей доли. Вот мать и настояла, наслушавшись радио и разговоров: «Поехали! Говорят, там людям хорошие ссуды дают, всем, кто строится», – убеждала отца. Он пошёл по инстанциям, все разузнал... Сначала думали обосноваться в Омской области, а потом кто-то из родни присоветовал: «Езжайте в Казахстан – тут недалеко новый совхоз открывают... Какая-то сотня с лишком километров от нашей Чубаровки...». На том и порешили.

Отец получил путёвку райкома комсомола, дождался отправки очередной партии добровольцев...

Пробивались от Купино к месту будущего совхоза с колонной тракторов и автомашин 120 километров ещё по снегу, до весеннего бездорожья... Местность приглянулась: тот же простор, что и в соседней Сибири, те же берёзовые колки... Нет, правда, привычных чубаровских грив да полыни побольше, но разве это беда?

Весной, ближе к лету, приехала и мать с нами тремя: старшим, Шуркой, мной и младшей Наташкой. Шурке ещё не было пяти, мне недавно исполнилось два года, Наташке – год. Жили в палатке, какое-то время – в самодельном шалаше (тогда говорили – в балагане), первую зиму зимовали в наскоро сооружённой землянке... А уже на следующий год родители твёрдо надумали строиться.

О том, как это было, я могу судить лишь по рассказам матери. Отец взял ссуду – десять тысяч рублей. Приличная по тем временам сумма, едва ли отец с его зарплатой сперва радиста, а потом завтоком, инженера-электрика мог заработать такую за год... А ведь жить приходилось все первые годы на его весьма скромную зарплату, мать сидела с нами... Восемьдесят процентов ссуды полагалось вернуть в течение десяти лет, оставшуюся часть погашало государство.

Ссуду в первые целинные годы брали почти все, и самостройные, как их называли, дома в ту пору здесь росли, как грибы в окрестных колках после хорошего июльского дождя. В лето на четырёх главных совхозных улицах – нашей Абая, соседней Хрущева (потом её, понятно, переименовали, но ещё очень долго называли по-старому), Целинной, Ленина – ставили в общей сложности до полутора десятков домов. Это были в основном камышитовые и саманные постройки. Но предпочтение отдавалось всё же камышитовым. Они, по словам матери, в любое время года оставались сухими и теплыми, а летом отлично сохраняли прохладу. «Не то что саманные – те вечно мокрели», – говорила мать. Хотя, наверное, дело ещё и в другом – камышитовый дом было поставить проще, он обходился дешевле – и по деньгам, и по трудам. Но мать нисколько не грешила против истины и в первом: я по себе знаю, что зимой у нас в доме всегда было тепло, летом – прохладно, и никогда не бывало сыро. Нигде и никогда мне так хорошо не спалось, как в том отчем доме.

«Частные» дома целинников ставила специальная бригада плотников, которой командовал Иосиф Пущелев – отец моего лучшего будущего школьного друга Тольки. Плотный, коренастый, с чёрными кустистыми бровями, он был

мастеровит и малоразговорчив, а ещё имел славу лучшего в округе охотника (именно в их доме я впервые попробовал жареного зайца).

Лес для строительства возили за четыре с лишним сотни километров из Чалдая и частью – из окрестных колков, камыша было вдоволь на окрестных озёрах, его заготавливали зимой, по льду, по снегу, впрок... Бригады женщин вязали из него специальные камышитовые маты – по сути, готовые строительные блоки.

Итак, плотники при помощи хозяина будущего дома ставили каркас – с разделами комнат, дверными и оконными проёмами. Скелет дома был деревянный, а внутренности стен и простенков – камышитовые. О лучшем теплоизоляционном материале и мечтать не приходилось. Кстати говоря, вместо камыша некоторые хозяева зачастую использовали при сооружении сараев и других надворных построек степную полынь, в огромном количестве произрастающую в округе. Тут были настоящие полынные заросли, которые запросто скрывали взрослого человека в полный рост...

Враз одолеть черновую отделку дома в одиночку любой семье было не под силу. Тем более что времени у будущих хозяев на это оставалось всего ничего – несколько летних месяцев. Зимовать же все, кто строился, собирались уже в своих новых жилищах. И тогда целинники вспомнили – жизнь заставила – давнюю народную традицию – опыт артельного труда.

Это называлось помощь.

Помощь собирали для того, чтобы на первый раз обмазать глиной камышитовый каркас дома. Мать говорит, что практически никто не делал эту работу в одиночку, её делали артельно все те семьи, которые строились в одно лето. Действовал и своего рода поток, негласная очередь – как только плотники заканчивали ставить очередной каркас, хозяин с хозяйкой обходили артельщиков и звали их в ближайший выходной на помощь. Отказываться было не принято: сегодня пойдёшь помогать ты, завтра придут на помощь тебе. Поэтому, говорила мать, хоть гори у тебя самой всё огнём – на помощь надо идти.

Накануне у дома, который собирал помощь, делался большой замес. Гусеничный трактор как циркулем расчерчивал на земле круг, плугом вспахивая внутри него землю – и небольшой слой чернозёма, и глину под ним; хозяин заливал свежую вспашку водой, трусил сверху солому, а трактор все это перемешивал своими гусеницами. Проходил не один час, прежде чем достигалась нужная кондиция – крутая и тяжёлая смесь чернозёма и глины с измельчённой соломой. Настоящий, кондиционный замес поддеть лопатой было почти невозможно, поэтому его цепляли только вилами, и он на них прекрасно держался, этот своего рода целинный бетон. Им-то и предстояло обмазывать, хотя вернее будет сказать – оббивать, камышитовые стены дома...

Часам к девяти-десяти утра собиралась помощь – пар восемь-десять, мужья с жёнами; мужики – с вилами, женщины – с ведрами. Мужики грузили и разносили на носилках замес, женщины вталкивали, вбивали его кулаками в камышитовые стены. И если мужская работа была просто тяжела физически, то женская требовала известной сноровки. Тут заправляли, командовали – давали первые уроки всем остальным – бабка Ганжиха, наша соседка, и бабка Толстая с улицы Ленина, освоившие эту науку раньше. Скоро нехитрому занятию черновой отделки обучились все кто хотел, – жизнь заставила. И если на то, чтобы обмазать первые дома, уходило по целому дню, то потом управлялись часов за пять-шесть. Так или примерно так строили свои жилища семьи – наша, Агеевых, Пуцелёвых, Музыченко, Толстых, Бондаренко, Шайдт... Когда собирали помощь, работали всегда дружно, споро, с минимальными перекурами. Часам к двум-трём, сделав дело и наскоро умывшись и приодевшись (а иные и не переодевались), усаживались в только что обмазанном доме, где ещё не было ни дверей, ни окон (на сквозняке обмазка скорее сохла, намертво присыхая к стенам), за грубо сколоченные деревянные столы – их тоже носили от дома к дому – туда, где работали... Хозяйка в этот день вместе со всеми не работала – её заботой было приготовить на всех обед, потому что никакой иной платы за помощь не полагалось. К этому дню заблаговременно гнали самогон, который наливали мужикам в гранёные стаканы и по полной, женщинам – в стопочки-стаканчики. Все знали, у кого самогонка особенно удаётся, и иногда заказывали им на такой случай. Но деньгами за эту услугу не расплачивались – давали, сколько надо, сахара. Вино если и брали, то почти не пили – разве что утром на опохмелку... Не считался излишеством и бочонок пива с ящиком вяленого чебака – их загодя привозили из Купино, где были пивзавод с рыбозаводом. Впрочем, пивом угощали не у всех, что также не считалось неуважением – на нет и суда нет. На первое подавали борщ, на второе – тушёную картошку с мясом, на закуску – селёдку, на третье – кисель или компот... Тут же, за общим столом, кормили всех детей. Выпив и закусив, выходили во двор потанцевать, пели частушки. Ни один обед после помощи не обходился без гармониста – они были нарасхват.

Разбредались, «уже хорошие», когда пастухи гнали скотину домой... Утром кое-кто из мужиков прибежал опохмелиться, что тоже не считалось предосудительным.

А дом сох ещё несколько дней. Потом хозяйки мазали его ещё на второй и на третий раз, но уже либо сами, либо с помощью подруг или соседок, потом шпаровали и, наконец, белили. И становился он белым и чистым – именно таким мне всегда вспоминается наш дом.

* * *

А наш двор – чего только в нём не было! Турник. Теннисный стол. И даже волейбольная площадка – самая настоящая, со столбами и сеткой, размеченная по всем правилам. Тут такие баталии разворачивались... Благо, что боковая стена дома с пристроенной к ней позднее кладовой не имела окон... До сих пор удивляюсь, почему родители терпели в своём дворе всю эту вечную ребячью толкотню?

Повзрослев, я уже сживал вечерами на скамеечке за забором у нашего дома – такие же были почти у всех усадеб.

И сидел я не просто так...

Вечерами по нашей улице иногда прохаживалась с одной-двумя подружками моя одноклассница Танька Шаповалова. Танька была на голову выше меня и вообще взрослее, значительнее, а я – чего уж теперь скрывать – тайком вздыхал по ней. Нам было, наверное, лет по тринадцать-четырнадцать, я писал за неё сочинения... По «Евгению Онегину», по «Герою нашего времени»... Один раз это происходило у нас дома. Танька сидела за круглым столом, покрытым красной плюшевой скатертью с бахромой и кистями, а я прохаживался по комнате и диктовал: «Пушкин как бы спрашивает своего героя: «Но был ли счастлив мой Евгений, свободный, в цвете юных лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений?». Тут я делал паузу и, дождавшись благосклонного кивка: «Готово, записала...» – продолжал: «И сам отвечает на него: «Нет, рано чувства в нём остыли, ему наскучил света шум...»».

Я подходил к Таньке, заглядывал через её плечо в тетрадку, заботливо поправлял: «Чувства» пишется с «вз» перед «эс»... Так, записала?».

Снова кивок в ответ.

«Все понятно?».

«Не-а», – машет в ответ головой.

«Что непонятно?».

«Непонятно, какой у света может быть шум... Свет он и есть свет...».

Танькина непонятливость начинает меня раздражать, но... сердцу не прикажешь, и я продолжаю роль терпеливого наставника: «Ну, это высшее общество Петербурга... Знать... Дворяне-князья, графья...».

Она мечтательно закидывает голову: «И чего это ему, интересно, наскучило? Мне бы вот не наскучило...».

Конечно же, я рассчитывал на Танькину благосклонность, хотя, как теперь понимаю, моя персона если и интересовала её, то лишь в сугубо практическом смысле – как устроителя четвёрки за сочинение...

Много ли мне надо было от неё в те летние вечера, чтобы почувствовать себя почти счастливым, сидя на скамеечке у дома? Вполне хватало полуоборота в мою сторону, одного кивка, одной улыбки...

* * *

Подстать нашему скромному жилищу были и другие на улице Абая. Те же камышитовые или саманные дома под шифером, те же усадьбы с надворными постройками, те же огороды и палисадники... Но сколь непохожими друг на друга подчас оказывались их обитатели! Каждый дом и каждый двор – это был целый мир. Вот, например, у нас всё было нараспашку – усадьба просматривалась со всех сторон, двери никогда не запирались... Кажется, у нас и замка-то никогда не водилось, и если все уходили, просто прикрывали дверь, ставили вплотную к ней ведро – любому ясно, что дома никого нет. И так было не только у нас, а у многих. Может, потому, что нечего было красть?

Через дорогу от нас, наискосок, жили Ищенко. Их дом наоборот был, как любят теперь говорить, крепостью и для тогдашних соседей, а особенно ребятни, всегда оставался тайной за семью печатями. Хозяин (в совхозе его все от мала до велика звали в разговорах меж собой Ищенко – по фамилии) неопределённого возраста, вечно насупленный, сумрачный, будто чем-то недовольный, служил лесником в соседнем Михайловском лесничестве. Ходил чаще всего в форменной одежде, что придавало его облику ещё большую строгость, суровость. Мы, пацанва, боялись его как огня, старались обходить, не попасться на глаза. Его сторонились и взрослые и, кажется, недолюбливали. А может (думаю это уже теперь), потому всё это было, что он стоял на страже леса и не позволял целинникам приворовывать стóящую древесину в окрестных колках. Ведь последнее отнюдь не считалось в народе большим грехом – жить среди леса и не поживиться, не срубить задарма десяток-другой берёзовых жердей для сарая?

Как бы там ни было, жили Ищенко сверхзамкнуто, отгородившись со всех сторон глухим дощатым забором выше человеческого роста. Во дворе бесновалась на цепи и бегала по проволоке здоровенная овчарка, которую, впрочем, тоже почти никто в глаза не видел. Но самое жгучее любопытство у нас, соседской ребятни, вызывал ищенкоковский сад, в котором росло с десяток-полтора яблонь. Таких яблонь не водилось ни у кого. А как аппетитно и дразняще светились на деревьях красными и розовеющими боками поспевающие к осени яблоки, как будоражили наше воображение, как манили к себе... Как нам хотелось хотя бы раз в жизни оказаться в этом саду. И вот что странно. Большинство из нас были далеко не пай-мальчиками: грешным делом совершали набеги и на совхозный сад-огород, и на бахчи, и к соседям в огороды лазили... Но тут особый случай – смельчаков почему-то не находилось. И не собака тому виной, а нечто другое: и дом, и вся усадьба оставались для нас чем-то непонятным, запретным, внушающим не столько страх, сколько табу. Нельзя – и всё тут.

Жена Ищенко работала в школе учительницей младших классов и, кажется, тоже страдала от нелюдимости мужа. У нас дома её звали тётя Таня-Алексей, как окрестил учительницу один из первоклашек, сияясь вспомнить её имя-отчество. Отношение к ней в совхозе было исключительно уважительным; похоже, ей тайно сочувствовали – вот, мол, выпала же доля жить с таким...

А вот их дочь – худющая, голенастая Томка, всегдашняя участница наших уличных игр в лапту, умеющая как никто другой ловить даже самые «мёртвые» мячи, была в доску «своим парнем» и нисколько не задавалась. Но даже она никого домой не звала, да к ней никто и не просился.

Я теперь думаю: интересно, куда они девали урожай со своих яблонь? На нашей крохотной теперешней дачке яблонь куда меньше, а яблоки каждый год девать некуда, раздаём... Ищенко их не продавали – это точно. Сами съесть тоже не могли – вряд ли те яблоки могли долго храниться. Ну, сушили, варенье варили... А может, скоту скармливали?

Ищенковский дом купили Баклановы. Первое, что они сделали, заселившись, – созвали всех соседей на новоселье. Мол, а как же иначе: надо познакомиться, и делать это лучше всего за общим столом...

* * *

Шарубины жили через дорогу – прямо напротив нас. Сказать, что мы были соседями – ещё ничего не сказать. Наша мать с тётёй Верой были подруги – не разлей вода. Такими они оставались всегда – и в радости, и в горе. Вместе мазали и белили оба наших дома, вместе ездили на велосипедах доить коров на пастбище, не пропуская при этом по весне сорочьих гнёзд и привозя нам на потеху и в качестве лакомства серо-зелёных в крапинку сорочьих яиц... Вместе ходили в баню, выпивая затем на пару трёхлитровый чайник чая... Они становились крёстными у детей друг друга. А их на две семьи набиралось более десятка. Мы с Шарубинными-детьми летом и осенью обшаривали все окрестные колки в поисках ягод и грибов...

Когда, не дожив до пятидесяти лет, от заурядной язвы желудка умер отец Шарубиных, весельчак и балагур дядя Вася, именно матери выпала тяжёлая доля нести в соседский дом эту страшную весть... В ту пору старшая дочь Шарубиных Анна (по-уличному Нюрка) только-только заканчивала школу, а младшую, седьмую по счёту, Ирку тётя Вера ещё не успела отнять от груди... Говорят, что на похоронах тётя Вера была как каменная – не сказала ни слова, не уронила ни слезинки. Боялись, что она умом тронется. И было отчего: всех своих детей (она их в шутку иногда называла хеврой) предстояло поднимать одной, без кормильца дяди Васи. Как ей это удалось на сверхскромную зарплату инструментальщицы совхозной МТМ, моему уму непостижимо. Воспитывались Шарубины в строгости, слово матери в семье было законом. За стол Шарубины садились только все вместе. Обращаю на эту деталь внимание лишь потому, что у нас в семье была по этой части относительная вольница.

Жили они, что там говорить, бедновато, но никогда не побирались; ходили чисто, хотя и донашивали одежду друг друга... Держали скот и птицу, садили помногу (до полгектара) картошки, пекли дома хлеб, старшие нянчили младших. Можно сказать, жили не хуже других, все дети как-то определились в жизни, завели свои собственные семьи.

Хотя не всегда это происходило гладко.

Как-то раз тётя Вера пришла к матери в слезах.

– Не знаю уж, что и делать, кума – хучь плачь!

– Что такое? – не на шутку встревожилась мать, зная, что характер у тети Веры – кремень и вышибить из неё слезу не так-то просто.

– Степка-то мой знаешь чего отчебучил?

– Да уж слышала, – спокойно сказала мать. – На Тамарке Садвокасовой, что ли, жениться хочет?

– Ну...

– Ну и что? Ему жить... Пусть женится...

– Как это что? – обиделась тётя Вера. – Выходит, знала – и молчала... А дети?

– А что дети? – не поняла мать. – При чем тут дети?

– Дети будут... казачата. – Имелось в виду казашата. И тётя Вера окончательно расплакалась. Мать взялась её успокаивать, убеждая не мешать сыну строить свою жизнь...

Однако все и впрямь оказалось куда сложнее. Против была не только будущая свекровь, но и дед потенциальной снохи, асакал, заменивший ей родителей. Он так же и слышать не хотел про русского зятя, вероятно, не в последнюю очередь заботясь о чистоте потомства своего собственного рода.

Пришлось матери пускать в ход весь свой авторитет, всё своё обаяние, всю хитрость... Тётя Веру ей удалось уломать довольно быстро, а вот с асакалом пришлось помучиться... С первого захода успеха не добились, пришла вместе с молодыми, говорила – какая они пара, заставила выслушать их... Старик сидел с каменным лицом, не произнося ни слова... Каким образом матери в конце концов удалось растопить его сердце, остаётся загадкой... Скоро сыграли свадьбу.

А семья Степана Шарубина и Тамары Садвокасовой и впрямь получилась на зависть другим. И детей им Бог дал на радость красивых и умных. А когда и в эту семью пришло горе – умерла их дочь, – мать опять посчитала своим долгом быть в эти часы и дни рядом с подругой и своими крестниками. И снова это было более чем кстати. Назревал межсемейный конфликт: по какому обычаю хоронить умершую – мусульманскому или православному? Мать усадила спорящих за стол переговоров, и они обо всём договорились, в конечном счёте отдав дань и одним, и другим традициям. А матери и тётя Вере, вопреки незыблемым, казалось, правилам, даже позволили проводить в последний путь внучку на мусульманское кладбище, где похоронили дочь Шарубиных-Садвокасовых.

Люди, если они люди, всегда смогут понять друг друга.

* * *

Какой яркий, неповторимый люд обитал на нашей улице! Сколь замысловато подчас складывались судьбы! А какие были характеры! Вспомню лишь некоторых – кого подробнее, а кого – одной строкой...

Через два дома от нас, по одной стороне улицы, жили Карл и Фрида Отт со своей ребятнёй. Наверное, ни у кого на нашей улице Абая не было столь опрятного, красивого дома с резными ставнями, такого палисадника с невысоким, резным же штакетником, таких красивых, всегда свежеевыкрашенных ворот. Хозяина все звали почему-то на женский

манер – Карла. Так и говорили: «Вон идёт Карла Отт», называя по имени и фамилии. Это был очень немногословный мастеровой мужик, отличный столяр и плотник... Случался, правда, и у него грех – мог выпить, и крепко, а потом шугануть жену. И тогда Фрида кричала так, что слышно было на всю округу: «Фашист ты, фашист недобитый. И дети твои фашисты!»». Что отвечал ей супруг, родившийся и всю жизнь проживший в Советском Союзе, неизвестно – его голос вообще редко кому удавалось услышать. А на другой день их жизнь возвращалась в привычное русло.

Женщины-немки, не обременённые знанием «великого и могучего», изъяснялись меж собой так:

– Наша Эльса фышла самуж!

– Са кому?

– Ты косая Федька снаешь? Са ему!

Вообще немцев у нас в совхозе прижилось немало – и старых, почти не говоривших по-русски, и среднего возраста, а ещё больше детей. Бабка Амалия, сухая, прямая как жердь, чем-то похожая на ведьму, была бессменной уборщицей и сторожихой в нашей школе и жила в землянке напротив неё. Правильнее будет сказать, что жила она при школе, часто строжилась на нас, но никто её почему-то не боялся.

Тут же, неподалеку в переулке, жили Кенихи. С их сыном Аркашкой мы учились в одном классе, играли в футбол. Сухой, резкий Аркашка отличался бешеным нравом и с весны до осени ходил босиком. Он и в футбол лучше всего играл босиком, а надев кеды и тем более бутсы, становился на поле почти беспомощным. Жили Кенихи бедно, замкнуто. И лишь много позже я с изумлением открыл для себя, что их фамилия Кених – это искажённый вариант от Кёниг, то есть король – звучала по меньшей мере как издевательство, во всяком случае, в ту пору.

С Сашкой Гоасом мы десять лет проучились в одном классе и были очень дружны. Его отец Иван Фёдорович был лучшим мотористом в совхозе и обладателем одного из первых появившихся у нас мотоциклов с коляской. Зимой двигатель с мотоцикла снимали и устанавливали на лыжи, пристраивали пропеллер, и получались аэросани. Они развивали по снегу скорость до 35-40 километров в час.

Где ты теперь, друг мой Сашка Гоас? Пусть тебе икнется в Германии!

Нашли последний приют в бывшем совхозе мои любимые учителя Дарья Александровна и Борис Афанасьевич. Она всю жизнь преподавала в нашей Берёзовской школе немецкий, он – физику, математику, геометрию. Их фамилия – Русских, хотя Дарья Александровна – немка. В своё время в неё почти поголовно влюблялись старшеклассники, и один из них даже разразился четверостишьем, насколько дерзким, настолько и восхищённым:

Наш милый рыжий педагог,

Ты царь и Бог,

Ты царь и Бог!

Родня никак не хотела отдавать Дарью Александровну за Бориса Афанасьевича – пришлого горожанина... Но та сказала, что все равно пойдёт за него.

– Ну и дура! – слышала в ответ.

– Ну и пусть, – отвечала сама Дарья Александровна...

И никогда не пожалела о сделанном выборе. Как, впрочем, и Борис Александрович, которому мы в школе попортили немало крови.

Дарья Александровна – из семьи репрессированных немцев, рано осталась без матери. Выжили благодаря отцу – классному трактористу. Когда открылся железный занавес, и немцы потоком устремились на историческую родину, в том числе и многочисленная родня Дарьи Александровны, отец уезжать отказался. А особо досаждавшим с уговорами заявил так:

– Вот моя Германия... – и показал рукой в сторону старого деревенского кладбища...

...Сотни учеников Дарьи Александровны и Бориса Афанасьевича разлетелись по всему миру, некоторые нет-нет да и завернут на родину – на традиционный вечер встречи выпускников в школу, попроведать родню или просто с оказией. И почти никто не миновал дома двух этих таких родных нам всем людей...

А из немцев мне ещё помнится по младшим классам маленькая, чистенькая, гладко причёсанная, всегда в белом фартучке Ольга Беккер. Она выглядела просто куклой на нашем общем, не слишком опрятном, скорее, неприглаженном, фоне.

Увалень и добряк, хозяйственный тугодум Вовка Дейбус был нашим неизменным классным старостой...

Немцы вносили в сумбурную, несколько суматошную жизнь целинного совхоза некое подобие основательности, размеренности, солидности. У них другие учились вести домашнее хозяйство, искусству соления-маринования-вяления-копчения... Они учили соседок делать кровяную и мясную колбасу, выделывать для неё кишки, которые прежде выбрасывались... Немцы добавляли в целинный быт свою долю умиротворяющей гармонии.

Иное дело – ленинградцы. Эти на первых порах пытались держать себя так, будто они не чета всем остальным и слеплены из особого теста. Из-за чего не раз попадали впросак. Про них в совхозе и много лет спустя любили рассказывать такую байку. Муж спрашивает у жены: «А мы обедать сегодня будем?». Жена: «Я ничего не готовила». – «Почему?» – «А нас в гости позвали. Что ж мы наедемся дома, как дураки, а там сидеть будем?».

Про форсистых, одевающихся не по сезону, щеголяющих невпопад городскими манерами ленинградоков в первые целинные годы ходила ядовитая частушка:

Прорастают на току

Вика с повиликою.

Подержи мой редикюль –

Я пойду посикаю.

Скоро, впрочем, выяснилось, что большинство из тех, кто именовал себя ленинградцами, на самом деле не имеет к городу на Неве никакого отношения. Бывшие сельские или поселковые жители Ленинградской области, они по-своему старались проявить себя на целине, и без них целинный быт потерял бы всё своё многоцветье.

Одно время на нашей улице жила семья главного зоотехника Оралбека Кожанова: его родители и он сам с женой и детьми. Кожанов был подтянут и статен, на него заглядывались женщины, а мы, мальчишки, особенно ценившие силу и ловкость, из уст в уста передавали историю о том, как он продемонстрировал приёмы самбо на одном из местных «авторитетов»... Это было что-то вроде показательного броска: тот сам «завёл» Оралбека (видали мы, мол, таких самбистов) и получил наглядный урок.

Жена Кожанова – красавица Марьям – работала учительницей в нашей школе, отличалась строгостью и справедливостью. Оралбек (впрочем, в совхозе все его звали Урал бек) дружил с моим отцом, захаживал к нам в баню. Наша баня была знаменита тем, что топилась по-чёрному (за отсутствием трубы дым выходил прямо в дверь), в ней перебивал почти весь совхоз.

Кто же мог подумать тогда, что Оралбек Кожанов со временем станет председателем облисполкома – в ту пору первым лицом в области, напишет книги... Что мне придётся часто встречаться с ним, и не только по службе... Сейчас Оралбек Кожанович возглавляет областной фонд имени К.И. Сатпаева.

Кого только не заносило на целину! И как только люди здесь ни самоутверждались! Колоритнейшей парой на нашей улице были Хомутовы. Низкорослый крепыш – точно гриб-боровик – дядя Петя, гармонист и плясун, едва достигал плеча своей супруги тётки Кати – дородной, необъятной как баобаб. Без них не обходилась ни одна гулянка на нашей улице.

Друзьями отца с матерью были Агеевы – дядя Саша и тётка Тося. Свою жену дядя Саша звал «моя опасна», моих родителей – «кум» и «кума». Отец именовал друга «чалдон желтопупый». Первую целинную зиму Агеевы зимовали в нашей землянке – нас вместе было около десятка человек. Сидели «один на одном», смеясь, вспоминала мать. Меня дядя Саша чуть ли не с младенчества от слез отучал, страдая: «Смотри, станешь хныкать – буду тебя звать «пикуюлкой»! Агеевы часто бывали у нас, а наши родители – у них, гуляли чаще всего вскладчину, принося с собой кто чем богат: картошку, всевозможную солонину, холодец, вяленых чебаков...

Звали друг друга в гости на свежину – жареную свинину с картошкой, когда закалывали по морозам свиней. К нам на свежину заглядывал друг отца, местный казах Хасан Жусупов, а отец с матерью были не раз званы к нему на бешпармак. При этом мужья отлично себя чувствовали как у сковороды с дымящейся жареной свининой, так и у табака с не менее ароматной кониной, а их жены готовили друг для друга отдельно: говядину, курятину или баранину.

Баурсаки я в первый раз попробовал в доме моего одноклассника Сапара Алимова. Горячие, прямо из казана с кипящим маслом, они были так аппетитны и ароматны – казалось, я ничего вкуснее в жизни не ел. А с Бобкеном Джумалиновым (мы звали его на русский манер Вовкой) я дружил до тех пор, пока не оборвался его земной путь. С Мишкой – Мейрамбеком – Утеуовым и Нагимой Асылгожиной дружу и сейчас... Как и с нынешними россиянами Толькой Пуцелевым и Надькой Лукьянцевой, Вовкой Скотских и Сашкой Пыстиным. Они – тоже целинники, мои одноклассники, и никакие границы и суверенитеты никогда не смогут нас разделить.

А директором в нашей школе – тоже наш человек – одноклассник Кеннесары Едрешев. Мы прочили ему большое спортивное будущее и никогда – педагогическое. А зовём, как и тридцать с лишним лет назад, переименовав его имя на русский лад – Комиссаром. И его стройная, живая как ртуть, супруга Бижамал уже привыкла ко всем нашим чудачествам и всякий раз принимает как свою большую родню.

Самое экзотическое блюдо на целине научил есть сперва мужиков (а потом на это осмелились и некоторые женщины) Яков Кукарекин. Это был самый первый специалист по лишению кабанчиков важнейшей составной их мужского достоинства. Проще говоря – Яков Кукарекин их кастрировал. Сначала он вообще был единственный умелец по этой части, а потому и шёл нарасхват. Разумеется, после каждой кастрации (это называлось «подложить» кабанчика) мастера следовало уважить – угостить. Выпивка само собой, а на закуску Яков Яковлевич предпочитал вещественные доказательства им самим проведённой операции – те самые кабаньи яйца. Женщины на первых порах плевались, принимали предложение поджарить «деликатес» как издевательство. Иногда мастеру приходилось браться за дело самому, затем нашлись смельчаки, первыми составившие ему компанию и за столом (разумеется, при обильной выпивке), а потом «свежина особого рода» и вовсе перестала быть чем-то особенным. Наоборот, в дело пошли и бычьи вырезанные яйца, которые, само собой, куда больше кабаньих... И скоро к этой трапезе приобщились и женщины, правда, далеко не все.

Другой легендарной личностью на нашей улице был дядя Вася Баяк – хитроватый мужик со своеобразным говором и весь как будто сотканный из жил. Он также умел делать то, чего не мог никто другой. Дядя Вася играл на бубне. Все сколько-нибудь значительные совхозные гулянки, а они случались едва ли не каждую неделю, были его. Бывало, его звали, чаще он заявлялся сам, но не сразу, а когда народ уже был хорош, и душа требовала веселья...

Взяв в руки бубен, дядя Вася буквально преображался, он как будто даже выше ростом становился. Мне он в такие минуты напоминал шамана из фильмов. Он то держал свой инструмент перед собой, то вздымал кверху, то бросал его куда-то в бок, ударяя в туго натянутую на обруч кожу то пальцами, то всей ладонью, то выворачивая руку, локтем – как выражался мой отец – кандибобером... Чаще всего бубен служил дополнением к гармошке или баяну. Но дядя Вася мог выступить и соло... И уже никому не было дела до того, зван он на праздник или нет...

Ещё дядя Вася обладал исключительным, фантастическим нюхом на спиртное. Однажды супруга, пряча от мужа, закопала в огороде с цветущей картошкой двухлитровую банку самогонки. Картошки было соток пять, но дяде Васе потребовались какие-то час-полтора, чтобы отыскать искомое...

Иногда у нас дома бывали Купенковы с Целинной улицы. Звали их по фамилиям: его – Купенков, ее – Купенчиха. Последняя прославилась тем, что одну из её пословиц цитировало полсовхоза. А началось всё с того, что на одной из гулянок она, устав выполнять за столом чьи-то просьбы, заявила: «Я вижу – все тебе не так: и пёрднешь – рассердишь, и набздишь – не угодишь!». Все так и грохнули. С тех пор и повелось. Даже теперь, спустя много лет, моя мать, пересыпающая свою речь пословицами и поговорками (они у неё в разговоре – как хорошая приправа), нет-нет да и вспомнит Купенчиху с её присловьем.

В любую погоду, в любое время года, исключая разве бураны, когда дома заносило до крыш, да ещё весеннюю распутицу, когда без резиновых сапог из дома было не выйти, по нашей улице утром, в обед и вечером проезжал на велосипеде некто Гапонов, сухопарый молчаливый человек неопределённого возраста. По нему можно было сверять часы. Причём двигался он со скоростью обычного пешехода, и я всегда удивлялся: как это ему удаётся – ехать так медленно и сохранять равновесие?

Много у нас в совхозе было украинцев. Гнатенко, Филипенко, Продченко, Хименко, Давыденко, Величенко, Симоненко, Резниченко, Музыченко, Устиненко... Без их веселого самобытного племени целину также просто невозможно себе представить...

Весёлого и отчасти беспутного Устиненко звали по его любимой присказке – «Не волнуйся!». Не по фамилии, не по имени-отчеству, а именно по этой фразе, которую употреблял на все случаи жизни.

А высокого, осанистого, значительного, всегда опрятного совхозного водителя Величенко звали «хитрый мужик».

Про завгара Продченко ходила частушка:

Стоит Федя у ворот,

Широко разинув рот.

Не поймёт никак народ,

Где баранка, а где рот.

Обидные, конечно, строки, но что поделаешь, если Федя даже за баранкой чаще всего сидел с открытым ртом.

Над Гнатенко подтрунивали за его охотничьи рассказы, грешившие преувеличениями. Говорили так: «А вы слышали – Гнатенко вчера зайца завалил?» – «Ну да – и что?» – «Не заяц, а целый кабан. Гнатенчиха одного сала с того зайца стакан натопила...».

На нашей улице жила семья по фамилии Покиньюборода. Были ещё Ганжа, Черняковы, Годуновы. Были белорусы и молдаване. Часть целинников именовала себя «сибирскими» – эти приехали в совхоз из соседних районов Новосибирской области. Был даже один азербайджанец, Жора Курбанов, по кличке «Рубай компот – он жирный». Как-то раз Жора приехал на полевой стан, опоздав к обеду. Кто-то из мужиков и посоветовал подналечь на компот. С тех пор и повелось. Ещё Жору доставал своими разговорами Иван Дрожанов – язвительный белотелый мужик. Жора был бездетный, а у Ивана – целый выводок пацанов – человек пять или шесть. «Что-то ты, Жора, не то делаешь с Неллей Фёдоровной... – лениво цедил сквозь зубы Иван. – А может, ты для неё слишком маленький?». Дородная, пышнотелая Нелля Фёдоровна действительно была едва ли не вдвое массивнее мужа.

«Ты меня оставь с ней на ночь, – откровенно хамил Иван, – я тебе быстро дрожанят наделаю...». Самое удивительное, что Жора на это никак не реагировал – крутил головой, сверкал своими особенно белыми на смуглом лице зубами, улыбался...

Первый директор совхоза Стефан Васильевич Кирпанёв, сам большой любитель выпить и закусить, специалистов воспитывал так. Тому из них, кто утром после совместного с ним загула опаздывал на планерку, полагалось принимать директора тем же вечером. Жены знали об этой уловке Кирпанёва и потому с утра старались вытолкать из дому своих мужей пораньше...

Целинники были преимущественно молодыми людьми: влюблялись, заводили семьи и детей... Случались разного рода любовные казусы.

Тётя Шура Демьянец, смеясь, рассказывала, как познакомилась со своим будущим мужем. «Ехали в вагончике на тракторных санях – мороз, буран, света белого не видно... Приспичило выйти по малой нужде. Ну, сделали своё дело, а ватные штаны застегнуть с подружкой не можем. Хоть плачь... Мужики всполошились – послали одного на поиски. Оказался Миша, помог нам со штанами... Так познакомилась, потом подружилась... Вот уж почти 35 лет живём».

Не припомню случаев воровства в те целинные годы. Чрезвычайные происшествия, особенно уголовного характера, были большой редкостью. Я, во всяком случае, помню одно-единственное убийство, когда парень зарезал другого

парня из-за карточного долга. Почему-то он даже не пытался скрыться, сразу был задержан, его судили и дали, кажется, лет десять или двенадцать. Отсидев их, он приезжал в совхоз, но жить в нём не стал.

А главным «авторитетом» по воровской части в ту пору был Витька Левенец – старший брат моей одноклассницы. «Загрел» он из-за какой-то глупости, года через полтора вернулся уже приклатнённым. Но поскольку все его знали как облупленного, то и относились соответственно – не принимали всерьёз его новые замашки. А иногда – вовсе откровенно над ним смеялись. На это Вовка реагировал так:

– А, что с вами говорить – темнота, ни одного заграничного слова.

Какое-то время его так и звали – «Темнота – ни одного заграничного слова».

Сколько таких историй помнит целина! Какое прекрасное, какое чистое было время! Конечно, как и в любом другом, в нем хватало всякого, но правда и то, что преобладали человеческое благородство, бескорыстие, людская искренность.

То время всё дальше, всё меньше тех людей, всё глуше память о них. И хотя до сих пор ещё стоят некоторые первые целинные дома, выветривается (уже почти улетучился из жизни) целинный дух. Кому-то и целина теперь как кость в горле... Хрущёвская авантюра, одна из социалистических утопий...

Что я могу сказать на это?

* * *

Того нашего дома давно уже нет. Пришла в полное запустение, заросла степной мелколистной полынью, травой-лебедой, порослью молодого клёна и ещё Бог весть чем бывшая усадьба. Даже бывшие наши огороды оказались никому не нужны. Приехав сюда прошлым летом с сыновьями, мы оказались даже не на пепелище, а на территории, чем-то напоминающей заброшенную свалку... Я им пытался что-то показывать и рассказывать, но всем нам было одинаково грустно и неуютно на бывшем обиталище нашей семьи, хотелось скорее отсюда уйти...

А я до сих пор помню, как горел свет в окне нашего дома, в том окне, которое было видно далеко с улицы. Свет горел всегда – как бы поздно я ни возвращался. И завидев его, ещё издали, как свет маяка, я испытывал, особенно после разлуки с домом, удивительное чувство. Это чувство трудно с чем-то сравнить – оно сродни предвкушению праздника, встречи с чем-то очень родным, тёплым и добрым; это – как обещание скорого покоя и уюта.

Таким он был – наш дом – для всех его обитателей. Пусть таким и останется – хотя бы в моей собственной памяти. Ведь память – это не так уж и мало. Пока жива память – не умирает ничто.

2000 г.

Такая долгая жизнь

I

Мою бабушку по отцу звали Мария Петровна. Родилась она ещё в прошлом веке, запомнила название деревни – Новое Красивое Село на речке Меч в Ефремовском уезде Тульской губернии. Так что, вполне возможно, в детстве она могла видеть самого Льва Толстого... Позже я узнал: название той речки – Красивая Мечá; а село, вероятно, именовалось Новым. Просто эти два названия неверняка перемешались в детской бабушкиной памяти.

В начале нашего века, в пору великого переселения, бабушка вместе с родителями оказалась в Сибири. Её память хорошо сохранила это время, а более всего то, как она девочкой жила в услужении у купцов Красноусовых. О тех годах бабушка всегда вспоминала едва ли не благоговейно – похоже, то была самая счастливая пора в её недолгом отрочестве. Хотя, насколько я теперь могу судить по её стародавним рассказам, в той «красивой» жизни хватало всякого. Обязанностей было много, одна из самых неприятных – сеять муку. Красноусовы требовали, чтобы это делалось на самом мелком сите, муки надо было много, а рабочее место – холодные сенцы... В студёные зимы девчоночьи руки, по бабушкиному определению, «заходились» и отказывались держать сито. Она пыталась хитрить, меняя сито на более крупное, но тут же была поймана. «Ах ты, дрянь паршивая», – всякий раз говаривала хозяйка, будучи сильно недовольна прислугой. Но зато никогда не била, непременно подчёркивала бабушка, давая понять, что недовольство было заслуженным, и всегда вспоминала о подарках, которыми Красноусовы одаривали её на Рождество – о цветном полушалке, поношенной кофточке, кулёчке конфет и связке баранок.

В 16 лет бабушку выдали замуж, и службу пришлось оставить – Красноусовы держали в прислугах только девочек и незамужних девиц.

Революция как таковая в бабушкиной памяти не сохранилась (на все мои расспросы по этой части она отвечала «не знаю» и всякий раз пыталась уточнить: «Это когда царь Николай отрётся?»). Зато ей хорошо запомнилась гражданская война и приход анненковцев (она говорила «анненков отряд»). Всех сочувствующих советской власти анненковцы вывели в лес за деревню, изрубили шашками и, распоров им животы, набили зерном – ешьте, краснопузые... Моего деда, впоследствии секретаря здешнего Совета, среди казнённых, к счастью, не оказалось – бабушке чудом удалось его спрятать в заброшенном колодце...

Коллективизация навсегда впечаталась в бабушкину память незамысловатой деревенской частушкой:

Иванов, Иванов,

Как твои делишки?

Отобрал у нас коров –

Плачут ребятишки!

Иванов был сподвижник деда – организатор первого колхоза, обобществивший весь деревенский скот. Ну а плакали в ту пору по этому поводу, как мы теперь хорошо знаем, не только ребятишки.

У деда с бабушкой уже ко времени анненковского рейда было двое детей. Потом родятся ещё двенадцать. И всё это время будут уходить из жизни – в младенчестве, детстве и совсем взрослыми. Маленьких косили корь и скарлатина, над взрослыми будто злой рок витал...

Дочь Сару в неполных четырнадцать лет задавила грузовая машина – одна-единственная на всю округу.

Сыну Сергею шёл девятнадцатый год. Он был красавец, спортсмен. Вся деревня сбегалась смотреть, как Сергей «крутит солнце» на турнике. Однажды сорвался, ударился головой о стылую землю. Отлежался, думали – обошлось... А он заболел в дороге. Сняли с поезда на одной из станций. Там он и умер в больнице, не придя в сознание. Где похоронен – неизвестно... Оплакивая его, бабушка уходила в лес, чтобы никто не видел и не слышал, и криком кричала, пока оставались силы и голос.

Сын Никита был глухонемой. Любимец всей деревни, добрая душа, лучший работник в колхозе. Зарезали корову, начали подтягивать её к перекладине, чтобы освежевать. Перекладина переломилась, а Никита оказался прямо под ней... Стал жаловаться на голову, потом слёг. Как-то бабушка с дедом собрались ещё затемно на базар и объясняют ему это на пальцах. Он в ответ показывает: возвращайтесь быстрее, а то я умру сегодня – как солнце встанет. И в самом деле – на рассвете умер. В 27 лет.

Сын Фёдор был на год младше Никиты, уже женат. Молотили зимой пшеницу. Фёдор работал наверху, развязывал снопы, подавал их в молотилку. Его нечаянно толкнули, и он упал – головой вниз. Болел, продолжал работать. Однажды совсем занемог – даже к завтраку не встал. Пришёл бригадир звать его на работу, он попытался подняться и не смог... В тот же день скончался.

Сын Виктор, 27 лет, утонул в озере Чаны. Вот как это было. Они – несколько молодых мужиков – переходили озеро по неокрепшему льду. Поднялся ветер и стал ломать лёд. Они бросились к берегу. Виктор почти добежал, когда услышал крик из полыни: «Не бросай, брат!». Вернулся. Протянул товарищу ружьё, вытащил его на лёд. Тот снова провалился, увлёк за собой Виктора и уже не дал выбраться ему самому... На берегу всё это наблюдали человек двадцать, но помочь они ничем не могли. Виктор с товарищем утонул в конце октября, а нашли его только в мае. Он, на удивление, хорошо сохранился, а бабушка одно время в эту пору начала заговариваться.

Бабушка пережила и оплакала тринадцать из четырнадцати своих детей. И ещё мужа, без которого она прожила больше сорока лет. Последним бабушка хоронила моего отца, единственного из её детей прошедшего войну и вернувшегося после победы живым и невредимым... Теперь осталась лишь её младшая дочь, моя тётка, которую бабушка родила в 46 лет.

II

У меня с бабушкой сложились особые отношения. Мне теперь трудно судить, почему так вышло, но факт остаётся фактом: чуть ли не с трёхлетнего возраста она всюду таскала меня за собой. Несмотря на свой возраст, она недалеко, но много ездила, и я побывал вместе с ней на некогда знаменитом Купинском базаре, где она в молодости торговала своей несравненной чубаровской ряженкой; цепenea от страха, катался на моторке с каким-то её родственником по неоглядному озеру Чаны; вместе с ней совершил первое в жизни далёкое путешествие по железной дороге в Красноярск, а оттуда – в Дивногорск, где буквально в двухстах-трёхстах метрах от её комнаты в обычном городском доме начиналась самая что ни на есть дикая тайга – с настоящим буреломом, жарками и черемшой, чем-то напоминавшей наш дикий чеснок...

Жаль, что воспоминания о тех поездках сохранились бессвязные, отрывочные. Куда лучше помнятся наши хождения за грибами...

Уже тогда моторизованные грибники устремлялись за ними как можно дальше, а бабушка, наоборот, промышляла только в окрестных лесах. Бывало, отогнав в стадо корову, часам к шести утра она возвращалась домой с грибной добычей в завязанном сверху узлом переднике, и я просыпался уже под неповторимый аромат грибной похлёбки.

Мне хорошо известно, что сегодняшний грибник привередлив: ему подавай непременно белые, подосиновики, грузди. А бабушка уважала гриб всякий. Она не брезговала почти сплошь ныне презируемыми хрупкими сыроежками, именуя их краснушками, синюшками и чернушками, – в зависимости от того, какой цвет преобладал на шляпке. Волнушки она звала волвешками. Валуи, в зависимости от «сорта», слюнявыми (их жёлтые, бледно-розовые или коричневатые шляпки были покрыты слизью) либо скрипицами (определение удивительно точное – не только крепкая ножка упруго скрипела при срезании, но потом скрипел сам гриб, когда его раскусываешь в готовом виде). Одну из разновидностей сухих степных груздей бабушка называла белянками. Они и впрямь были изумительно белыми, а отдельные экземпляры – даже с лёгкой голубишной, которая, впрочем, нисколько не портила вид гриба, скорее, придавала ему особое очарование. Найдя первую белянку средних размеров, бабушка разрезала ножку на несколько колец и, бережно уложив шляпку в ведро, кольца беспечно отправляла в рот.

– Ты что, отравился! – испугался я, увидев подобное впервые.

– Как же, – засмеялась она и отломала мне кусочек, – попробуй лучше!

Я с опаской пробовал – и тут же выплёвывал: сырой гриб мне решительно не нравился. Но бабушка, впрочем, и не настаивала.

Подберёзовики у бабушки были обабками, шампиньоны – их мы собирали прямо в поле через два-три дня после дождя – печерицами. Не часто, но попадался и влажно-тяжёлый, изжелта-бледный, реже молочно-восковой, ворсистый, настоящий, или сырой, груздь... Бабушка почему-то говорила «грузд» (без мягкого знака) и начинала священнодействовать: сразу не рвала, ставила ведро, начинала оглядываться... Мы с ней тщательно исследовали всё пространство вокруг, особенно бугорки под приподнявшимися прошлогодними листьями, и чаще всего находили ещё три-четыре груздочка, а если улыбалась удача – то и с десятком...

Любопытно, что не всякий червивый гриб бабушка выбрасывала. Очень часто, обнаружив единственную норку, оставленную в корне или шляпке нашим расторопным конкурентом, бабушка как-то очень ловко вырезала испорченные фрагменты, а оставшуюся часть гриба забирала. Иногда виновник этой хирургической операции, бледно-розовый червячок с красной головкой, обнаруживался сам. Бабушка небрежно выковыривала его, а гриб брала, объясняя:

– Ничего, это костяничник – он не вредный.

...Через час-полтора с полным ведром, а если повезёт – то и с довеском – узелком из передника, отправляемся домой. Тут всякому грибу находится применение: сыроежки пойдут на суп, обабки будут изжарены, а их корни отправятся на сушку, белые (они у нас водились не каждый год, бабушка их называла попáми – наверное, за стать, особую осанку) годятся и на суп, и на жарёху, и на сушку, и на маринад, ну а уж грузди после первой очистки будут отмокать в воде – потом мыться и чиститься, а потом долго-долго томиться в рассоле под гнётом...

Не много походил я с бабушкой за грибами, а страсть к этому тихому промыслу сохранилась на всю жизнь. И меня, давно городского жителя, не удержать дома, едва только промелькнёт слух о том, что кто-то где-то видел, а тем более рвал первые грибы.

III

Бабушка была верующей. Она знала все главные православные праздники, раньше всегда постилась, на пасху обязательно пекла куличи и красила яйца. Носила простенький крестик, была у неё и икона. Я одно время всё допытывался у неё: как это понять – Христос воскрес. Она, как могла, объясняла: нехорошие люди распяли его на кресте (подробности распятия она упустила и, понимаю теперь, не случайно). А как пришло время его хоронить – он оказался живой и показал пришедшим крашеное яичко – отсюда, мол, и обычай – яйца красить.

Впрочем, находясь в нашей сугубо атеистической семье, бабушка никогда не делала никаких попыток приобщить нас, своих внуков, к Богу. Наверное, понимала всю бесперспективность этого занятия.

Бабушка была неграмотной. Учиться ей вовсе не довелось, и она с трудом печатными буквами могла написать свою фамилию. Письма бабушкиным родным писал за неё я. Она говорила, а я записывал, и поскольку бабушка излагала своё житьё-бытьё неспешно, обстоятельно, я (каюсь теперь!) хитрил, спрямляя изложение части событий, сокращая по ходу письма приветия её многочисленной родне. Теперь я уже не в силах воспроизвести бабушкину речь. Но как же хорошо она говорила! Она говорила – как пела. Это был чистый, живой, не замусоренный никакими суррогатами и заимствованиями язык, какого теперь почти не встретишь.

Мне не раз приходилось видеть бабушку рассерженной, но никогда не слышал из её уст ругани (хотя её муж и мой дед, Пётр Петрович, которого я совсем не помню, наоборот, был матершинником). И когда живущая по соседству женщина «заводилась» на пьяного мужа:

– И чтоб тебя три грозы гремучих разбило! И чтоб тебя какая-нибудь корючка закорючила! И чтоб ты издох... – бабушка просто пугалась – по её понятиям это значило гневить Бога. Крайнюю степень недовольства у неё самой выражала фраза, которую мне ни от кого больше слышать не доводилось...

– Кишки-т-твои перемотайся!

Или – реже:

– Кишки-т-твои лопни!

Но ни первое, ни второе, как правило, никому конкретно не адресовалось, а носило отвлечённый характер.

Бабушка знала не только свою ближайшую, но и всю дальнюю родню: кто кем кому доводился, кто на ком женат и кто за кем замужем. Было в высшей степени любопытно слушать, как они изъяснялись с моим отцом, называя подчас диковинные, ничего мне не говорящие фамилии, связанные тем не менее в некую стройную систему. Чаще всего упоминались Поминовы, Дроздовы, Чурсины. Но были ещё Чубаровы, Даничкины, Кострикины, Шукайловы и великое множество других... Звучали названия деревень, ласкающие слух: Чубаровка, Лягуши, Сергеевка, Мальково, Чумашки... Путешествия отца с бабушкой по густым ветвям нашего генеалогического древа, как правило, заканчивались разладом: на каком-то этапе оказывалось, что кто-то из них кого-то забыл, что-то напутал, и им приходилось возвращаться в исходную точку...

Когда бабушка вела долгий рассказ, она время от времени делала недлинные паузы, сопровождая их характерным «да-а». А если касалась какой-то очень большой темы, заканчивала неизменным «и-эх-жизнь!» и надолго замолкала, отрешённо глядя в одну точку. Когда я, особенно в далёком детстве, чем-то приятно удивлял, радовал бабушку, она всплещивала руками и восклицала: «Господи ты мой! Милай-сливай!». Я не задумывался о смысле последних слов, думал – это у неё прибаутка такая, и лишь спустя годы понял – так она произносила слово «милостивый».

Её руки умели всё на свете. Она пряла, вязала и шила. Долгими зимними вечерами я любил сидеть на скамеечке у её уютно, с переливами жужжащей прялки и наблюдать простой и одновременно непостижимый процесс превращения бесформенных клочков шерсти из кудели в прочную шерстяную нитку, которая несколько дней спустя становилась уже моими носками или варежками. Я до сих пор помню её тончайшие, как кружева, таявшие во рту блины. Она умудрялась испечь хлеб в нашей отнюдь не приспособленной для этого дела домашней печке. Она учила меня лепить пельмени с фигурной бахромой... Она делала ароматную, густую, с коричневатой пенкой – вкуснейшую ряженку. Чубаровская ряженка – так грубовато-нежно поддразнивал бабушку мой отец. И все мы знали, что он имеет в виду. Именно так когда-то зазывала бабушка покупателей на базаре в Купино, где торговала ряженкой. И этот её чубаровский (по названию деревни) товар всегда пользовался спросом и разбирался очень быстро. Случалось, продав свою ряженку, бабушка выручала соседей, выдавая их продукт за собственный.

Поразительно, что люди это до сих пор помнят. Недавно разговорился со своей городской знакомой. Вдруг оказалось – мы земляки, а сама она из Купино. «Ну а мои родители из деревни по соседству, – сказал я, – из Михайловки». «Так это теперь Михайловка, а раньше называлась Чубаровка, – возразила она, – её жители торговали у нас на базаре ряженкой, так, помню, и кричали – чубаровская ряженка, чубаровская ряженка!».

...Нет теперь ни ряженки, ни того базара. Да и сама Чубаровка, то бишь Михайловка, дышит на ладан...

IV

До 96 лет бабушка жила одна, в своей избушке, сама управлялась по хозяйству. Моя городская квартира, где она провела последние годы жизни, откровенно тяготила её. Но она крепилась, не показывала вида. Пережив всех своих сверстников, она до последних дней сохраняла ясный ум, острую память и поразительный интерес к жизни. Не изменяла своим привычкам: нюхала табак и требовала на Рождество рюмку водки вместо предлагаемого ей фужера вина.

Умерла бабушка 14 декабря 1998 года, лишь несколько недель не дожив до 98 лет и не доставив нам, её родным, почти никаких хлопот.

1987 г.

Дед Тимофей и бабушка Акулина

Хорошо помню деда с бабушкой по материнской линии. Дед Тимофей – высокий, кряжистый, строгий. Бабушка Акулина – маленькая, хрупкая, добрейшая душа.

В их молодости бабушку не хотели отдавать за деда. Выдали за другого, из соседней деревни. С мужем бабушке не повезло – он обижал её, без повода ревновал. Однажды в приступе ревности привязал, беременную, к оглобле и рысью погнал лошадь. Была зима, бабушка обморозила колени, а через несколько дней родила мёртвого недоношенного ребёнка.

Родня забрала её к себе. Наш дед сказал своему отцу, что хочет взять её в жёны, но тот почему-то не разрешал. Тогда упёрся «жених» – пять лет не женился, пока, наконец, не добился своего.

Всё это я знаю со слов матери, благодаря которой выжили, когда деда мобилизовали в армию, и бабушка, и трое материных сестёр. Мать была старшей и в 14 лет пошла в колхозную бригаду поварихой. Семья их в ту пору обнищала до крайности.

Когда вернулся дед (никто не знал – жив ли он или погиб), бабушка упала в обморок. Остальные будто онемели. Дед спрашивает мою будущую мать: «Что же ты, дочка, ничего не говоришь?». А она никак не может в себя прийти. «Вот, – отвечает, – на базар собралась фуфайку покупать, денег 1200 рублей скопили...». «На, – говорит дед, – возьми мою...». Он в фуфайке пришёл.

Такая была встреча. Служил дед на Дальнем Востоке и единственное, что привёз с собой, – чемодан китайского шёлка. По тем временам дорогой товар, который можно было выгодно продать. Но бабушка на радостях нашла из него дочерям платьев. Очень красивых платьев, которые через несколько недель «полезли» – дорогой шёлк совсем не годился для повседневной носки.

Мать считает, что этот случай как никакой другой характеризует и деда, и бабушку, не сумевших распорядиться даже этим единственным богатством, попавшим в их руки. Иногда она в сердцах называла деда с бабушкой неудельными, то есть людьми, лишёнными практической сметки, или, в нашем привычном понимании, – не умеющими жить... Впрочем, это не мешало матери относиться к своим родителям с величайшим уважением и почитать их до самой смерти.

Судя по рассказам матери, жили дед с бабушкой тихо, незаметно. Никогда не скандалили. Тут, скорее всего, бабушкина заслуга – она ни в чём не перечила деду, позволяя себе лишь изредка незаметно посмеиваться над ним. Правда, и он её не обижал. Однако, случалось, возвратясь домой изрядно навеселе, будил среди ночи: «Вставай, Акуль!» – «Ну чего тебе!» – «А давай песни поиграем!». Значит, надо было вставать и петь с ним, что она и делала, вероятно, ругая при этом деда в душе последними словами. Любопытно, что и сам он, будучи трезвым, никогда не пел.

У деда с бабушкой, в небольшой – в одну длинную улицу – сибирской деревне Чубаровке, я проводил каждое лето. И память хорошо сохранила их всегда чисто выбеленную избушку с плоской пластяной крышей и глиняным полом (раз в неделю бабушка его обязательно мазала); наполовину вросшую в землю крошечную баньку; ветхий плетёный сарай с крутобокой коровой и обязательным ласточкиным гнездом на столбе, державшем крышу сарая; нежнейшую траву-мураву, расстилавшуюся от самого порога, и огород с цветущей картошкой, сбегаящий вниз, к пересыхающему озеру...

Помню немудрёные бабушкины угощения, вкусный терпкий запах дедова самосада – он сам растил табак, рубил в деревянном корыте, сушил.

Помню, как басовито, тревожно и гулко гудели провода в Чубаровке, когда приложишь ухо к высушенному до звона, нагретому солнцем столбу.

Помню посвист любопытствующих сусликов и то, как смешно, подбрасывая зады, они улепётывали к себе в нору.

Помню развалины старых саманных домов – где-то на задах единственной Чубаровской улицы. Меня почему-то тянуло к этим полуразрушенным, заросшим травой саманушкам. В их щелястых выветренных стенах селились воробьи и трясогузки, они очень тревожились из-за каждого моего прихода.

Хорошо было у деда с бабушкой. Но я всё равно скучал по дому. Я находил открытое место и часами смотрел – не идёт ли в сторону Чубаровки с Хомичевой гривы машина. Машины шли редко – и всё мимо...

Мне кажется, то были не худшие годы для деда с бабушкой. Дети выросли, худо-бедно определились, вот уже и внуки наезжают на лето. Наверное, мы им, оставшимся вдруг вдвоём, нужны были в ту пору не меньше, чем они нам... Но и мы выростали и всё реже навещали к ним, не понимая, как дорог им каждый такой приезд...

Бабушка умерла первой. Умирала в страшных муках – последние несколько месяцев не вставала с постели, плакала, просила, чтобы мать отравила её – избавила от мучений... Как всё же несправедлива бывает судьба к человеку: в своей жизни бабушка видела очень мало хорошего – неужели она хотя бы лёгкой смерти не заслужила?

Оставшись один, дед не захотел пойти ни к кому из детей. Жил сам. Утром выходил из дома, садился на завалинку, встречая и провожая всех проходивших мимо. С кем-то перебрассывался одной-двумя фразами, с кем-то просто здоровался. Ему этого было достаточно – он был у себя дома, на своей земле.

В последний раз мы навещали деда Тимофея втроём: старший брат Шурка, я и младший, Петька.

Строговатый, не очень ласковый дед, не привыкший выставлять напоказ свои чувства, был искренне рад нашему приезду. И не скрывал этого – наверное, чувствовал, что больше с нами тремя ему вряд ли доведётся побывать.

Иногда, желая обратиться к одному из нас, он окликал другого, но поправляясь, снова ошибался и тогда у него выходило:

– Шурк-Юрк-Петьк!

Он смеялся:

– Совсем запутался с вами...

И мы смеялись: нам очень нравилось это наше тройное имя.

...А хоронить деда из нас троих довелось одному Петьке...

О матери

О своём детстве мать вспоминать не любит из-за его беспросветности. Помню, она всегда спорила со свекровью, моей бабушкой, когда та начинала говорить, что «старая жизнь» была хорошая. Тут, наверное, дело в том, что родственники по материнской линии – Чурсины – всегда жили беднее отцовых – Поминовых. И ещё в том, что бабушкина юность пришлась на дореволюционную пору, когда крестьяне-переселенцы из Центральной России успели хлебнуть вольной жизни в Сибири после Столыпинской реформы. А мать родилась уже в пору коллективизации – то было время великого перелома со всеми его прелестями. К тому же её отец, мой дед Тимофей, колхозную идею не принял, остался единоличником. Приличного хозяйства деду, разумеется, создать не удалось (кому это в то время удавалось?), жили Чурсины (а по-деревенскому Красновы) беднее бедного, из нужды не выбирались.

Валенки были в семье одни на всех. И мать, старшая из четырёх сестёр, собираясь изредка зимой к подружкам на вечерку, надевала вместо них дедовы лохмашки – что-то вроде рукавиц из собачьей кожи...

Отцов брат Михаил, сам познавший беспросветную нужду и единственный из родни «выбившийся в люди» (служил в соседнем Алтайском крае в милиции), решил во что бы то ни стало избавиться от этой жизни племянницу. Около года мать прожила в его немногочисленной семье в Славгороде, училась в школе. Жилось ей тут не слишком сладко (не жаловала тётка), но посытнее, чем дома. Запомнила, как приезжал её дед, отцов отец Алексей – с коровой, чтобы подкормить внучку. Мать пасла её в посадках вдоль железной дороги.

Может быть, и прижилась бы тут, но началась война, и вскоре после того, как дядю Михаила призвали, тётка, сославшись на то, что одной ей племянницу содержать будет трудно, отправила мать домой.

Так и закончилось её недолгое (до 7 класса) учение, а вместе с ним и мечта о «другой» жизни.

Летом 1942 года, в сенокос, привезли повестки 17 чубаровским мужикам, в том числе и деду. Это были последние мужчины в деревне – до этого в 1938 году забрали их сразу человек пятнадцать. Ночью. Взяли даже деревенского

дурачка Федю Попова. Он имел обыкновение, забравшись на крышу, кричать: «Мужики, японцы идут!». Может, за то и пострадал. Что с арестованными стало, никто не знает: ни писем, никаких других вестей от них не поступало. И ни один обратно не вернулся...

Любопытная деталь: повестки деревенским мужикам привезли ближе к обеду, а вручили только вечером. Они работали на покосе, и нельзя было допустить, чтобы полдня у них пропало. Всё продумали: ночь – на проводы, а утром – в военкомат...

Из тех мужиков после войны тоже мало кто вернулся. Деду Тимофею, материнному отцу, повезло по одной-единственной причине – из-за слабого здоровья в действующую армию не попал – всю войну пробыл на Дальнем Востоке, при лошадях. Но родным от этого было не легче – писать дед не умел, письма приходили редко (в лучшем случае два-три раза в год), не раз думали, что сгинул...

Возвращение его домой было для семьи столь неожиданным, что бабушка потеряла сознание. Матери в подарок досталась дедова фуфайка – он в ней вернулся.

Выжила вся семья благодаря моей матери. Она, оставив учёбу, пошла работать в колхозную бригаду поварихой. Готовила на 60 человек. Одна. Уматывалась – едва с ног не валилась. Зато тут и хлеб был. Сама ела, да когда-нибудь бригадир сунет буханку: «Бери, Тоньк, своим...». Знал – голодают, и она брала, потому что «свои» хлеба почти всю войну не видели: бабушка была не работница, всё болела, а три сестры – мал-мала меньше... Ещё, случалось, прихватывала зерна в карманах... Это считалось смертным грехом: как раз в ту пору двум колхозным девочкам, чуть постарше матери, дали – одной восемь, другой – десять лет. Счёт был простой: по году за каждый килограмм... Бабушка плакала: «Поймают тебя – повешешь...». Бог миловал...

Сама кормилица уработывалась так, что, придя раз-два в неделю домой, засыпала за столом. Главной едой была картошка, которая в войну, как назло, не родилась – горох и горох... Варили её чаще всего в «мундире». Чтобы быстрее накормить мать, младшие сестры Нинка с Катькой помогали ей чистить эту картошку: они чистили, а она ела, тут же засыпая... Любопытно, что одна из сестёр – Нина – до сих пор зовёт мать нянькой – как в детстве...

Потом и война кончилась, дед вернулся, а жизнь лучше не становилась. Заболела вторая после матери по возрасту сестра – Зоя. Лечили от сердца, а оказалось туберкулёз. Пока дошла очередь на рентген (год стояли!), было уже поздно – в лёгких образовались огромные каверны. Ей требовалось хорошее питание, дед, бывало, проработав день, по всей ночи охотился неподалеку от деревни на Кегеевом озере... Иногда приносил чирка, реже крякву, а зачастую приходил ни с чем. Младший из детей, единственный сын Николай, доглядывал за больной сестрой утиные косточки. Бабушка плакала, боялась, что и он заразится, но больше кормить последыша было нечем...

Когда Зоя умерла, поминальный обед сделали из бараньих голов (больше не из чего было), и мать с тех пор их видеть не может. Даже в традиционном казахском бешпармаке...

Николай же вырос на загляденье, один из всей семьи выучился. Вот только живёт теперь далеко, за Полярным кругом, и письмами сестёр не балует.

Словом, матери есть от чего не любить и своё детское, и своё девичье прошлое – так мало было там хорошего...

Не удавалось выбиться из нужды и в первые годы замужества. В поисках лучшей доли мой отец несколько раз менял место работы и жительства. Пошли дети, а своего угла у семьи все ещё не было...

Наша старшая сестра Люба умерла, не дожив до пяти лет. По материнскому выражению, «её скарлатина задавила». Жили так бедно, что хоронить девочку оказалось не в чём. Тогда взяли наволочку с подушки, бабушка (отцова мать) распоролла её и сшила из белой материи платьице. Но покойницу надо было ещё и чем-то укрыть. И тогда взяли занавеску. Это были обычные бинты, скреплённые между собой нитками (в целях экономии материала и для того, чтобы придать занавескам «эстетичный» вид). Из занавески и сшили смертное покрывало. Потом, правда, кто-то из родни принёс платок – ещё и им накрыли...

Если и есть у матери какие-то светлые воспоминания, то они чаще всего связаны с её дедом (а моим прадедом) Алексеем. Он любил мать, выделяя её из других внучек, жалел. В трудные минуты жизни защищал и поддерживал. Я его, кстати, немного помню – небольшой, иссушённый годами, седой как лунь... Он совсем немного не дожил до ста лет. В последние годы сильно ослабел, но не пропускал ни одной бани, куда его водил сын, мой дед Тимофей, и парил...

Дед Алексей поболел перед смертью дня три. Сказал дочери, у которой жил: «Полька, ты сбегай за Тимошкой, я сейчас помирать буду...» – «Да ты что, пап?» – «Беги быстрее, а то не успеешь...». Она – к деду Тимофею. Пришли, а их отец и вправду умер.

Теперь и сама тётка Полька умерла. К ней мать тоже до последних дней испытывала чувство благодарности и очень переживала, что не смогла похоронить. Та ей наказывала: «Ты, Тоньк, смотри, приезжай меня хоронить, а то по мне и плакать-то некому будет...». Мать обещала, но не смогла и сильно из-за этого горевала...

Свой дом мать с отцом заимели, уже нажив нас троих, на целине. Это был не слишком просторный камышитовый дом из трёх комнат, в котором все мы выросли. Теперь его нет – остались одни развалины.

Мать, пока мы были малы, сидела дома. Потом начала работать – как-то надо было сводить концы с концами. С группой других совхозных женщин она выполняла разные хозяйственные работы. То есть они были разнорабочими: летом пололи картошку, ухаживали за садом, чистили и ремонтировали животноводческие помещения, осенью перелопачивали зерно на току. Зимой самой «выгодной» работой была разгрузка вагонов с углем. Вагоны приходили на ближайшую от совхоза железнодорожную станцию Мынкуль, и четверо женщин уезжали туда на целый день. Это была адова работа, на которой не всякий мужик выдержит, а некоторые женщины (и мать в том

числе) за неё охотно брались – тут были самые высокие расценки, и за каждый разгруженный пятидесятитонный вагон им начисляли по шесть рублей 40 копеек – почти трёхдневный обычный заработок...

Как-то зимой не пришла на станцию машина, чтобы увезти их обратно. И они вчетвером – у всех были маленькие дети – рискнули пойти пешком. 15 километров – не так уж много, им приходилось преодолевать и больше. Но они не учли того, что целый день работали, что было минус тридцать и что ветер, как всегда бывает в подобных ситуациях, оказался навстречу... Уже к середине пути они поняли, что могут не дойти... Но поворачивать обратно было поздно. И они пошли дальше, плача на морозе от бессилия. Они шли, держась за руки и не давая друг другу упасть, и всё-таки дошли – уже под утро...

Полегче матери стало много позже: она выучилась на ветеринарного санитаря и одно время даже исполняла обязанности ветеринарного техника. Хотя это тоже была работа без выходных – без проходных: днём и ночью к ней домой шли, как к Айболиту – у кого-то заболела корова, у кого-то свинья, у кого-то лошадь, а мать никому не отказывала.

Когда мать вышла на пенсию, мне стоило больших трудов уговорить её перебраться к нам в город. Первое время она скучала, плакала, готова была вернуться. Потом привыкла.

Со временем в Павлодаре образовалась целая колония бывших совхозных жителей. Они регулярно созваниваются, обмениваются новостями, стараются быть вместе и в радости, и в горе.

Что же касается нашей семьи, то мать – душа её. И этим все сказано.

Записки о моём отце

Не без душевного смятения приступаю я к этим строкам. Об отце хочу написать давно, но одолевали и одолевают сомнения. Достаточно ли я его для этого знаю? Смогу ли сказать то, что хочу сказать? Имею ли на это право? Что, наконец, движет мною?

Во всяком случае, не чувство вины и не запоздалое раскаяние... Мне кажется, что отец считал свою жизнь не вполне удавшейся. Так это или нет – не мне судить. Моя задача куда более проста: я хочу рассказать о близком человеке, о той части его жизни, что успела открыться мне и некоторым другим.

Я не буду ограничивать себя никакими жанровыми рамками, не буду заботиться о сюжете и композиции. Я буду писать, как будет писаться. И пусть напишется – как напишется...

У отцовской матери, моей бабушки – Поминовой Марии Петровны – было 14 детей. Отец родился двенадцатым. Бабушка пережила почти всех своих детей. Отец был тринадцатым из них, кого она схоронила. Единственный из всех он прошёл Великую Отечественную и вернулся с неё живым и невредимым, если не считать контузии. Многочисленные дядьки и тётки не дожили до моего рождения: они умирали в младенчестве и детстве, трагически погибали взрослыми...

Как бабушка пережила всё это и, сохранив рассудок, дожила почти до 98 лет, моему уму непостижимо. Теперь в живых из прямой отцовской родни осталась одна моя родная тётка – Людмила Петровна, которую бабушка родила в 46 лет.

Я мало что знаю об отцовском детстве. Бабушка рассказывала, что он долго не говорил. Думали – будет, как его брат Никита, немый. А он лет в пять начал – и сразу с мата. (Тут, видно, сказалось влияние отца, Петра Петровича, отъявленного матерщинника). Разумеется, радости в доме по поводу прорезавшегося у отца голоса было куда больше, чем огорчения в связи с тем, что он сказал...

Учиться отцу почти не пришлось: он закончил всего четыре класса начальной школы. Впоследствии, ведя с нами, почти взрослыми, умные разговоры на особо сложные политические и иные темы, он всячески подчёркивал это обстоятельство: чего, мол, с меня взять – у меня четыре класса образования. Тут он слегка лукавил, поскольку был человеком весьма начитанным. Страсть к чтению у него осталась со времени первого ученичества. Зачастую именно в их избе собирались мужики и просили: «Почитай, Митьк!». И он читал по несколько часов кряду – газеты, брошюры, книжки. Почти сплошь неграмотным мужикам (не знала грамоты и сама его мать, моя бабушка) это было в диковинку, и засиживались они допоздна. Одиннадцатилетний грамотей читал при керосиновой лампе до рези в глазах. Мужики отчаянно дымили самосадам, и это не считалось предосудительным... Всякий раз дело кончалось тем, что бабушка, видя, что отец вот-вот заснёт прямо за столом, закрывала «избу-читальню», чуть не выталкивая мужиков на улицу. («Продымили всю избу, анчихристы, – хоть топор вешай, и ребёнок весь измаялся...»). Так или примерно так она при этом приговаривала – сама много позже вспоминала).

После «четырёхлетки» отцу ещё раз довелось поучиться – незадолго перед войной – в Колывани, под Новосибирском. Учился на продавца. Тут, вероятно, сыграло свою роль бабушкино представление об этой профессии – как об одном из самых почётных человеческих занятий. Дело в том, что несколько лет до революции, ещё девочкой, бабушка провела в услужении у местных богачей – купцов Красноусовых. Они держали несколько лавок, в одной торговал их сын Константин (меж собой родители-Красноусовы его называли Котей), облик которого и впечатался в бабушкину память как образец для подражания. (Во всяком случае, в её рассказах мне о том периоде своей жизни, который был, безусловно, самым ярким и впечатляющим в её недолгом отрочестве, Котя фигурировал непременно).

Потом очень недолго отец успел проработать продавцом (или помощником продавца), но, судя по всему, это дело вряд ли пришлось ему по душе. У меня самого эта недлинная часть его жизни ассоциируется с одним его

воспоминанием – о том, как он в первый день своей работы в новом качестве объелся конфет – «подушечек» и потом несколько месяцев на них смотреть не мог...

Ещё отец недолго учился перед войной в Томском кооперативном техникуме. Попав в этот город спустя сорок лет (заехал к сыну, моему младшему брату Петру, студенту здешнего университета), узнал в городе это самое место и даже дом, в котором был техникум. Брат потом долго поражался: обошли несколько соседних домов, всё спрашивали у местных жителей – был тут кооперативный техникум или нет, – и никто не знает. Пока наконец одна древняя старуха не подтвердила: да, был именно в том доме...

Такой отец обладал зрительной памятью и памятью вообще.

Действительную отец служил на Дальнем Востоке, в частях, кажется, морской пехоты. Оттуда же, в самом конце 1942 года, их часть была переброшена на фронт. Деревня Чубаровка, в которой жила семья отца, находится в нескольких десятках километров от стоящей на Транссибирской магистрали узловой станции Татарская. (В разговорах меж собой отец с бабушкой всегда называли её Татаркой). Составу, в котором ехал на фронт отец, её никак было не миновать. Он успел написать об этом бабушке, и она целую неделю дневала и ночевала здесь, встречая все проходящие поезда. Но отца так и не повидала: их состав проследовал Татарскую без остановки...

О фронтовой жизни отца разговор особый. Тут скажу лишь о том, что войну он закончил в Восточной Пруссии и вернулся после победы домой с тремя главными трофеями: наградным именованным пистолетом, цейсовским артиллерийским биноклем и финкой в ножнах с яркой наборной ручкой. Пистолет вскоре пришлось сдать в военкомат. Отец после фронта какое-то время работал председателем колхоза. Но поднять порушенное, доведённое до ручки за годы войны хозяйство ему оказалось не под силу, к тому же от сильной нагрузки стали проявляться последствия контузии – обострились головные боли, появились приступы необъяснимой ярости, иногда ни с того ни с сего он засыпал днём, сидя за столом... Решил пистолет сдать – от греха подальше. Кстати говоря, отец всегда очень жалел о том пистолете – видно, он был дорог ему как память о фронтовой жизни. А финку потеряли мы со старшим братом Шуркой, играя где-то возле дома. Долго искали, но так и не нашли. Теперь остался только бинокль, который хранится у меня, и чаще других его просит посмотреть мой младший сын Пашка, вообще не знавший деда, – он родился уже после его смерти.

Вскоре после войны отец женился на нашей будущей матери. Мать однажды рассказывала о том, как они оказались вместе на Купинском базаре, и отец – в знак расположения, или это была форма ухаживания – великодушно предложил: «Купить тебе конфет?».

– Ну купи, – согласилась она...

Ухаживание, вероятно, было недолгим. Да и чего было, спрашивается, выбирать, особенно матери: фронтовик, хорош собою, статен, к тому же язык подвешен как надо... Впрочем, и она была не из дурнушек...

Но вышло так, что мать пришлось Поминовым как бы не ко двору. Дело тут, вероятнее всего, в бабушке, Марии Петровне: их семья, несмотря на свою многочисленность, не бедствовала. Дед одно время работал на маслозаводе, а это было сытное место; бабушка была рукодельницей, полдеревни обшивала – словом, как-то выкручивались. Другое дело – материна семья. Чурсины жили беднее бедного – бабушка Акулина все время болела; когда деда Тимофея мобилизовали, старшей из четырёх дочерей – моей будущей матери – едва исполнилось 14 лет... Пять лет без отца... Обнищали совсем – на всю семью оставались одни валенки.

Как говорит мать, её свекровь (и моя бабушка) считала Чурсиных не ровней Поминовым и в душе была убеждена, что её сын, красавец и фронтовик, достоин лучшей пары.

Но сами молодые, мне кажется, считали иначе. Наверное, им думалось, что счастье у них в руках, или, во всяком случае, совсем рядом.

Отец с матерью поженились в 1948 году. У них не было своего жилья, почти ничего – из вещей, зато был велосипед. На нем они иногда по воскресеньям ездили из Чубаровки в Купино.

Ехали они так: отец доезжал до макушки гривы (так здесь называют возвышенную часть складок местности) – чтобы видно было оставленный велосипед – и дальше шёл пешком. Мать, добравшись до велосипеда, садилась и ехала вперёд, обгоняя отца, затем оставляла велосипед ему... Так они, меняясь по нескольку раз, за час с небольшим одолевали восемь километров, разделявших Чубаровку и Купино. А уж по нему шли вместе, отец просто вёл велосипед... Точно так же возвращались обратно.

Мне за этим нехитрым способом передвижения видится теперь нечто значительное, романтическое... Куда потом это всё подевалось?

...Мне как-то не пришлось говорить с отцом о том, какие чувства он испытывал, возвращаясь с войны, какие строил планы. Но ведь это и так, в общем-то, ясно. Фронтовики возвращались со страшной из войн – победителями, и особенно те, кому посчастливилось избежать серьёзных ранений, наверное, видели себя настоящими хозяевами жизни. В самом лучшем смысле этого слова. И отец тут вряд ли был исключением: главное цел и невредим, есть голова на плечах, все самое страшное позади, теперь только жить и жить... Что же касается матери, то, кроме всего прочего, она, вероятно, связывала с замужеством надежду выбраться из той крайней нужды, в которой до сих пор находилась...

Но жизнь у отца с матерью, похоже, сразу «не пошла». С председательством в колхозе пришлось расстаться, дома (а жили молодые сначала у родителей отца) тоже мира не было – свекровь донимала невестку...

Решили уехать. Но нигде долго не задерживались. Хотя уже и дети пошли. Старшая дочь, Люба, не дожив до пяти лет, умерла. (Мать говорила так: «Скарлатина её задавила»). Потом родился Шурка, спустя три года – я, оба в

совхозе «Купинский» Новосибирской области. Через полтора года сестра Наташа – в деревне Окунёвка Омской области. Уже по этим адресам можно судить, что отцу на месте не сиделось – не мог он себе найти подходящее занятие. А мать с нами тремя мыкалась, мотаясь за ним, – своего собственного угла у них все ещё не было.

И тут грянула целина.

Хотя отец к этому времени был уже по горло сыт романтикой (последним местом его работы была нефтегазоразведка), решил рискнуть ещё раз. Мать, впрочем, считает их десант на целину своей заслугой: мол, надоело колесить, жить на чемоданах, мотаться с места на место...

Так отец в начале 1955 года с комсомольской путёвкой оказался на месте будущего целинного совхоза «Михайловский» Павлодарской области. А через несколько месяцев прибыла и мать с нами. Отцу по этому поводу (а он к тому же был и незаменимым специалистом – радистом) дали палатку. Правда, её скоро забрали, и нам всем довелось какое-то время жить в шалаше. Мать часто вспоминает, как я по утрам искал солнышко, чтобы согреться; а отец – как мою сестру Наталью заедали комары – глаз не могла открыть. Так что мы тоже хлебнули прелестей целинной жизни.

К первой зиме выстроили землянку – пластанку. А уже ко второй зашли в камышитовый дом, в котором мы вместе прожили больше 20 лет. Тут уже и наш младший брат Петька родился...

* * *

Я не помню, чтобы отец когда-нибудь играл с нами, когда мы были маленькими. Наверное, потому, что этого не было. С нами больше занималась мать, а когда она стала работать, мы росли сами. Я думаю, с нами – маленькими – отцу просто было неинтересно.

Мне почему-то помнится лишь одна сказка, которую он, будучи в наилучшем расположении духа (или слегка под градусом), рассказывал детям – и своим, и чужим. Это история о том, как козёл ходит «по ельничку – по березничку» и спрашивает у всех попадающихся ему животных: «Ах ты, зверь, ты зверина, ты скажи своё имя – ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?». Пока кто-то (уже не помню – кто) так и не заявляет козлу: «Я смерть твоя, я съем тебя», – после чего ему удаётся сбежать.

Это осталось в памяти, и совсем недавно я задался целью выяснить, откуда эти строки, чьи они? И среди многочисленных книжек своих детей обнаружил: оказывается, это русская народная песенка в обработке Корнея Чуковского...

Любопытно, что к нашим детям, своим внукам, отец относился уже по-другому. Чего тут было больше – проснувшегося зова крови или нерастраченной доброты, мне судить трудно. Но отец, одного взгляда которого было достаточно для того, чтобы нас в детстве как ветром сдувало из-за стола (считалось почему-то, что у него тяжёлый взгляд), ложился в комнате на пол, и мои Данька с Димкой по нему с удовольствием лазили. Димка, тот просто любил отдохнуть, лежа на дедовом внушительных размеров животе.

Как-то отец был в гостях у моего старшего брата. Сноху решили отпустить в кино, а сами посидеть мужской компанией – друзья брата пришли познакомиться с отцом. Только выпили по одной – закапризничала недавно родившаяся, ещё грудная Тонька, Шуркина дочь. Компания была солидная – все отцы семейств, Тоньку передавали с рук на руки, но она расходилась так, что с ней не было никакого сладу.

– Эх, вы, отцы, придётся деду спасать компанию, – вздохнул отец и... лёг на пол, – давайте её!

Тоньку положили ему на живот, и – поразительное дело – минут через десять она уже спала...

Правда, обращаться с пелёнками, распашонками, колготками, как, впрочем, и играть с детьми – в общепринятом смысле – отец так и не научился.

Что же до нас самих, его детей, то мы сами стали отцу интересны гораздо позднее, в пору своего собственного взросления.

Не припомню, чтобы отец следил за нашей учёбой – это было больше делом матери. Он оставлял за собой право гордиться нашими успехами. Как-то я, учась на три класса младше Шурки, что-то ему подсказал, кажется, по математике, и оказался – впопад. Отец то ли присутствовал при этом, то ли ему кто-то рассказал, но потом он при всяком удобном случае приводил этот факт как пример моих выдающихся способностей. (Стоило, например, кому-нибудь заметить: «А Юрка-то у вас – ничего, башковитый парень», – как отец тут же небрежно подхватывал: чего, мол, там: что правда – то правда, ещё в пятом классе Шурке помогал решать задачи за восьмой... При всем при том Шурка сам учился вполне прилично – во всяком случае, был одним из лучших в классе).

Любая наша беспомощность, любое проявление слабости отцом резко и безоговорочно осуждались. «Барчук, барчонок, – цедил он в таких случаях сквозь зубы, и это выражало высшую степень презрения. Вообще же он нас в детстве не слишком жаловал – ему было как-то не до нас. И я, наверное, погрешу против истины, если скажу, что мы его в детстве любили. Вернее будет сказать – уважали и побаивались...

Иногда он нас удивлял. Однажды вечером в доме погас свет. И это не пробки перегорели – тут бы он устранил поломку в два счёта (соседке, тете Вере Шарубиной, как-то даже ложку пристроил в счётчик – вместо отсутствующей пробки). Случилось что-то серьёзное, и у нас почему-то не оказалось керосиновой лампы (или керосин кончился). «Ничего, мы сейчас сделаем по-фронтальному», – как-то непонятно для нас сказал отец. Мать принесла из кухни сковороду с остатками свиного жира, он обвалил в нем кусочек суконной тряпки, конец её пристроил на край сковородки. И, к нашему великому изумлению, самодельный фитиль загорелся. Правда, он отчаянно дымил, трещал, но горел и светил – и мы чуть не визжали от восторга. Чувствовалось, и он сам был доволен произведённым эффектом.

Ещё помню его «фирменное» блюдо, которое все мы любили. Бралась замороженная свиная ляжка, от которой он нетолстыми ломтями стругал мясо. Потом обливал его раствором уксуса (у нас аж в носсах свербило – такая была концентрация) и бросал на сковороду, где мясо в течение нескольких минут доходило до кондиции. Ещё к нему полагались лук, нарезанный крупными кольцами, и хлеб. Шурка, я, Наташка – все мы садились вокруг и с небывалым аппетитом поглощали это полусырое-полуподгоревшее-полусоуженное уксусом кушанье (а оно именовалось шашлыком), отчего мать приходила в ужас, а отец – в благодушное состояние, несмотря на то, что «шашлык» готовился, как правило, в состоянии лёгкого подпития.

...Мы теперь у себя дома завели традицию: при открытии дачного сезона и после завершения сельскохозяйственных работ обязательно жарим на даче шашлык. Моим детям, жене, да и мне самому очень нравится этот ритуал. Правда, почти никогда не удаётся накормить их досыта – как и нас в том далёком детстве...

* * *

Я бы не сказал, что отец был физически очень сильным человеком. Но он был очень здоровым человеком. Не могу припомнить, когда бы он серьёзно болел. Наоборот, почти всю зиму ходил без рукавиц, шапку никогда не отворачивал, шарфов не признавал, воду пил ледяную – со снегом. Его красные – с мороза – шея и руки остались для меня с тех пор как бы олицетворением здоровья. Прибаливать иногда он начал уже ближе к пенсии, но тут случай особый – это были кожные раздражения на нервной почве.

Тем более запали в память несколько дней, которые он провёл в спальне, не вставая с кровати. Его сильно избили неподалеку от дома, на огородах, некие братья Рудики. Фамилия почему-то запомнилась, а подробности нет. Но, кажется, это было связано с его работой на току – он не разрешил кому-то бесплатно взять оттуда зерно. Они его «перестрели» (это бабушкино выражение) вечером, когда он, спрямляя дорогу, огородами шёл домой. Били, видимо, долго, кое-кто видел, в том числе из мужиков, но вступить боялись... Сам отец, как я теперь понимаю, защититься был не в состоянии, он вообще драться не умел (хотя на фронте не раз ходил в атаку), и они могли его забить до смерти или оставить замерзать на снегу (дело было зимой)... Спасла отца соседка, не побоявшаяся ночью двоих мужиков, подняла крик...

Я не помню, как выглядел избитый отец, что он говорил. Но помню атмосферу в доме – какую-то тревожную, придавленную, неуютную. Мать без конца носилась из кухни в спальню, меняя мокрые полотенца, таскала туда какие-то чашки с водой и со льдом, а со всеми приходящими разговаривала почему-то шёпотом, каждому рассказывая о случившемся.

Подробности в моей памяти не сохранились, но я точно знаю, что отец не «рассчитывался» с обидчиками, и они не были осуждены, но через какое-то время уехали из нашего совхоза.

Характерно, что отец, несмотря на своё фронтное прошлое, почти не переносил вида крови. Кур, уток, гусей всегда рубила мать. Когда надо было резать свинью, обязательно кого-нибудь звали, а отец, если была какая-то возможность, увиливал от собственно «забоя», помогал лишь потом, когда тушу смалили, мыли, разделявали. И только уже ближе к пенсии он сам начал резать овец...

Его служебные неприятности оставались обычно за пределами нашего детского (моего, во всяком случае) сознания. Кроме одной. Сгорела животноводческая ферма на третьем отделении совхоза. Причина – какие-то неполадки по электрической части, а он был инженером-электриком и к тому же в то самое время отмечал на этом отделении с друзьями, которых у него всегда было великое множество, какое-то событие. Разумеется, отца освободили от должности (тогда говорили – сняли с работы), и он стал простым электриком. Врезалась почему-то в память материна фраза, которую она шёпотом сообщала наиболее близким знакомым: «Нефедьев (начальник райсельхозуправления) сказал: снять – и на пушечный выстрел не подпускать к руководящей работе!».

Не помню, переживал ли отец по этому поводу. Скорее всего, переживал: могли ведь при желании и дело завести. Но помню опять же атмосферу в доме: какое-то гнетущее затишье... С нами на эту тему он, мне кажется, не разговаривал, даже со старшим – Шуркой, а мне было, наверное, лет двенадцать-тринадцать... Любопытно, что когда у меня самого начались нелады с начальством на недавно обретенном редакторском посту, я в отчаянии пытался что-то объяснить своему Даньке: так, мол, и так, неприятности на работе, тяжело... Он никак на это не отреагировал: или не понял ничего, или не приучен был к тому, чтобы с ним говорили на подобные темы... А мне почему-то в тот момент было обидно. Глупо, наверное, но тем не менее это так...

* * *

Я учился в шестом или в седьмом классе, когда в доме появился мотоцикл. Одноцилиндровый красавец «Иж-Планета». Это было такое событие! Мотоцикл, если не ошибаюсь, стоил что-то около шестисот рублей – целое состояние для нашей семьи. Я это пишу безо всякой иронии. Наша семья, разумеется, не была самой бедной в совхозе, мы жили по тогдашним меркам средне (говорилось – «как все»). Но я помню, например, что, став в восьмом классе комсоргом школы, на первые пленумы райкома комсомола я ездил в фуфайке. Новой, но фуфайке. Когда я рассказываю об этом своим детям, они смеиваются (Данька, например, всегда добавляет: «Ты ещё скажи, что, как дядя Петя (младший мой брат), с трёх лет баранов пас...»). Между тем это чистая правда, и говорится она лишь к тому, что большинство людей в ту недавнюю пору довольствовались совсем малым. Так, личных автомашин в совхозе не было почти ни у кого, владельцы мотоциклов с колясками считались в меру зажиточными, а те, кто, как мы, имели мотоцикл попроще, вполне могли претендовать на средний класс...

Кстати говоря, и первый телевизор в совхозе появился аж в 1967 году. Я это хорошо помню, потому что учился тогда в седьмом классе и ходил на первые телесеансы к своему однокласснику Лёнке Маноскину. Его отец занимал в совхозе престижную должность электросварщика и сумел сварить для своего дома высоченную антенну, благодаря чему и стал возможен приём одной из телепрограмм. Другие тоже могли позволить себе купить телевизор, но лишь

для украшения квартиры – ни у кого не было антенны, как у Маноскиных, а ретрансляторов в ту пору в нашем краю не водилось. После каждого сильного ветра антенна у Маноскиных загибалась буквой «г», потом целая ватага мужиков её в муках распрямляла, уже на земле, опять устанавливала...

Тем не менее обладатели телевизора Маноскины были так же знамениты в совхозе, как братья Давыденко – владельцы единственных в районе (а может, и во всей области) настоящих, «всамделишных», как мы тогда говорили, аэросаней. Какой-то их родственник якобы работал на авиазаводе и сумел по большому влугу достать списанный (или бракованный) двигатель от самолёта-кукурузника – с пропеллером и кабиной. Аэросани стояли на трёх лыжах. Но самое поразительное было в том, что они ездили – и довольно быстро. Когда воскресным утром Давыденки запускали свои аэросани, на всю округу поднимался такой треск, напоминающий стрельбу, что можно было подумать – началась война. Полсовхоза сбегалось к их дому на окраине, чтобы проводить аэросани в первый путь – Давыденки ездили на них на охоту.

Ревел мотор, набирал зверские обороты уже невидимый пропеллер, вздымая снежную пыль; аэросани подрагивали всем своим корпусом, но с места никак не двигались. Наиболее осведомлённые зеваки сообщали тем, кто только пришёл, что это и составляет главную сложность – тронуться с места. А уж потом они пойдут как по маслу... И наступал тот самый момент, ради которого мы, пацанва, сбегались сюда и подолгу морозили сопли... Аэросани трогались, обдавали нас снежным вихрем и, набирая скорость, уносились по белой равнине вдаль.

Только теперь понимаю, сколь беззащитна была в нашем малолесном краю любая живность перед этим беспощадным быстроходным изобретением, не знающим усталости. Рассказывали – даже волк не уходил: гнали от колка к колку, а когда выбивался из сил, хладнокровно добивали прямо из кабины.

Но, впрочем, я отвлёкся...

Логично было бы предположить, что, приобретя мотоцикл, эту столь дорогую для нас вещь, отец станет ею и единолично распоряжаться. Тем более у нас было другое транспортное средство – ещё не старый велосипед. Но – нет. Шурка, а он учился в девятом или десятом классе, стал пользоваться мотоциклом почти на равных с отцом.

Мне было впервые позволено сесть за руль в седьмом классе. Правда, иезуит-Шурка поставил условие: если сдам на «отлично» переходные экзамены. А когда это произошло, он доверил мне руль, сам перебравшись на заднее седло. Перед этим был короткий инструктаж: надо выжать муфту, левой ногой включить первую скорость и, добавляя газу, плавно отпускать рукой муфту. Я устно повторил последовательность операций, и мы приступили к практическому вождению.

Кажется, я сделал всё, что полагалось, но вместо того, чтобы плавно тронуться, мотоцикл почему-то взревел и прыгнул с места, как горный козёл. Шурка оказался на земле, а я – что удивительно – ехал, отчаянно газуя и думая только о том, как бы остановиться... А ведь ещё предстояла расплата...

Но всё как-то обошлось. В конце концов я догадался нажать на муфту и на тормоз одновременно, и мотоцикл остановился, а когда я сбросил газ, он и вовсе заглох... В тот раз мне даже не попало...

...Ездить я всё же научился. И без ложной скромности скажу – неплохо. Во всяком случае, мать предпочитала, чтобы её отвозил в поле на летнюю дойку (она в то время работала ветеринарным техником) именно я. На мотоцикле я исколесил всю совхозную округу, выискал все грибные и ягодные места.

Вообще мотоцикл стал ещё одним членом нашей семьи. Отец строго следил за тем, чтобы мы его не перегружали во время обкатки, и он нам после служил верой и правдой почти десять лет. Отец совершал на нём и дальние поездки – в Железинку, в Купино, километров за 100-120.

У большинства людей от детства всегда остаётся в памяти немало приятных страниц. И мои собственные детство и отрочество не были бы такими яркими, не будь у нас мотоцикла. Пишу эти строки и вижу: едем из лесу, Шурка за рулём, я сзади, но не держусь – нечем – в руках у меня по полному ведру грибов. Или ещё... Раннее сентябрьское утро, на улице прохладно до лёгкого озноба. Собираемся в «Весёлую Рошу», к проходящему автобусу, на котором я доеду до райцентра, где после школы начал работать в местной газете. Отец заводит мотоцикл, и мы знакомой улицей Абая, влажноватым после росной ночи просёлком, мимо осыпающих последние листья колков – едем... Серебрится инеем трава по обеим сторонам просёлка, стелется вслед за нами над землёй голубоватый мотоциклетный дым (мне даже запах его приятен!)... Передо мной плотная широкая отцовская спина в старой фуфайке. Он едет небыстро. Мне как-то спокойно, уютно-надёжно... Только не хочется уезжать из дому...

* * *

Из животных отец отдавал предпочтение собакам и лошадям. В совхозе у него была слава человека, который поладит с любой собакой. И он не раз это доказывал, запросто подходя к самым что ни на есть свирепым, сидящим на цепи псам. Но, впрочем, никогда этим особенно не козырял.

И у нас дома – сколько себя помню – всегда были собаки. И почему-то все обязательно Шаррики. Один Шарик как-то даже оценился.

Мне отцовский дар общения с собаками в полной мере не передался. Я это отчётливо понял, когда меня сильно покусал соседский Букет. А было так. Наши соседи Шарубины его взяли щенком и сразу посадили на цепь. Он хорошо знал меня и даже, когда подрос, свободно подпускал к себе. А потом я уехал на месяц в деревню к Чурсиным – деду с бабушкой, материным родителям. И когда вернулся, Букет меня решительно не узнавал – забыл начисто. Разумеется, я с этим не мог примириться и пытался приручить его заново, считая, что чем больше я буду находиться в непосредственной близости от него – тем лучше. Так в один из дней я прохаживался по соседскому двору с прутиком перед сидящим на цепи Букетом, невзирая на его предупреждающий рык. Когда я оказался совсем близко, Букет прыгнул и, порвав ошейник, укусил меня сбоку – сзади, чуть пониже спины... Надо отдать ему

должное: одного укуса оказалось вполне достаточно для удовлетворения его собачьего самолюбия. После этого он отошёл назад к будке и спокойно лёг.

Все произошло так быстро, что сначала я даже испугаться не успел. Только потом ноги стали ватными, а руки затряслись. Боялся, что ещё и мать поддаст, ведь не раз предупреждала: не дразни Букета – укусит.

...Лечили меня способом своеобразным: у Букета состригли клочок шерсти, затем мать с тётёй Верой жгли её и пеплом присыпали мне рану, приговаривая: «Зарастай, как на собаке, зарастай, как на собаке!».

Заросло, конечно... А отец, узнав о случившемся, усмехнулся, глянул тяжело и сказал: «Я знаю, как подходить к собаке – и подхожу. А ты не знаешь – и не лезь». Было не совсем понятно, но зато перед глазами ещё стоял практический урок...

С тех самых пор собак я не то чтобы боюсь – побаиваюсь...

Одно время отец работал бригадиром в животноводстве, руководил группой доярок, обслуживающих гурт дойных коров. И по должности ему полагалась служебная лошадь. Это был конь по имени Мальчик. Когда он только достался отцу, на него жалко было смотреть – худой, облезлый, плешивый. Но отец его жалел, холил, к тому же сильно не гонял, и скоро Мальчика стало просто не узнать. Он был так хорош, что мне всё время хотелось подойти и погладить его. При этом он всегда вздрагивал кожей, косил глазом, изгибая шею, – к ласке, как я теперь понимаю, приучен не был.

В качестве приложения к Мальчику отцу полагались летом дрожки на резиновом ходу, а зимой кошева – красивые вместительные сани на деревянных полозьях, подбитых железными планками.

Мальчик, помимо всего прочего, оказался очень резвым конём. «Как пуля», – заметил как-то наш сосед дядя Саша Черняков, следя за его лёгким, стремительным бегом. А дядя Саша понимал толк в лошадях. Около них он провёл едва ли не всю свою жизнь. Я сам не раз ездил вместе с его детьми Колькой и Сашкой пасти (они это говорили с ударением на «а») табун. Кстати сказать, дяди Сашина любовь к лошадям особо передалась одному из его детей, по-моему, Петьке, и стала причиной его отчаянных распрей с роднёй. Изрядно «поддав», он изливал мне душу: «Юра, я коней (упирая на «о») люблю, – чуть не плакал он, – а они говорят: я их позорю...». Родня никак не хотела мириться с тем, что он надумал быть конюхом...

Но я, впрочем, опять отвлёкся...

Отец, по-моему, был весьма горд тем обстоятельством, что он располагает именно (а никому другому в совхозе Мальчика эксплуатировать не позволялось) лошадью. Всё же какой-никакой транспорт. В мою обязанность входило распрячь Мальчика после рабочего дня и отогнать его в конюшню. С этим делом я научился справляться довольно быстро, а вот научиться запрягать долго не удавалось. Отец, когда добродушно посмеиваясь, а когда и злясь, показывал: он был нетерпелив и с трудом переносил непонятливость... Лошадь теперь сразу вряд ли запрягу, а все элементы упряжи помню – уздечку, хомут, вожжи, чересседельник, сбрую, оглобли... Даже что такое супонь – знаю...

Тогда же учился ездить верхом. Притом без седла, что куда сложнее. Какое-то время ходил со сбитым задом, а потом ничего – приловчился. Много неприятностей на первых порах доставлял мне и сам Мальчик, потому что он оказался не только резвым, но довольно норовистым конём. Для того, чтобы лошадь была более послушной и управляемой, в уздечке есть одно приспособление – стальные удила. Это мундштук – металлический стержень, который заправляют коню в рот, к обеим его концам через специальные кольца крепятся ремни-уздки – поводья. Дёргая за правый или левый ремень, всадник даёт животному знать, в каком направлении двигаться; натягивая поводья, он заставляет его останавливаться.

Увидев в первый раз Мальчика, грызущего зубами удила, я сразу же его пожалел и решил для себя, что буду ездить на нём, исключительно разнузданном (то есть в уздечке, конечно, но освободив его от удил). Но не тут-то было. Уже во второй раз, примерно в середине пути, Мальчик вдруг отказался мне повиноваться, а когда я попытался слегка «пришпорить» его ногами в валенках, он в ответ кинул задом – и я оказался на снегу. Коварство было столь неожиданным, что я даже растерялся. Оглянувшись по сторонам – не видел ли кто моего позора, я подвёл Мальчика к ближайшему забору и с его помощью вновь взгромоздился на лошадиную спину. Но ситуация тут же повторилась – Мальчик вовсе не желал слушаться. Так я наглядно убедился в том, что такое на практике означает разнузданность.

– Ах, ты так, – разобиделся я, – не хочешь по-хорошему? Ну ладно...

Минуту спустя Мальчик был мною решительно взнуздан и безропотно доставил меня на конюшню. О своём позоре я, разумеется, никому не сказал ни слова.

Иногда отец отправлял меня за Мальчиком и на конюшню. Мне это не совсем нравилось. Дело в том, что на конюшне содержался не один десяток лошадей. И нужно было заходить прямо в табун. Я этого побаивался, а особенно боялся Лысана – злого и коварного совхозного жеребца, который, предупреждали мужики, может и ударить задом, и укусить... Хорошо, если в конюшне оказывался кто-нибудь из взрослых. В таком случае я просил – и мне ловили моего Мальчика. Но однажды, никого не дождавшись, я отважился сделать это сам. Мне удалось отбить Мальчика от остальных, оттеснить его в угол и накинуть на голову уздечку, после чего он уже не сопротивлялся. Домой на этот раз я возвращался особенно гордым. И с Мальчиком с тех пор у нас установились отношения какого-то доверия: я всегда старался сунуть ему что-нибудь лакомое – кусок хлеба, дроблёнки – хорошего сена, а он давался мне в руки в конюшне и уже не сбрасывал по пути, даже если я забывал его взнуздывать...

Но, пожалуй, самое яркое впечатление тех лет связано с нашей с отцом зимней поездкой на Мальчике на ближайший от совхоза железнодорожный полустанок «Осенний». Отец куда-то уезжал, и именно мне почему-то было доверено сопровождать его, чтобы обратно пригнать Мальчика.

Помню морозный день – уже на склоне к вечеру. Слегка возбуждённый от скорого путешествия отец (а ездить он всегда любил и ездил много) наказывает мне бросить в кошеву пахучего житнякового сенца (чтобы мягче и теплее было в дороге). Сам он выносит из дому огромный овчинный тулуп, примеривает. Тулуп даже на рослом отце стелется полами по снегу, приподнятый роскошный воротник скрывает отцовскую голову в кожаной шапке. Я в теплом пальто-«москвичке», подшитых валенках, шапке с опущенными ушами, тёплых рукавицах. Мальчик, предчувствуя дорогу, грызёт удила, нетерпеливо перебирает ногами.

Отец поправляет в кошеве принесённое мною сено и садится первым, подстилая под себя одну полу тулупа. Вторая предназначена мне. Я сажусь на неё, ей же запахаиваюсь. Таким образом, одного тулупа вполне хватает, чтобы укрыться нам обоим.

(Этому тулупу была уготована долгая жизнь. Он не один год служил отцу, потом из него вышла роскошная шуба для моей жены, которую отец выделял из других снох; и, наконец, теперь из неё выкроили полшубок для моего младшего сына Пашки...).

...Красное, как будто настывшее за день солнце ещё парит над землёй, когда мы, наконец, трогаемся. Мальчик стрелой пронесит нас улицей – только кошеву подбрасывает на ухабах – и, направляемый отцом, устремляется по санному следу в заснеженную степь. Отец не торопит Мальчика, тот сам бежит лёгкой рысью. Натруженно поскрипывают в морозном воздухе полозья, летит в нашу сторону из-под копыт снег; обжигает лицо, перехватывая дыхание, встречный ветер. Хорошо!

Но исподволь начинает точить душу мыслишка. Туда-то хорошо – с отцом, а как обратно? Одному, да ещё к ночи...

– Ничего, доедешь, – как будто прочитав мои мысли, вдруг говорит отец, – только воли ему не давай – держи покрепче вожжи.

На разъезде в ожидании поезда греемся у раскалённой докрасна печки. Отец, купив билет, спешит отправить меня домой, потому что уже наступают сумерки. Сам усаживает меня, заворачивает в тулуп, вручает вожжи.

– Ну, давай, с Богом!

Мальчик с места берет рысь и, явно почуяв облегчение, стремглав несёт кошеву по знакомому следу домой. Я, вцепившись в вожжи, думаю только о том, как бы не вывалиться на одном из поворотов. Мне жутковато немножко от того, что я вечером в поле один, мне мерещится что-то тревожное. Но к этим чувствам стремительная езда в надвигающейся ночи добавляет какого-то непонятного, отчаянного веселья. Мне страшно и хорошо одновременно...

Кажется, домой я приехал куда быстрее, чем ехали с отцом туда. Сам распрягаю Мальчика – он весь закуржавел после поездки – в инее круп, ноздри и даже грива; и хлопаю на прощанье по спине: «Ну, а теперь – на конюшню». Он будто в раздумьи проходит несколько шагов и вдруг ложится и начинает кататься по снегу. Я испугался, что это с ним? Но оказалось – ничего страшного – лошади иногда любят устраивать сами себе подобный моцион.

Не очень долго побыл у нас Мальчик. То ли отец сменил работу, то ли ещё что-то случилось, но его передали другому человеку. Тот относился к нему плохо и, говорили, довёл его до ручки. Но я Мальчика больше не встречал – не довелось. Может, это и хорошо...

* * *

Люди, знавшие отца близко, знали и о его довольно тяжёлом характере – взрывном, подчас неуправляемом, а иногда и вздорном. Наверное, виной всему и война, перепахавшая двадцатилетнего парня, искалечившая его психику; и контузия, да и последующая, не слишком безмятежная жизнь. Он был достаточно тяжёл для семьи, и я не хочу это скрывать. Каков был – таков был...

...С людьми отец сходилась очень быстро – с ходу, а отношение к ним у него было очень неровным. Как бы теперь сказали – не всегда адекватным. Если уж он невзлюбил кого-то за что-то (если было за что), то упорно нёс эту нелюбовь по жизни. Выражалось это в том, что отец, подобрав для такого человека наиболее уничижительные (как ему казалось) определение, кличку, потом многократно, подчас без всякого повода, повторял её. Например, соседскую Людку он чуть не до самой свадьбы звал не иначе как «заготовитель яиц». А суть в том, что они (кажется, с нашей сестрой Натальей) лазили в куриные гнезда и таскали оттуда яйца. Ещё в его лексиконе были «гундосая Нюрка» (какая-то баба с дефектом речи) из деревни, где он когда-то жил; Брежнев для него был «орденопросец». Один из наших общих знакомых имел такую нелестную характеристику – «в шапке дурак – и без шапки дурак». Родню он также не жаловал: бабушку иногда звал «чубаровская ряженка», намекая на её прошлое, в котором она торговала на Купинском базаре вкуснейшим и знаменитейшим на всю округу деревенским деликатесом собственного производства; ставшую веттехником мать именовал «доцентом» (причём оттенки всякий раз у этой клички были разные – от горделивых до презрительно-уничижительных).

К сожалению, теперь многое выветрилось из моей памяти, а жаль. Ведь и в этом он тоже был весь: с известным недостатком внутренней культуры и с совершенно очевидным природным умом, богатым воображением. В нем поразительным образом могли ужиться заурядная мужицкая грубость и известная прямо-таки интеллигентская деликатность, нисколько при этом друг другу не мешая. Сам часто обижая людей, особенно почему-то близких, он и сострадать умел как никто другой.

На нашей улице, наискосок от нашего дома, жили Хомутовы. Дядя Петя – коренастый невысокий крепыш, гармонист, и тётя Катя – на две головы выше его, необъятная, как баобаб. Один из их детей – Сашка – был неизлечимо болен. Его били припадки, и, наверное, поэтому он отставал от других детей в умственном развитии. Раз я случайно оказался свидетелем страшной сцены. До этого тихо стоявший рядом, он вдруг как-то странно изогнулся, задёргался, упал и начал биться в судорогах – прямо на пыльной дороге... Почти все в совхозе знали о Сашкиной

болезни. Взрослые сочувствовали ему, но как-то так, «про себя»; мы, ребяташки, его избегали. Родители на него особенного внимания не обращали, он был сам по себе.

И вот с ним у отца установились совершенно особые отношения. Их стержнем, насколько я теперь понимаю, было полное равенство, вернее, равноправие. В какой-то мере Сашка себя считал даже главнее, позволял себе критиковать отца и даже воспитывать его. А тот принимал это как должное. И Сашка, сразу потянувшись к отцу, потом ходил за ним, как телёнок.

Вот характерная картина. Отец идёт с работы на обед, а Сашка по обыкновению сидит возле дома на лавочке.

– Здоров, Помин пузатый! – явно задираясь, окликает Сашка отца.

– Здравствуй, Саша, – как ни в чём не бывало отвечает отец, сам подходит и протягивает руку. Тот даёт свою.

Начинается разговор, возможный только меж ними, в ходе которого Сашка вполне может выговорить отцу за то, что видел его нетрезвым, или за какую-то другую (действительную или несуществующую) провинность... Мне теперь кажется иногда, что эти беседы, это ненавязчивое опекуновство отцу были нужны не меньше, чем Сашке. Для чего? Ведь нельзя сказать, что он был добрейшим из добрейших. И обижал, повторяю, многих. А тут – такое... Видимо, была какая-то душевная потребность. Может быть, этим он в какой-то мере, сам о том не подозревая, устанавливал внутри себя некий общий жизненный баланс добра и зла, компенсируя своим особым отношением к Сашке обиды, наносимые им другим людям.

* * *

Каким отец был работником? Тут, пожалуй, однозначно не ответишь. Повседневную домашнюю работу он не жаловал. По хозяйству больше управлялась мать, а потом, взрослея, мы. Если мы что-нибудь делали с ним вдвоём, например, пилили дрова, и у меня это не выходило (не хватало силёнок, торопился, «кривил»), он начинал злиться. Я это чувствовал, что усиливало мою неуверенность, и работу порой приходилось бросать. Но когда мы вместе ездили за сеном, я со стороны любовался им, видя, как он играючи вздымает с земли и забрасывает на тракторную тележку или в кузов автомашины огромные навильники сена. Мне нравилось ездить с ним на лошади за дровами – валежником и сушняком. В лесу он менялся, как-то мягчел, что ли. Часа за два-три мы, бывало, набирали приличный воз: я таскал сухие берёзу, осину, тальник, он не спеша, старательно и сосредоточенно укладывал, увязывал. Возвращались зачастую так: он, идя рядом с возом и держа вожжи в руках. Я, гордый, сидел наверху.

Наверное, можно сказать так: он знал основную крестьянскую работу, умел её делать, но она не была его душевной потребностью. Повседневность, серая обыденность были чужды ему. Видимо, отчасти этим объясняется и тот длинный перечень профессий и должностей, которые он перепробовал за те неполные 30 лет, что довелось ему прожить на целине. А был он радистом, заведующим совхозным током, заместителем директора совхоза по хозяйственной части, бригадиром в животноводстве, председателем рабкоопа и председателем профсоюзного комитета, инженером-электриком, просто электриком и, наконец, инженером по технике безопасности...

Мать, не раз в сердцах упрекая отца за то, что его сгубили «водка и глотка» (имелось в виду его известное пристрастие к спиртному и неумение молчать, когда молчать желательно), не могла не оценить и его патологической честности... В жизни он запросто мог приврать, но взять чужое, тем более у родного государства, которое его самого всю жизнь обирало, – никогда. В разное время в его руках были и деньги, и товары, и продукты, и другие ценности, а мы едва концы с концами сводили, во всяком случае, пока мы чуть-чуть не подросли, и мать не начала работать сама. «Где уж слишком досужий, а где, прости Господи, простодыра», – ругалась на отца мать, в очередной раз убедившись в том, что в дом от него ничего не дождёшься.

Да, я думаю, и характер, и известная тяга к спиртному, которая, впрочем, не достигала степени болезненной страсти («Ну любит человек выпить», – так тогда говаривали), конечно, немало вредили отцу в жизни. Но не это было главной причиной всех его служебных перемещений. Убеждён: он чувствовал в душе силы, и силы немалые, но не находил им применения. За каждую новую работу он брался с охотой, а познав её тонкости, скоро терял к ней интерес.

Конечно, играло свою роль и то обстоятельство, что он не получил даже среднего образования. Уже на целине, когда партком предписал ему учиться в вечерней школе («Как это так – фронтовик, на руководящей должности и с начальным образованием?»), он с горячностью взялся за это дело. Я сам не помню поры его ученичества, но старший брат Шурка уверяет, что он относился к этому поручению с величайшей добросовестностью. Потом как-то раз отец подзагулял, пропустил занятия, потом ещё, и в конце концов с учёном было покончено. И этот факт тоже его характеризует: способный на порыв, к постоянной систематической работе он был мало годен, размеренность его тяготила.

Мне до сих пор кажется, что какие-то главные его качества, его неповторимый природный талант остались в значительной степени невостребованными. Может быть, именно поэтому он так ревниво следил за нашими с Шуркой первыми шагами на журналистском поприще. У меня сначала не всё ладилось, долго не мог найти хоть какое-нибудь пристанище в райцентре (никто почему-то не брал меня на квартиру). Приехал однажды после очередных безуспешных поисков домой на попутной машине и лёг в спальне. Отец зашёл, сразу всё понял. И только сказал:

– Ну что, не передумал работать в газете?

Тут была и лёгкая ирония («Что, мол, чуть-чуть не получилось – и сразу раскис?»), и сочувствие («А ты как думал – жизнь она такая...») одновременно. Я это оценил, потому что успокаивать и жалеть у нас было не принято.

Отец помогал мне собирать материалы для моих первых публикаций, особенно затрагивающих войну. Он встречался по моей просьбе с фронтовиками, записывал их рассказы, следил, чтобы в моих материалах на эти темы не было несуразностей.

Уже учась в университете, я вдруг загорелся идеей написать серию статей об истории совхоза, его первых целинных годах. Раскопал в столичной библиотеке старые газеты – районную и областную, кое-какие материалы мною были собраны раньше. Но не хватало свидетельств очевидцев тех событий двадцатилетней давности. И собрать их быстро было никак нельзя: я в Алма-Ате, а они за полторы тысячи километров в совхозе. Я попросил об этом отца, написав ему письмо.

На скорый ответ не рассчитывал. А недели через две уже получил два объёмистых конверта. В них были и его собственные воспоминания, и записки тех, кто приехал на место будущего совхоза в числе первых и ещё жил в нём; там были фамилии, имена, даты, события – поистине бесценные сведения, о которых мне и не мечталось. Я ходил по городу, ощупывал конверты, перечитывал... Они до сих пор хранятся в моем небольшом архиве.

И очерк о совхозе я тогда всё же написал. Он назывался, по-моему, «Так начиналась целина» и был опубликован в трёх номерах нашей «районки» «Ленинское знамя».

Так что отец был весьма обязателен, когда дело касалось серьёзных вещей. Но, впрочем, я опять отвлекся, ведь речь сейчас о том, как работал он сам.

Мне трудно анализировать эту сторону жизни отца, поскольку она была большей частью скрыта от моих глаз. Встречались мы главным образом дома, о работе он много не говорил, да я этим сильно и не интересовался. А закончив десятилетку, уехал из дома – сначала за сто километров в райцентр, потом поступил в университет... Сейчас, когда пишутся эти строки и когда мне самому вот-вот стукнет сорок, я думаю, что его жизнь могла бы сложиться иначе, если бы сначала война, а потом и другие «шероховатости» судьбы не помешали ему развить лучшие свойства его натуры, способности, которым он по большому счёту так и не нашёл применения. Он много читал, у него была прекрасная память, хорошая речь, и со своим четырёхклассным образованием он мог, нисколько не напрягаясь, свободно общаться с любым собеседником. Он был достаточно независимым человеком, но мог в известных обстоятельствах «подпустить леща» начальнику сына. Брат Шурка называл это свойство его натуры простодушной крестьянской хитростью. Но отец мог и начисто испортить свои отношения с собственным начальством из-за сущего пустяка и потом стоять на своём до последнего.

Мне кажется теперь, ему бы пришлось вполне в ту пору профессорская кафедра в университете. Судя по его цепкой, образной памяти и живой речи, он мог бы стать литератором. Если так можно выразиться, в жизни ему удавалось комиссарствовать – в самом хорошем смысле этого слова. Сколько помню себя в детстве, ни один наш школьный пионерский костёр в лесу не обходился без его участия.

Как сейчас вижу его – ладного, уверенного в себе, в защитного цвета галифе, в сапогах, вельветовой куртке с замочками на груди и карманами по бокам. Слушали мы, пацанва, его с жадным вниманием, открыв рот. А я при этом успевал им гордиться...

Много лет закадычным другом отца был дядя Саша Агеев – маленький, худощавый, медлительный и невероятно упрямый. Когда-то, в первый год целины, Агеевы зимовали вместе с нашей семьёй в нашей же землянке-пластанке (я потом прикидывал: практически в одной комнате жили где-то около десяти человек). Тогда и подружился. Свою жену, тётю Тосю, дядя Саша звал «моя опасна», а отца – кумом. Отец именовал дядю Сашу «чалдоном желтопупым». Их объединял одинаковый социальный статус, а кроме того, роднила склонность к выпивке и страсть к рыбалке.

В приятелях у отца числились два директора нашей школы, которых мы, ребяташки, боялись как огня. Были у него друзья – директор совхоза, парторг, управляющий отделением. С первых лет целины он дружил с местным казахом Камзой Мардановым, вечным совхозным завхозом. Когда мы построили свою баню (о ней рассказ особый), приятелей и знакомых резко прибавилось – среди них даже оказался председатель райисполкома... Но самым близким всю жизнь оставался, пожалуй, дядя Саша Агеев. Он тоже остался верен этой дружбе, и когда встал вопрос о том, кому ехать в соседний райцентр, чтобы забрать тело отца из морга, поехал он – вместе с моим старшим братом.

Отцовские знакомства не всегда имели прямое отношение к его работе, но, как мне кажется, они помогают лучше понять какие-то свойства его натуры, в известной степени объясняют весьма непростой и извилистый путь его профессиональных «зигзагов».

На склоне лет отец, похоже, меньше всего был озабочен своей профессиональной принадлежностью. Но он весьма ревниво следил за нами, его детьми, чей успех, по-моему, ему был важен чрезвычайно. Так, он со сдержанной одобрительностью отнёсся к моему желанию поступить в университет. Одобрительность, думаю, понятна, а за сдержанностью крылась, скорее всего, первородная крестьянская предосторожность – как бы не слазить... Отец с матерью сами отвозили меня в Алма-Ату, чтобы устроить на квартиру к своим знакомым – на время экзаменов. Приют мне понадобился всего на несколько дней – уже после первого экзамена по литературе, отсеявшего значительную часть конкурентов, освободились места в общежитии.

Договорились с родителями, что я не буду сообщать им о результатах каждого экзамена. А то может получиться так: пока моё письмо с известием об успешной сдаче одного экзамена доберётся до дома, я вполне могу «завалиться» на другом.

Телеграмму дал сразу после того, как состоялось зачисление. Домой её принесли, когда вся семья была в сборе. Пили чай. Отец схватил телеграмму, несколько раз прочитал и почему-то пошёл в наступление на мать: «Ну, что я тебе говорил... Это ж Юрка! Я знал...». Потом налетел на Шурку с Наташкой: «А вы? А вы?». Потом на Шурку отдельно: «Что, опять тебя Юрка обскакал?». В возбуждении он чуть ли не бегал по двору в одной майке, и, наверное, не было в эти минуты человека счастливее его...

Я тут ничего не придумываю, хотя сам, разумеется, при сем не присутствовал. О реакции отца на моё поступление я знаю со слов Шурки, который в это время гостил дома. Но я лично знаю, как горд был отец, когда Шурка несколько лет спустя стал слушателем Высшей партийной школы... Помню, как мы в только что полученной мной квартире (первой в жизни!) встречали Петьку, с немалыми приключениями поступившего на филфак КазГУ. Я поехал за младшим братом в аэропорт, а отец в это время, по причине отсутствия моей жены Ольги, готовил на кухне праздничный ужин: жарил нашу с Петькой любимую картошку на сале. И на этот раз мы даже позволили Петьке немного выпить вместе с нами – за эту первую в жизни большую удачу.

Отцу очень нужны были наши успехи. Он очень верил в нас и ждал их. Меня назначили заместителем редактора областной газеты (что было для меня совершеннейшей неожиданностью) вскоре после его смерти. С тех пор много воды утекло, я теперь лучше многих других знаю все «прелести» редакторства, как и то, что за всё в жизни надо платить. Я не строю иллюзий относительно собственной исключительности, но всё же, как говорит один мой университетский друг, «мы не последние слоны в этом стаде», и мне порой поразительно хочется, чтобы отец узнал, кем я стал к своим сорока годам, что успел сделать. Я знаю – он бы сумел это оценить.

* * *

Говоря об отце, нельзя не коснуться его взаимоотношений с матерью, моей бабушкой, Марией Петровной. У меня есть небольшие отдельные заметки о бабушке, которая была женщиной яркой, самобытной, душевно богатой. Но, как говорят, с характером, что также наложило отпечаток на всю её жизнь.

Одно время, пока мы были маленькими, бабушка жила у нас – сначала отдельно в избушке-пластанке, потом в доме. Потом уходила к дочери, моей тётке, потом уезжала и снова возвращалась, опять жила у нас и снова уходила. Вышло так, что последние два года жизни бабушка провела в моей городской квартире, по иронии судьбы – под присмотром и уходом моей матери, с которой бабушка всё время почему-то не ладила. С матерью мы её и хоронили.

Одно время, живя у нас дома (ещё в совхозе), бабушка отдельно держала корову. Удивительно, но я её хорошо помню: большая, крутобокая, высокорогая, она была не чета нашей собственной, явно проигрывавшей бабушкиной и статью, и удоем. Я тайком таскал для бабушкиной коровы «наше» сено (мне почему-то было жаль её), я не мог спокойно смотреть в её большие печально-влажные глаза. В конце концов бабушкину корову пришлось продать – двух бурёнок наша семья «не потянула»...

Мои воспоминания об отношениях отца с бабушкой относятся в основном к последним восьми-десяти годам их жизни, тому времени, когда я сам кое-что начал понимать и анализировать. Думаю, стойкое неприятие бабушкой и матерью друг друга (хотя внешне приличия, разумеется, всегда соблюдались) доставило в жизни отцу немало беспокойства. Скорее всего, он сначала пытался примирить «враждующие» стороны, но, убедившись со временем в бесперспективности этой затеи, оставил её. Так и жили: то вместе, то врозь – как получится.

Отношения отца с бабушкой были совсем иные – грубовато-нежные. Она, безусловно, любила его, единственного уцелевшего из всех рождённых ею сыновей. «Ишь, какой фабрый!» – не раз говорила она мне, исподволь наблюдая за отцом, собирающимся на какое-нибудь торжество. «Фабрый» в её устах означало – статный, видный, хороший собою. И всё это было в отце, даже когда ему перевалило за шестьдесят. Он рано погрузнел, но и большой живот был ему к лицу, добавляя стати, а походка оставалась все такой же лёгкой, быстрой. У него был высокий лоб интеллигента, тёмные, слегка вьющиеся волосы, правильные черты лица. Думаю, определение «интересный мужчина» к нему вполне бы подошло.

Бабушка жалела отца, недостатки его характера списывала на войну и контузию. Что, впрочем, не мешало ей распекать его за пристрастие к спиртному. Она всегда звала его только Митя.

Отец относился к бабушке внешне грубовато. Бывало, приходя навеселе, «цепляясь»: «И зачем ты меня, мать, родила?» (мол, жизнь-то не удалась). Уже привыкшая к этой фразе, бабушка притворно сердилась: «Несёшь, сам не знаешь что, идол седой...». Так они могли лениво переругиваться довольно долго. Отец при этом поминал разную бабушкину родню, имеющую те или иные недостатки, иронизировал над бабушкиной жизнью в услужении у купцов Красноусовых. Она сначала с достоинством отвечала, и только убедившись в том, что разговор этот исключительно для куража, обиженно поджимала губы, замолкала, а то и вовсе уходила в другую комнату. Но если и сердилась на него, то недолго. Они не могли друг без друга.

Одно время отец жил вместе с бабушкой, в её избушке. Приезжая из университета на каникулы, я обязательно их навещал. Как-то летом решили попить чаю прямо на улице. Бабушка раздула огромный – в полведра – самовар, отец сбегал за поллитрой. Тут же соорудили нехитрую снедь: свежие огурцы с огорода, зелёный лук, солёное сало, яичницу. Отец принёс разнокалиберную посуду: пузатый стакан, стограммовую стопку и совсем крошечную рюмку.

– Конечно, себе, как всегда, стакан, а мне «мензюрку», – с мнимой обидой поддела отца бабушка (она до последних дней предпочитала бокалу вина рюмку водки).

– А говоришь – плохо видишь, – живо откликнулся отец, – не проведёшь тебя, чубаровская ряженка.

Весь этот домашний спектакль разыгрывается исключительно для меня.

...Вечереет. По улице бредут из стада коровы и овцы, наполняя округу мычанием и бляением. Пахнет пылью и дымком из самовара. Мне хорошо с отцом и бабушкой: они рады мне, а я – встрече с ними... И никто из нас троих, конечно, не догадывается, что я скоро останусь без отца, а бабушка схоронит своего тринадцатого ребёнка, последнего сына...

...Мне кажется, теперь я точно знаю, что больше всего роднило отца с бабушкой. Это было их отчаянное жизнелюбие.

* * *

Он не часто говорил со мной о войне, хотя, конечно же, она наложила отпечаток на всю его жизнь. Говорят, точно подсчитано: мужчин – его ровесников (1922-1925 годов рождения) в живых после войны осталось лишь около трёх процентов. Не знаю, думал ли он когда-нибудь о том, что ему выпало счастье жить не только за себя, но и за тех 97 из каждой сотни...

В детстве он никогда не заводил с нами разговор о войне. Может, считал – рано ещё, а может, сам хотел забыть... И лишь спустя много лет, в семидесятых, когда стали праздноваться военные юбилеи, создаваться ветеранские штабы, он начал списываться с однополчанами, ездить на встречи с ними. Радовался тому, что разыскал командира своего батальона Гальперина, жившего в Одессе, друга-разведчика Фёдора Шаповалова, с которым не раз ходил за линию фронта, со многими переписывался... Письма и открытки приходили и когда отца не стало – сестра всем отвечала...

Насколько я могу судить, отец хватил фронтового лиха полной мерой. Довольно долго он служил в батальонной разведке, приходилось ходить в тыл к немцам – за языками. Но сам он языков не брал. Их с напарником задача заключалась в том, чтобы проделать проходы в минных полях – своих и чужих. Особенно трудно приходилось зимой. Никаких рукавиц на минном поле сапёр не признаёт, работает только голыми руками. Когда руки, деревенея на морозе, становились нечувствительными, отца менял напарник. Пока тот работал, отец согревал ладони за пазухой, после чего они опять менялись местами.

Однажды отец спас генерала. Вышел вечером зимой из землянки по малой нужде и увидел его, непонятно как оказавшегося на минном поле. Мгновенно сориентировался: «Стоять, не двигаться!» – «Что такое? – обиделся генерал. – Как разговариваете?» – «Там мины!»». С полчаса пришлось тому простоять, не шелохнувшись, пока отец смог пробраться к нему. И обратно вёл за собой – след в след...

Отец рассказывал, как после неудавшегося рейда в немецкий тыл они несли с собой раненого разведчика – под жесточайшим миномётным обстрелом. Тому, раненному в пах и истекающему кровью, поочередно отрывало минными осколками одну, потом другую ногу, затем руку. Он непрерывно кричал, молил не мучать его – пристрелить... И судьба, будто смилостивившись над ним, послала-таки смерть – очередным близким разрывом ему снесло голову... А четверо разведчиков, которые тащили его (среди них был и отец), добрались до своих позиций без единой царапины...

Как-то я сам попросил его вспомнить о наиболее тяжёлом фронтовом эпизоде. И он рассказал, как их, нескольких совсем молодых парней (ему тогда исполнился 21 год), послали на нейтральную полосу собирать документы убитых наших солдат. На задание уходили глубокой ночью, сдав свои собственные документы... Одеревеневших на морозе трупов было не десятки – сотни. Ползали от одного к другому, расстёгивали нагрудные карманы, а если нельзя было расстегнуть – вспарывали ножом, доставали бумаги и, вернувшись, сдавали... А потом пили до утра – сколько хотели, вернее, сколько могли... Хотелось одного – забыть и забыться...

Может, оттуда и берет своё начало не лучшая из отцовских привычек, немало навредившая ему в жизни и сократившая в итоге срок её?

С фронта отец вернулся с орденами – солдатской Славы третьей степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» (на ней сталинский профиль и его фраза: «Наше дело правое, мы победили»). Отец дорожил своими фронтовыми регалиями, по праздникам обязательно надевал. В будни на выходном пиджаке носил орденские планки.

Старший брат Шурка, не лишённый поэтического дара, много лет назад написал стихи об отце, которые начинаются так: «А папке было девятнадцать, когда он уходил на фронт...». Есть там и другие хорошие строки, например, такая: «Он пол-Европы по-пластунски исползал вдоль и поперёк...». Но больше всего мне нравится концовка:

А в день, когда наступит праздник,

Наденет папка ордена.

В совхозном клубе речь он скажет

И вспомнит: «Да, была война...».

И стопку водки выпьет горькой,

Расправит плечи, как боец...

А сколько их в России, сколько –

Таких мужчин, как мой отец!

Отцу тоже нравились эти стихи. Он долго хранил затрёпанную шушенскую «районку», где они впервые появились, просил меня сделать копию и был очень доволен, когда Шурка вновь их напечатал в одной из сахалинских газет. Отец любил фронтовые праздники, всегда их отмечал. «Поддавал» с друзьями, мог и спеть, хотя голоса не имел: «Артиллеристы, Сталин дал приказ...». Кстати, о Сталине. К нему отец относился без особого пиетета. И, насколько я понял, не только после хрущёвского доклада на XXII съезде партии (коммунистов с этим документом знакомили на закрытых партсобраниях)... К счастью, никто из близкой отцовой родни не пострадал от сталинских репрессий, но он хорошо помнил, как из их деревни один за другим исчезали люди, в основном мужчины, и как бились в беспросветной нужде оставшиеся без кормильцев семьи... Впрочем, на эту тему он особенно не распространялся...

Безусловным фронтовым авторитетом для отца был Жуков. Когда я, став работать в районной газете, сумел достать и подарить ему на 23 февраля мемуары Жукова, он был растроган и читал их запоем.

Наверное, правильнее всего будет сказать, что о своём фронтовом прошлом отец вспоминал как о работе. Тяжкой, неприятной, но неизбежной работе. И больше всего на фронте он боялся попасть в плен.

Конечно, ему не нравилось то, что происходит вокруг памяти о войне, и в особенности непомерное раздувание весьма скромных фронтовых заслуг полковника Брежнева. Старший брат как-то сказал ему с укоризной: «Что ты, отец, всем недоволен – у нас же в мире не осталось достойных противников, кроме Америки. Думаешь, не осилим в случае чего?». На что отец неожиданно заметил: «Да они, сынок, нас и безо всякой войны без штанов оставят...». Как в воду глядел.

Тот же Шурка, когда мы с ним говорили об отце, вдруг выдал: «Знаешь, может, это кошунственно, но я иногда смотрю вокруг и думаю: хорошо, что отец до этих времен не дожил – как бы он весь этот абсурд переносил?».

Я не смог ему ничего ответить, не знал, что сказать. В самом деле: что может чувствовать человек, прошедший войну и чудом уцелевший, читая объявления, которыми сегодня пестрят газеты: «Куплю в коллекцию ордена и медали...». Как бы сейчас ощущал себя отец, получив продуктовый набор (бутылка водки, пачка чаю, килограмм дешёвой колбасы) к Дню Победы, – подарок, который фронтовики не без горькой иронии окрестили «набором победителя»?

Когда-то, ещё в союзные времена, многих моих знакомых потрясли результаты опроса в американских школах. На вопрос: «Что вы знаете о второй мировой войне?» – большинство школьников высказалось в том смысле, что то ли немцы напали на русских, то ли русские на немцев, а победители в этой войне, конечно, американцы...

А совсем недавно прочитал в газетах: польские парламентарии всерьёз дебатировали вопрос о том, чтобы Германию и СССР равно считать агрессорами по отношению к Польше... Той самой Польше, которую освобождал русский парень из Сибири... Мой будущий отец, которого поляки из хутора, где какое-то время стояла их часть, почитали за сына и за брата...

Приходится в очередной раз с грустью констатировать – сколь коротка и неблагодарна бывает человеческая память...

Отцовские фронтовые награды, орденская книжка, справка о том, что за успешное выполнение задания командования ефрейтор Поминов награждается велосипедом, некоторые другие документы тех лет хранятся у меня дома. Мои старшие сыновья относятся к дедовым орденам и медалям философски-прохладно. А младший Пашка, не знавший отца, частенько просит: «Посмотрим медали деда Мити?» – «Посмотрим», – всегда говорю я.

* * *

Недавно я сделал одно невероятно поразившее меня открытие: на совхозном кладбище у меня теперь куда больше знакомых, чем в самом совхозе. И у этого феномена есть два весьма простых объяснения. Во-первых, из совхоза я уехал давно, больше двадцати лет назад; за это время успело родиться и вырасти целое новое поколение целинников, кто-то уехал, кто-то умер; идя теперь знакомыми улицами, я мало кого узнаю. А во-вторых, я не очень давно начал ходить на наше совхозное кладбище и, став делать это, понял, что я почти всех тут знаю и почти всех помню. Теперь я понимаю, почему люди постарше могут ходить на сельские кладбища как к себе домой – в этом общегитити мертвых (может быть, это и неудачное определение, но другого не нашлось) им всё знакомо и близко. И я сам теперь, будто выполняя запоздалый долг, прихожу к могилам тех, кого знал когда-то и с кем не смог вовремя проститься.

Кто они, эти люди?

Вот дядя Вася Шарубин. Наш сосед – балагур и весельчак. Как-то он, прицепив к своему колёсному трактору тележку, насадил в неё баб и ребятишек (человек двадцать – не меньше!) и повёз километров за сорок на солёное озеро – за самородной солью. Озеро было натурально-розовое, и очень крупные кристаллы соли (мне таких никогда больше видеть не приходилось) тоже были слегка розоватыми. Мы с Шуркой ходили по колено в воде и, разрушая пружинящую под ногами корку, собирали соль в ведро. Потом, когда соль на ногах и руках стала подсыхать и стягивать кожу, было больно, но домой мы вернулись победителями, неся с собой два полных ведра... А дядя Вася вскоре умер – от элементарной язвы желудка. И мать ходила к Шарубиным, чтобы сообщить им эту страшную вещь. У тёти Веры, лучшей материнной подруги, осталось шестеро детей: старшая, Анька, только заканчивала школу, а младшую, Иринку, ещё не отнимали от груди... Всех их тётя Вера поднимала одна...

Вот Леха Клименко – мой закадычный школьный друг. Он появился у нас в классе четвёртом (их семья переехала из Донбасса), и мы как-то очень быстро сошлись. Лёха был умён, смел, дерзок – мы соперничали и в учёбе, и в спорте. В первом он мне редко уступал, а во втором был явно сильнее – и на волейбольной площадке, и на футбольном поле, и за теннисным столом. Лёху сгубила водка. Пили его родители, зачастую вместе. Класса с восьмого и его с собой сажали. Из вещей в доме почти ничего не было, а на выпивку отцовской шахтёрской пенсии вполне хватало. Лёхе не помогли ни женитьба, ни рождение дочери, ни многочисленные уговоры друзей. Кажется, он даже не успел дожить до тридцати...

Вот Толик Пастухов. Пастуховы жили на нашей улице, и Толик у них был старшим. Он бывал у нас, а я у них. Вместе играли в футбол, теннис. Теннис у нас стал настоящим поветрием, и ему был подвержен не меньше нашего отчим Толика – дядя Вася; уже взрослый мужик, он мог по полдня гонять вместе с нами за столом целлулоидный шарик. И ещё мы обменивались книгами. Толик вслед за моим братом Шуркой и его одноклассниками (все они, выросшие на излёте хрущёвской волны, были отчаянными романтиками) строил город-памятник в Шушенском, на месте знаменитой ссылки Ленина. Потом Толик окончил военное училище и уже офицером приезжал в совхоз. Аккуратный, подтянутый, розовощёкий, в новом обмундировании, он казался сошедшим с рекламного плаката... А

однажды двое сопровождающих привезли в дом к Пастуховым запаянный цинковый гроб. Дослужившись до капитана, Толик погиб в мирное время. Как это случилось, никто не знает. Матери тоже не сказали и гроб, чтобы она могла проститься с сыном, открыть не разрешили.

Здесь лежат двое моих крошечных племянников, которые умерли так рано, что не успели получить имён. И поэтому на их памятнике с двумя маленькими крестами лишь их фамилия – Лихановы...

Здесь похоронен отец.

Только теперь, к сорока годам, я могу приходить сюда без робости и душевного дискомфорта, скорее, наоборот – я даже ощущаю теперь потребность в этом... Но так было не всегда, и об этом, наверное, тоже надо рассказать.

Я рос очень чувствительным ребёнком. Это вышло, вероятно, из-за одного существенного внешнего изъяна, которым я обладаю, – родимого пятна, обезобразившего половину моего лица. Во всяком случае, известный комплекс неполноценности из-за этого у меня развился. В юности, например, я всерьёз полагал, что меня не может полюбить ни одна стоящая девчонка... Глупость, конечно, но что было – то было... Я теперь часто вспоминаю бабушкину поговорку, которую она иногда произносила, отвечая на чьи бы то ни было жалостливые замечания по поводу моей внешности: с лица воду не пить, а счастья не купить. Как всё же она оказалась права!

Как бы там ни было, моя «несчастье» и, как следствие её, особая чувствительность, немало навредившая потом в жизни мне самому, была в детстве причиной особого ко мне родительского отношения. Мать в большей, а отец в меньшей степени старались оберегать меня от тяжёлых сторон жизни, к которым относилась и смерть. Я даже с дядей Васей Шарубиным не ходил прощаться, а родители не настаивали. Без меня хоронили бабушку Акулину и деда Тимофея... Я долго ни на какие похороны старался не ходить, и мне это как-то удавалось.

Но моя память цепко сохранила первую смерть, с которой я столкнулся в детстве. Это была смерть молодого целинника. Комсомольца. Не помню, что с ним произошло, но, кажется, это была трагическая гибель, потому что хоронили его со всеми возможными для целинного совхоза почестями. Кто-то додумался послать в почётный караул и нас, нескольких младших школьников, кто получше учился. Помню красный уголок в одном из совхозных общежитий (теперь его уже нет – снесли), гроб, обитый кумачом, возле которого поочерёдно, сменяя друг друга, стояли парни и девчата. Лица погибшего не помню, но осталось ощущение сильнейшего потрясения, замешанного на детском страхе, непонимании происходящего – всех этих скорбных людей, гнетущего молчания, непривычных и неприятных запахов...

Вероятно, отчасти и этот случай тоже послужил причиной моего стойкого нежелания бывать на похоронах. И только после того, как умер отец, я стал относиться к смерти как к тяжёлой, но неизбежной стороне жизни...

Чувствую, пришла пора и этих, самых печальных страниц моего повествования... А я всё оттягиваю и оттягиваю тягостный момент.

В тот день мы, несколько парней, после обеда ушли с работы – пить пиво. В малосемейке у ещё холостякующего в ту пору Мишки Чиркова нашлась вместительная канистра, с пивом на разлив тогда никаких проблем не было, к тому же и стоило оно копейки... Прикупили и вина, но я вино не пил. Не скажу, что меня одолевали какие-то предчувствия, на душе было как-то... никак. Играл магнитофон, почему-то чаще всего одну и ту же песню. Там есть такие строки:

А снится нам трава – трава у дома,

Зелёная-зелёная трава!

Я эту песню с тех пор терпеть не могу.

Уходил я один, раньше всех. Жене прихватил хвост копчёного леща, чтоб не обижалась за «пиво без повода»... Она открыла дверь, и лицо её сразу как-то искривилось.

– Ты что? Я тут тебе рыбки... – начал было я, но понял: тут что-то не так.

– Твой отец... – невнятно сказала она. – Николай Лиханов недавно звонил...

Ощущение было такое, будто тебя ни с того ни с сего изо всей силы ударили в лоб. Отцу вот-вот должно было исполниться 62 года, он никогда не болел и вообще был здоровее всех нас, троих его сыновей, вместе взятых. И вдруг – смерть... Да с какой стати?!

Уже не помню, что я делал в тот вечер (кажется, почему-то стал мыть посуду на кухне), как дождался младшего брата Петра, который на следующий день прилетел из Усть-Каменогорска. К вечеру того же дня мы – всей семьёй и он – были у матери. Отца не застали – его увезли в соседний райцентр Качиры на вскрытие. Мать, увидев нас, заголосила. Испугавшись такой встречи, заплакали мои дети... Поздно вечером приехал мой старший брат из Шушенского, сумевший перелететь за день из Абакана в Новосибирск, затем на другом самолёте – в Омск, а уже оттуда до ближайшего к нам разъезда «Осенний» добрался на поезде.

Судмедэкспертиза указала причиной смерти острую сердечную недостаточность. Может, окажись в ту минуту рядом толковый человек – и откачали бы отца...

Думаю теперь, смерть отца была случайной и закономерной одновременно. Последние годы жизни он провёл в разладе с самим собой, в жестоком внутреннем дискомфорте. Главной причиной тут было, конечно, то, что они расстались с матерью. И в чём он главным образом сам был повинен.

Тяжело человеку одному, а на склоне лет – тем более. Оттого он и метался, оттого и попить стал чаще, чем прежде. Мне иногда говорил с не свойственной ему тоской: «Моя жизнь прошла мимо». А в ответ на все мои

успокаивания чаще всего ронял одну и ту же несуразную фразу: «А, все это пустые хлопоты – при казённом доме и случайном интересе...». Строил планы уехать куда-нибудь под Павлодар, купить домишко, подрабатывать. Чтобы жить самому, но ко мне поближе. Обузой никому быть не хотел.

Не верю, что он предчувствовал свою смерть. Хотя ей он как будто хотел сказать всем нам: ну, вот я вас всех и освободил.

Вспоминаются две последние встречи с ним. Незадолго перед Новым годом он заехал к нам в Павлодар, возвращаясь от брата Шурки, из Шушенского. И показалось мне – какой-то не такой, как всегда – не было в нем на этот раз той приподнятости, что ли, которая отличала его во всякий приезд к нам, наоборот, был малоразговорчив, задумчив. Рано легли спать. Я потом встал, пошёл к нему: «Ты что такой придавленный, пап?» – «Да нет, ничего...». У брата были нелады с женой, и, видимо, на отца это в последний раз сильно подействовало.

Второй раз мы были у отца вместе с братом Петькой перед самым Новым годом. Пришли вечером. У него было прохладно – ездил в райцентр, недавно вернулся и только растопил печку. Отец кричал, передёргивал плечами в наброшенном на них полушубке: ездили на крытой брезентом машине – перемёрз. Хорошо было бы выпить тогда. Но у него с собой не оказалось, а мы принесли лишь кислое перемороженное пиво. Весь вечер шёл какой-то дурацкий, бестолковый разговор. Отцу это было неприятно, но и выставить нас за дверь он не мог: что-то отвечал – чаще всего невпопад... Словом, «поговорили»: до сих пор жалко того вечера – по существу, последней встречи с отцом...

И всё...

Ездили за отцом в морг его друг дядя Саша Агеев с Шуркой. Мы ждали дома, и бабушка была с нами. Ей о смерти отца сообщили моя мать с сестрой Натальей. Они пришли к ней сразу после того, как это случилось, вдвоём.

– Какие гости? – удивилась бабушка, ещё ни о чем не догадываясь.

– Мы к тебе с недоброй вестью, – сразу сказала мать.

– Митя помер? – с какой-то неестественной живостью спросила бабушка и, не дожидаясь ответа, закричала...

Отца привезли уже после обеда. В дом решили не заносить – не оставалось времени, надо было ехать на кладбище. Гроб поставили на двух табуретках на улице. Я побежал в дом за бабушкой и подвёл её к отцу, держа под руку. Мать в эти минуты голосила... Тут я и сам впервые увидел уже неживого отца. Он лежал строгий, насупленный, как будто чем-то обиженный, поджав губы. На подбородке и щеках проступала успевшая за двое суток отрасти седая щетина. И только лоб, как всегда, был высок и чист. Мать перед этим сказала и целовала отца. Я не знал, как это сделать, но всё вышло очень просто – само собой. Отцовский лоб оказался гладок и мраморно холоден. Было вообще очень холодно, обжигающий ветер выдавливал слезу даже у тех, кто не плакал... Бабушку посадили у гроба. Она ложилась головой на отцовы руки, брала в свои, целовала – как будто пытаюсь согреть...

Сама она была почему-то в фуфайке.

Остальное помню как-то плохо. Гроб с телом отца погрузили на ЗИЛ с открытыми бортами. Мать, Наталья, моя жена Ольга и ещё кто-то сели рядом с ним. Мы, все остальные, шли за машиной пешком. Кажется, я ни о чем не думал, повторял про себя: «Эх, отец, отец...». И мучался от того, что никак не могу заплакать...

Уже потом я узнал, что могилу для отца копали шестеро взрослых мужиков – весь день, с утра до вечера. Особенно трудно давались первые полметра – их «проходили» с металлическим клином и кувалдой... Поминали отца в совхозной столовой, людей пришло очень много... Когда я выходил из столовой, курившие на улице мужики сказали: умер Андропов – только что сообщили по радио.

Ещё помню, что Шурка всё время молчал. Я не видел, плакал он или нет. После похорон мы с братьями дома «добавили», и не раз. Долго не ложились, и когда под утро разошлись, а он остался на кухне покурить, я услышал сдавленное: «Папка умер...» – и его рыдание...

Шурка рассказывал мне потом, что последнее письмо от отца он получил уже после его смерти, вернувшись с похорон. В нём отец давал понять, что недоволен тем, как живёт старший сын, просил подумать над этим, как-то собраться... Шурка, у которого были с отцом особые отношения, говорил, что долго не мог примириться с его смертью. И даже новое стихотворение начал, но написал только одно четверостишие:

Он упал, как на фронте,

Сражённый инфарктом.

Неожиданность смерти –

Страшнее, чем смерть.

Теперь, собираясь с братьями раз в год (и то не всегда), мы, если есть хоть какая-то возможность, ездим к отцу на кладбище. И сам я заворачиваю: когда положу букет подснежников, когда несколько осиновых веток с багряными листьями.

Мне и теперь не хватает отца. И ещё (пусть это, может, и нескромно) мне жаль, что он не успел по-настоящему нами погордиться. Я знаю, что он очень ждал времени, когда нами можно будет гордиться.

* * *

Перечитал написанное. Не всё понравилось. Но как написалось – так написалось...

И всё же закончить свои записки об отце я решил иначе. Не один год подбираясь к ним, вспоминая об отце сам и что-то по ходу записывая, я вдруг открыл для себя, что нахожу его внешние черты (осанку, манеры, какую-то неуловимую похожесть в жестах, деталях лица) в очень многих людях – актёрах Матвееве и Ульянове, режиссёре Эльдаре Рязанове, телекомментаторе Николае Озерове, моём давнем сослуживце журналисте Воронове... Сходство подчас кажется мне столь значительным, что я иногда невольно вздрагиваю... Я замечаю черты отца в братьях и сестре, а они их – во мне.

Я попросил поделиться воспоминаниями об отце обоих моих братьев. Краткими извлечениями из того, что они рассказали, и заканчиваю.

Младший – Петька:

– В детстве я всегда считал нашу семью особой, исключительной. И первопричиной тут, конечно, был отец, хотя мои отношения с ним до самой его смерти оставались сложными...

– Когда мне пришла пора вступать в пионеры, он подарил мне свой галстук (его самого много раз принимали в почётные пионеры). Я этим галстуком страшно гордился, мне казалось – он самый красный из всех, что есть в школе.

– Раз я нечаянно уронил ему на ногу противовес – металлический «блин» весом в 25 килограммов. Он только глянул молча – уничтожил.

– Он был сложный человек. Мне теперь иногда кажется, что с ним ушла какая-то очень важная тайна.

Старший – Шурка:

– Одно из первых впечатлений: вода, много воды, отец плавает, а я у него на шее. Мне не страшно, а весело.

– Ездили в поле резать пласт, возвращаемся обратно. Помню удивительное ощущение от этой мягкой езды на телеге и от того, что отец рядом – как-то очень хорошо, спокойно...

– Горы зерна на току – море зерна. Много машин, механизмов, людей – всё движется, пылит, грохочет... И он над всем – главный. Отдаю ему сумку с едой – он по несколько дней в уборку дома не бывал.

– Я заболел в пионерском лагере, далеко от дома. Лежал в больнице, в общей с женщинами палате. Вдруг слышу разговор: «Вы посмотрите, какой роскошный мужик идёт – какая походка, какие кудри!». И все – к окну. Я тоже взглянул и ревниво отсёк всех: «Это мой папка!».

– В чем-то я до сих пор завидую ему. И характером, и природным умом он был сильнее и умнее меня... Он был истинно русский человек.

Блажен, кто посетил сей мир...

(Необходимое послесловие)

Эти заметки об отце, написанные несколько лет назад, я не собирался публиковать и даже предпослал им подзаголовок – «Для семейного чтения». Но так уж получилось – они увидели свет в журнале «Нива», хотя и в несколько усечённом виде. Редактор журнала поэт Владимир Гундарев сказал мне, что это не моё личное дело, за судьбой моего отца ему видится судьба целого поколения...

Теперь бы я добавил к этому – трагическая судьба...

И не только отцовского поколения...

В последнее время много говорится о грядущем двадцать первом веке, принято подводить некие глобальные итоги, оперируя масштабами всего уходящего века. Вот и мне пришла в голову мысль проследить – хотя бы пунктирно – историю жизни четырёх поколений своей фамилии, включая и себя самого. Тем более что с историей этой я знаком весьма прилично, и она как раз укладывается во временные рамки двадцатого века.

Вот они, эти судьбы.

Моя бабушка Мария Петровна, «захватившая» ещё несколько лет прошлого девятнадцатого века, умерла в разгар горбачевской перестройки, всего два с небольшим года не дотянув до своего векового юбилея. На её долю выпало время царствования Николая Второго, первая мировая война, Великая Октябрьская революция, гражданская война, коллективизация и индустриализация, ежовщина и бериевщина, Великая Отечественная война, период развёрнутого строительства коммунизма, застой, начало революционной перестройки...

Как она, к тому же пережившая мужа и тринадцать из четырнадцати своих детей, не сошла от всего этого с ума – непостижимо... Бабушка получала пенсию: сначала около четырнадцати рублей (новыми!), потом несколько лет – 18, а уже перед самой смертью – 32 рубля. Она никогда не жаловалась, что этих денег ей не хватает, и умудрилась ещё скопить 400 рублей на похороны.

– Пропащая моя жизнь, – говорила в трудные минуты моя бабушка, – и когда ж я издохну?

Как о лучшем времени, которое ей выпало на её без двух лет веку, бабушка вспоминала о тех месяцах, когда она девчонкой жила в услужении у купцов Красноусовых. Ничто другое в её памяти так ярко не отложилось; 400 рублей – это было всё, что она за жизнь накопила, – не считая двух десятков старых фотографий...

По выпавшему на долю бабушки числу трагических событий и дарованному ей при этом долголетию бабушкина судьба уникальна, но в общем и целом она вполне вписывается в жестокую и беспощадную фабулу уходящего двадцатого века.

Отец. Казалось бы, счастливчик, уцелел на самой кровавой из войн, в которой сложили головы каждые 97 из каждых 100 его одногодков... В 23 года – герой-победитель, и ещё вся жизнь впереди...

Но война, пощадив тело, оставила незаживающие раны в душе, перепыхала психику... Его надеждам также не суждено было осуществиться. И, может быть, смерть его была избавлением от ещё более страшных мук – душевных. Ведь, к счастью, он не стал свидетелем того, что случилось потом, – бездарного (и циничного!) развала Союза, нищенского ветеранского существования, «прихватизации», разора вполне жизнеспособных хозяйств... Да мало ли чего ещё?

Центральная усадьба целинного совхоза-красавца, который он с друзьями-целинниками создавал с первого колышка, сегодня являет собой жалкое зрелище. Нашу бывшую улицу, где отец с матерью выстроили свой дом – наш дом! – я, приехав в совхоз на традиционный вечер встречи выпускников школы, просто не узнал. Там, где когда-то были усадьбы Шарубиных, Годуновых, Баклажановых, Поминовых, Хомутовых, Черняковых, Шаробоковых и ещё с десятков других (добротные дома, сараи, огороды), – теперь либо развалины, либо зияющие пустыми окнами брошенные жилища.

– Не живу, а доживаю, – жаловалась мне обительница одного из немногих уцелевших домов, – рядом никого – даже поругаться не с кем...

...Была зима, и снежное одеяло милосердно прикрывало следы позорного разора. Но все равно было жутковато смотреть на брошенные подворья, старые деревья, искорёженные жизнью и тянущиеся к небу отмершие и ещё живые сучья. Казалось, деревья молят небеса о чём-то своём.

Этому совхозу отец с матерью отдали по тридцать лет жизни. Лучших лет!

И каково той же матери на склоне лет видеть всё это?

Почти вся её жизнь – это сплошные лишения: голод, унижительная нищета в детстве и юности, потом дети, опять нужда и работа, работа, работа – на пределе человеческих сил... И вот вроде всё: детей выучили, переженили, можно и отдохнуть... Пенсию матери положили 100 рублей. Она гордилась:

– И на жизнь хватит, и на смерть накоплю!

Теперь материной пенсии не хватает на оплату квартиры, в которой мы живём... Нищенская – другой её не назовёшь.

Свою жизнь мать всё оставляла «на потом» («Вот подрастут дети... Вот выучатся... Вот заведут семьи...»). Подросли, выучились, завели... А жизни у матери как не было, так и нет. Обиравшее мать 30 лет государство под конец жизни её ещё и ограбило, раздели догола – отняв, превратив в ничто три тысячи её кровных «гробовых» рублей...

А тут ещё болезнь... Нелады у детей и внуков... Нет покоя материнской душе...

И что, разве её судьба исключительна, особенна для нашего века?

Мне самому вроде грех жаловаться на судьбу – до сих пор моя жизнь складывалась более-менее благополучно. Пробивался в ней сам. Повезло, что встретил близкого по духу человека. Растим с женой троих сыновей. На работе мы с ней тоже не последние люди. Правда, не разбогатели, но и в малоимущих не числимся... И всё же, всё же...

Раньше, когда жена упрекала меня в том, что я мало занимаюсь детьми, я выдвигал в ответ железный, как мне казалось, козырь:

– Они сыты, обуты, одеты. Они видят, как я живу... Как я работаю... Так что я их воспитываю личным примером: учись как надо, работай на совесть, будь справедливым, не подличай – и всё к тебе придёт...

Я не хитрил – верил в то, что говорил...

Время напрочь опрокинуло мои былые педагогические построения. Все мои «железные» аргументы не стоят ни гроша, когда сыновья каждый день видят двор нашего дома, запруженный разномастными иномарками. Мои дети не хуже меня знают, что большинство их владельцев ничем особенным себя в жизни не проявили – порох не изобрели, книг (как их собственные родители) не написали, дома не строили. Они даже тапочек не шили, не говоря уж о том, чтобы растить хлеб, варить металл, добывать уголь. Деяния их никому не ведомы, но тем не менее они чувствуют себя хозяевами жизни, а отец с матерью – нет...

Что мне теперь говорить моим детям? К чему их звать? По правде сказать – не знаю...

Я знаю, что в той, прежней, жизни мне далеко не всё нравилось. Но беда в том, что в этой, новой, мне тоже очень многое не по душе.

Считать или не считать два предыдущих поколения моей фамилии потерянными – вопрос, как мне кажется, риторический. А куда отнести наше, моё поколение? Мы ведь уже не «те», но ещё и не «эти»... Чьи мы, бывшие советские граждане, враз оказавшиеся за пределами исторической Родины? Ей мы, похоже, не очень нужны... Сможем ли стать своими на вновь обретенной?

Поневолу начнёшь задумываться: ладно, что там мы, мы уж как-нибудь, как получится – лишь бы детям не было хуже, лишь бы они определились в жизни... Но думая так, не подписываем ли мы приговор уже нашему поколению? Ведь, может быть, главной ошибкой наших дедов и отцов было как раз то, что они как бы заведомо соглашались

принести жизнь своего поколения в жертву грядущим? И что из этого вышло? Откладывая свою собственную жизнь на завтра, не обрекаем ли мы на то же самое своих детей? Не сеем ли цепную реакцию?

Вот куда меня «занесло» в моих рассуждениях... Может, я не прав, может быть, и вправду «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...». Кто знает... Просто, размышляя о судьбах бабушки, отца с матерью, я пришёл к очень простому, в сущности, выводу: я бы очень не хотел, чтобы моё поколение, тем более поколение моих детей, когда-нибудь причислили к потерянным...

Я думал об этом и в последнюю годовщину смерти отца... Это было в Токио, на 31 этаже фешенебельной гостиницы, в ресторане, куда нас привели на ужин. У подножия отеля лежал залитый огнями город, вокруг меня сидели чужие люди... Мне было грустно. В голову лезла всякая ерунда... Например, что бы подумал отец, когда бы узнал, что я его поминаю в ресторане токийского отеля, где пятидесятиграммовая рюмка водки стоит десять долларов...

Пока мы рассаживались в ресторане, японка-гид несколько раз напоминала:

– Завтра с утра мы едем в буддийский храм, где вы сможете молиться нашему японскому богу...

Я опять вспомнил отца – японский бог, или ещё японский городской, – это было одно из часто употребляемых им выражений... Правда, по весьма специфическим поводам...

Я думал о том, что впервые за многие годы оказался в день смерти отца так далеко от дома, и мне на этот раз не с кем его помянуть...

Я это сделал позднее, в гостиничном номере, один. Выпил по русскому обычаю водки – нашенской, предусмотрительно захваченной с собой из дома. И на душе стало легче, спокойнее... Я подумал о том, что иногда надо довериться самой жизни. В конце концов, она всегда оказывается умнее нас и сама всё расставляет по своим местам...

По ягоды

После обеда, запыхавшись, прибегает соседский Колька.

– Сидите тут, а Хомутовы полведра ягод припёрли! – сообщает он прямо с порога, едва переведя дыхание.

– Бреши больше! – мы с братом не верим, боимся подвоха. – Залепухи, поди?

– Брешет попова собака, – обижается Колька, – токо щас сам видал... Красные... Меня Нюрка послала, сказала, чтоб пришли...

Раз Нюрка – это уже серьёзно. Она старше нас всех, и во всём, что касается лесного промысла, её авторитет непререкаем. На этот раз Нюрка решила посоветоваться с моим старшим братом Шуркой насчёт маршрута завтрашних поисков. Они долго совещаются и наконец выносят решение – пойдём за кукурузу: досужие Хомутовы как будто промышляли именно там.

Сбор назначен на восемь утра, на лавочке у дома соседней. Мы с братом приходим чуть раньше срока, томимся в ожидании: и чего, спрашивается, рассиживаются... Но вот появляется Колька, за ним его старший брат – ленивый, медлительный Витька, а затем и сама Нюрка.

Своей улицей, потом проулком, мимо школьного барака, магазина, водонапорной башни выбираемся за совхоз, к краю большого кукурузного поля. Кукуруза стоит в наш рост, а кое-где и выше; и хоть ноги чуть вязнут в прохладной с утра земле, идти по полю интересней, чем по пыльной дороге.

От дальнего края поля до ближайших околков рукой подать. Не сговариваясь, берём курс на большую берёзу с неправдоподобно плоской вершиной. Берёза видна издали и будет хорошим ориентиром на тот случай, если мы слишком далеко разбредёмся по сторонам.

Впереди вытянулись полукругами два длинных околка; узкое, метров в двадцать, пространство между ними заросло разнотравьем – заячьей капустой, диким горохом, морковником и, что самое важное, – белоголовником. Зелёные, рыжие и белые шляпки, гордо покачиваясь на упругих стеблях, призывно кивают нам. Заросли белоголовника – одна из вернейших примет ягодного места.

Шурка с Нюркой выдвигаются чуть вперёд и, высоко поднимая ноги, осторожно ступают на поляну. Мы держимся на почтительном отдалении, нервничаем: есть или нет, а то как не повезёт, проблуждаешь весь день и придёшь – дно в посуде не закрыто...

– Есть маленько! – подав сигнал и нам приступить к делу, Шурка осторожничает в оценке поляны. Боясь спугнуть удачу, бурчит под нос:

– Мало ли что! Сначала, может, есть, а потом не будет...

В бидонах у нас вода, взятая про запас. Теперь – хочешь не хочешь – с ней приходится расставаться. Пьём, кому сколько влезет, остатки выплёскиваем на траву... Мгновение спустя уже слышен отовсюду лёгкий треск срываемых ягод и их drobный перестук о дно бидонов.

Двоим в одну посудину рвать несподручно: Шурка, как старший, берёт себе бидон, а я – кружку.

– Семь кружек, – такую он определил мне норму, – как нарвёшь – так домой пойдём.

Я знаю, что норма завышена: Шурка явно хитрит, заранее настраивая меня на большее число. Но в этой хитрости есть свой резон: магическая семёрка всё время будет в памяти, не даст раньше времени расслабиться...

Ну что ж, семь так семь!

Опускаюсь рядом с ним на корточки, раздвигаю руками траву и сразу замечаю несколько свесившихся вниз под тяжестью ягод кисточек – у нас их называют куртинками. Подвожу к ягодам снизу правую руку с разомкнутыми пальцами, ловлю ими упругие нити и легонько тяну руку вверх; нити скользят между пальцами, и вот уже вся гроздь в ладони. Ещё одно лёгкое движение – и ягоды с сочными щелчками отрываются. Можно рвать по-другому – щепотью сверху, выбирая одни только крупные зрелые плоды, но это не выгодно – очень долго. В хозяйстве же любая ягода согдится: и красная, и с прозеленью, и совсем зелёная.

Попали на хорошее место; присядешь пониже, пригнёшь голову – и глаза разбегаются: кисти прямо, справа и слева, с боков, сзади... Тело охватывает лёгкая нервная дрожь. Устраиваешь кружку на земле, чтоб не упала, и орудуешь обеими руками. Велико искушение в первые минуты отправить в рот самые сочные, самые спелые ягоды, но чувство долга берет верх: если бы есть пришли – другое дело, а тут бидон целых четыре литра...

Первая кружка полна, добавляю ещё горсть отборных, нагретых солнцем ягод, чтоб была она с верхом и Шурка не попрекал потом. Он тоже не терял времени даром – дно бидона уже закрыто. Шурка, держа ладони лодочкой, осторожно сыпает внутрь содержимое моей кружки и напоминает, возвращая её:

– Осталось шесть. Да почище рви, а то глянть – залепух полно и травы вон сколько.

Тут он случайно замечает вырвавшегося вперёд Кольку и истошно вопит:

– Нюрк, он же подавит там всё!

– Во паразит! – негодует Нюрка. – И когда успел – только что рядом был... А ну – назад! Щас же!

Колька водворён на общий рубеж, над поляной вновь воцарилась тишина, все углубились в работу. Нюрка рвёт проворнее всех, легко передвигаясь и почти не оставляя за собой ягод. Шурка, побряхывая, старательно обшаривает всё вокруг себя, сидя на корточках. Позади всех сосредоточенно сопит Витька; он уже давно ползает на коленях, после него остаётся в высокой траве широкий зигзагообразный след. Нам с Колькой всё время охота вырваться вперёд, но старшие следят за порядком и чуть что – возвращают назад...

После третьей кружки бидон наполовину полон, но уже болят изрезанные острой травой руки, зудят искусанные комарами лопатки, ноет поясница, и едкий пот заливает горячее лицо. Солнце поднялось высоко над лесом и жжёт немилосердно.

Хочется пить, однако воды здесь нет, и лучше о ней не думать. Время как будто остановилось: небольшая моя посудина никак не наполняется. По всему видно – и другие не прочь отдохнуть, но гордость никому не позволяет заговорить об отдыхе первым.

Кое-как набираю четвертую кружку и, с трудом разгибая поясницу, несу её на вытянутой руке, словно боясь расплескать.

– Долго рвал, – сурово замечает Шурка. Потом критически осматривает мою несчастную полусогнутую фигуру и милостиво разрешает:

– Ладно, передохнём малость.

Устраиваемся в тени раскидистой берёзы, первым делом ревниво сравниваем – у кого больше. Нарвали почти поровну.

– У, черти дохлые, – сердится на своих Нюрка, – на обед не заработали. Спите на ходу, сачки несчастные.

– Да хватит! – лениво отбрёхивается Витька. – Сколь нарвали – столь нарвали...

Жарко. Даже ругаться лень. В душном, звенящем от комаров воздухе плавают терпкие ароматы цветов и трав. Недовольно гудит одуревший от жары золотистый шмель, тяжело перелетая от цветка к цветку. В этом знойном покое вязнут и растворяются звуки. Лёгкий ветер не приносит прохлады, а накатывает всякий раз упругой горячей волной. Время от времени лениво перебрасываемся словами, но разговор не клеится.

– А ведь уснул, падла! – неожиданно звонко говорит Нюрка. – Слышите?

Подозрительно затихший Витька и в самом деле тонко посвистывает носом.

Надо вставать, пока и нас совсем не разморило. Витьку бесцеремонно растолкали, работа продолжается.

Первые движения замедленны, но мало-помалу руки приобретают прежнюю сноровку. Придаёт силы и гордое ощущение уверенности в том, что домой отправимся не пустыми, что дело движется к концу, надо только дорвать посудину. После моей пятой кружки в нашем бидоне свободной остаётся лишь узкая часть – горлышко. Это – несколько горстей земляники. Стараемся выбирать самые красивые и аппетитные ягоды; они будут лежать наверху, создавая впечатление, что и дальше точно такие же. Обстоятельство это отнюдь не маловажно: показать товар лицом после удачного похода теперь уж просто дело чести.

Обратный путь занимает чуть больше времени – всё-таки сказывается усталость. Но идём бодро: у старших покачиваются в такт шагам полные бидоны ягод. Старшие ведут меж собой разговор, степенный и неторопливый: сходили-де, мол, удачно, а это хорошая примета – если в первый раз повезло, должно везти и потом; денёк-другой отдохнуть надо и снова идти – чем плохо, когда зимой варенье к чаю... Они говорят о том, что год нынче хороший – дождливый, за ягодой и гриб проклянется – тоже не прозевать надо...

– Здоров, добытчики! – раздаётся за нашими спинами зычный голос. Нас нагнал совхозный мужик Степан Кукарекин. Степан едет верхом на низкорослой пузатой лошадёнке, а его длинные ноги едва-едва не достают до земли.

– Ишь ты, насшибали! – уважительно говорит он. – Надо будет своих послать. Где брали-то?

– А – там... – опережает других Колька, показывая чуть ли не в противоположную сторону.

– Зачем врал? – строго спрашивает брата Нюрка, когда Степан отъезжает. – Твой собственный лес, что ли? Купил, да?

– А чего он? – огрызается Колька. – Насшибали... Такого и слова-то нет... Сами пусть ищут...

Мы предпочитаем не вмешиваться. Вообще-то врать нехорошо – это ясно. И жадничать нехорошо... Но душой мы все же на Колькиной стороне: раз мы нашли, значит, и место наше, а они себе пусть найдут...

Совхоз уже совсем рядом. Шурка останавливается, по-хозяйски оглядывает бидон и остаётся осмотром недоволен.

– Утряслось малость, – озабоченно говорит он. Ягоды за дорогу действительно чуть уплотнились, и теперь до самого верха посуды их не хватает. Это не страшно: нам знакома маленькая хитрость, которая поможет восполнить недостачу. Шурка надувает живот и опрокидывает на него бидон вверх дном, причём так ловко, что ни одна ягода не падает. Он повторяет эту процедуру другой раз, третий... И свершается чудо – ягод в бидоне снова вровень с краями.

Теперь впереди самое приятное. И я отчётливо представляю, как встретит нас мать, обязательно похвалит и радостно захлопочет у стола. Мы, обжигаясь, будем есть жареную картошку прямо со сковороды и запивать её холодным молоком. Говорят, это вредно – есть горячую картошку с холодным молоком, но это и чертовски вкусно.

Мы ещё не успеем встать из-за стола, а по всему дому уже поплывёт густой аромат полевой земляники – царицы всех ягод – аромат, впитавший в себя запах ветра, настоянного на травах, свежесть летнего дождя и тепло солнца... Этот ни с чем не сравнимый ягодный дух будет витать в доме, когда мы сядем всей семьёй перебирать землянику – обрывать с каждой ягоды зелёные травяные шляпки; и потом, когда мать насыпет очищенных ягод в большую чашку и зальёт их молоком, а мы будем есть это удивительное блюдо с хлебом... На варенье в этот раз почти ничего не останется, но мать всё равно выкроит чуть-чуть – на пробу. А самую мелочь, уже, казалось бы, ни на что не годную, мать поставит на чердак – сушить. Несколько дней спустя она отсеет мусор, а высушенные ягоды бережно ссыпет в мешочек – они пойдут зимой на кисель.

...И будет вечер того хорошего дня. Сомкнёшь веки, а перед глазами, как наяву, – крупная гроздь спелых ягод; ягоды покачиваются дразняще аппетитными розовыми боками, и пальцы произвольно шевелятся, пытаясь сорвать их...

Пора сенокосная

День первый, не очень удачный

Наверное, никакая другая пора не значила в нашей жизни – жизни сельских мальчишек – так много. Это жаркое страдное время никогда не носило в целинном краю патриархального характера с неизменным выходом в поле целыми семьями, ручной косой, романтическими ужинами в поле и ночёвками в шалашах. Сенокосная страда нам памятна тем, что все мы очень быстро выросли, приобщаясь к настоящему делу.

Мы шли помощниками трактористов в поле не потому, что семьи не могли обойтись без нашего небольшого приработка, хотя, по правде говоря, и он никогда не был лишним. Дело тут, скорее всего, в традиции: считалось неприличным болтаться летние месяцы без работы, если тебе на будущий год идти в седьмой-восьмой класс.

Собственно, всё решалось без лишних хлопот и твоего личного участия – просто однажды вечером мать приходила с работы и говорила за ужином:

– Пойдёшь к дядьке Михальченко, на подборщик. Заявление я написала, Иван (бригадир) знает... И не шалайся мне допоздна, завтра вставать чуть свет!

Видно, матери не понравилось то, как она закончила своё известие, и уже другим тоном, мягко и даже виновато, она продолжает:

– Пробудешь с месячишко, да и ладно... А к школе новый костюм возьмём – старый-то совсем обносился.

Я знаю: матери жалко отправлять меня на работу, ей кажется – мал ещё. Но начинать когда-нибудь надо, и я понимаю это не хуже неё. Оттого, что мать чувствует себя виноватой и прячет под стол тяжёлые изработанные руки, у меня сердце щемит, я сглатываю комок, подступивший к горлу, и бубню торопливо:

– Ладно, мам, ладно, чего ты? Я же сам просился. Шурка (старший брат) после пятого класса работал, а мне уже в восьмой осенью, – и, чтобы оборвать неприятное для нас обоих объяснение, первым встаю из-за стола.

Возвращаюсь к полуночи, осторожно, стараясь не скрипнуть дверью, не наткнуться в темноте на табуретку, пробираюсь на кухню, где мне постелено на полу. Уснуть сразу не удаётся, но скоро сон накатывается приятной тёплой волной. Кажется, только смежил веки, а уже доносится откуда-то сверху тихий голос:

– Вставай, сынок, вставай, пора...

Вставать не хочется, но нарочито бодро сажусь на полу, потом бегу во двор к умывальнику. Торопливо плескаю в лицо похолодевшей за ночь водой. На столе меня ждёт сковородка с аппетитно подрумяненной картошкой, банка с молоком, крупными ломтями нарезанный хлеб.

По случаю первого рабочего дня мать выходит проводить меня за калитку, сует в руку заранее приготовленную сумку с обедом, где (это я уже знаю) несколько круто сваренных яиц, пучок зелёного лука, ломтик солёного сала, хлеб, соль в пустом спичечном коробке и бутылка сладкого кваса.

– Иди с Богом!

Потом она стоит и молча смотрит, скрестив руки на животе, как я торопливой рысцой устремляюсь знакомой улицей к финскому домику аптеки – давнему месту сбора косарей.

Напарник мой Толька Елисейкин уже здесь. Невысокий плотный крепыш Толька младше меня, но, пожалуй, поздоровее. Стоит уверенно, опершись на короткий черенок вил – без них на подборщике делать нечего.

Солидно здороваемся за руку, однако место в тракторной тележке – на ней нам предстоит ехать в бригаду – занимать не спешим: места здесь давно распределены и выбирать придётся из того, что останется.

Некогда красный, а теперь непонятного цвета колёсный трактор не спеша тарыхтит по улице, потом – по накатанному просёлку. Путь до бригады неблизкий – километров десять, в другое время вполне можно подремать с полчаса, но сегодня первый день – сон как рукой сняло. Мужики заняты кто чем: кто покуривает, спрятав в кулак сигарету, кто дремлет, подоткнув под бок добрый клок сена, предусмотрительно захваченного с вечера. Разговора почти не слышно, да и не особенно разговоришься за тарыхтением трактора; к тому же и трясёт неимоверно, хотя дорога кажется ровной, как стол. Тайком поглядываю по сторонам и успокаиваюсь: народ в большинстве знакомый, так или иначе со всеми приходилось иметь дело. В левом углу, у переднего борта, пристроился Иван Малинин, костлявый белотелый мужик лет сорока. Он из целинников. Время от времени Иван виртуозно циркает сквозь зубы за борт. Он задира, а кроме того, большой знаток по части русского мата. Рядом с Малининым сонно покачивается другой Иван – Дрожанов, мужик язвительный, мокрогубый. У него три сына, которых Иван берет с собой на работу едва ли не с пелёнок. Прямо перед моим носом упруго колыхается тугой живот Сашки Кейбуса, молодого ещё парня, помощника бригадира. Нас, пацанов, он не особенно жалует. У заднего борта подбрасывает на кочках ещё одного тракториста с репутацией человека несамостоятельного, беспутного. В совхозе мало кто знает его имя, зовут чаще всего обидным, но ёмким прозвищем – Сыскин-зять – по фамилии тёщи, которая вертит зятем, как хочет.

Толкаю в бок напарника: а где же наш? Вдруг напрасно едем?

– Я-то почём знаю, – недовольно отодвигается Толик – всё-таки он умудрился соснуть.

Нашего встречаем на полевом стане. С опаской подходим и с ревнивой гордостью собственников отмечаем, что трактор у него почти новый, ярко-голубой, с кабиной. Да и подборщик вполне хорош – сквозь небольшой налёт пыли угадывается красный цвет.

С почтением здороваемся. Ждём указаний. Ждём, что тракторист скажет: ну, чего стоим, поехали. Оказывается, ехать рано. Надо сперва смазать подборщик (кстати говоря, в дальнейшем это станет нашим кровным делом). Впрочем, это тоже интересно – находить на крышках подшипников отверстия и большим шприцем, похожим на насос, но с лишним рычагом сбоку, закачивать в них густой иссиня-фиолетовый солидол.

Ну вот, теперь можно трогаться. По специальным лестницам забираемся на небольшие деревянные площадки, устроенные по бокам копнителя, и он семенит за трактором, переваливаясь на ухабах, важно, как жирная деревенская утка.

* * *

Работа у нас не трудная. Косари уходят вперёд, оставляя за собой волнистые упругие валки сена. Подборщик копнителя заглатывает валок и подаёт в бункер. Когда бункер наполняется, мы должны вилами равномерно разбрасывать сено по всей ёмкости и, по возможности, утрамбовывать. Потом нажимаешь на рычаг, и бункер опрокидывает аккуратную светло-зелёную копну – почти правильной формы куб, только с овальными углами. Если трамбовать плохо, получается копна – не копна, а неопределённой формы кучка. Это плохо: сено может пересохнуть, его может растащить по полю ветер, испортить дождь.

Сначала работаем с жаром. В бункере ещё только дно закрыто, а мы уже орудуем вилами. Но скоро пыл наш начинает ослабевать – жарко, да и руки ломит с непривычки. Неприятно саднят ладони с лопнувшими водянистыми мозолями – явно переусердствовали. Выручает непредвиденный случай – подборщик захватывает вместе с валком толстую ветку. Раздаётся оглушительный треск, впечатление таково, будто машина – это ненасытное чудовище – наконец сыта: она уже не заглатывает валок, а толкает его перед собой. Трактор останавливается.

Наш шеф уже на земле и призывно машет рукой. Спускаюсь и испытываю непреодолимое желание лечь: неуверенно переставляя ноги – после тряски и земля кажется неустойчивой – подхожу.

– Умаялись, помощнички, – сочувственно говорит тракторист, – это с непривычки, втянетесь.

Увидел, как я украдкой дую на ладони, и потребовал:

– А ну, покажь!

– Да-а-а, – протянул с досадой. – Ладно, вы – пацаны, а я, старый дурак, куда смотрел... Надо было у бригадира брезентухи взять. Ну ничего, пошабашим сейчас, а в обед что-нибудь придумаем.

Достал ящик с инструментами, ловко освободил подборщик от ветки, которая успела змеей опутать валик, утыканный жёсткими металлическими прутьями, и попросил:

– Потерпите ещё чуток – бункер добрать надо. И – на обед.

...Чисто побеленный, аккуратный бригадный домик-кухня уютно устроился у длинного берёзового колка. С трёх сторон домик окружают кусты тальника.

– Чтой-то рано, работнички! – язвительно встречает нас повариха. – Ай оголодали?

– Не ворчи, старая, без тебя знаем, – парирует, явно защищая нас, тракторист.

Мы ещё не поставлены на довольствие, так что на бригадный обед рассчитывать нечего. Наскоро смываем грязь степлившейся водой из большой цистерны и с собственной провизией идём в холодильник, благо, лес рядом.

То ли от усталости, то ли от зноя едим без аппетита, больше налегаем на квас. И не поели толком, а глаза начинают слипаться, тело охватывает лёгкая истома, неудержимо тянет спать. Вижу, что напарнику не легче, и предлагаю лениво и независимо, будто сам свеж, как огурчик:

– Вздремнём с полчаса?

– Давай! – быстро отвечает Толик, словно я могу передумать. И нет уже никакой силы, которая помешала бы нам осуществить задуманное.

Испытание

Через несколько дней и вправду втягиваемся. Работаем без брезентовых рукавиц – с новыми жёсткими мазолями без них действовать сподручнее. Наученные первым горьким опытом, с удовольствием пускаемся на маленькие хитрости. Сиденья на подборщике не предусмотрены, но на площадках – наших рабочих местах – с трёх сторон есть ограждения для безопасности. Если набрать побольше сена, то можно устроить подобие шикарного кресла с упругим основанием и даже с упором для спины. Разумеется, тут надо сено помягче, его хватает на опушках колков; час-полтора хлопот – и сиденье готово. На нём можно прекрасно отдохнуть, пока бункер наполняется очередной порцией сена и не требуется нашего участия.

Тот год был урожайным на ягоды. В первые дни мы использовали любую остановку, чтобы набить животы сочной ароматной земляникой. Потом обленились и приспособились брать её из валка прямо на площадках. Подборщик подаёт валок в бункер сплошной лентой, не кроша и не сминая; заметив подходящую низинку, мы урывали по небольшому клочку сена и чаще всего находили те же ягоды, за которыми прежде приходилось бегать. Что из того, что в них не было первозданной свежести – подвяленная ягода, да ещё добытая таким необычным способом – своим ходом в руки, – казалась куда более вкусной. Кстати говоря, её можно было заготавливать и впрок. Скажем, бункер почти заполнен, от которой оторваться нельзя, зато можно бросить пук сена у ног и спокойно работать. Свалил очередную копну, устроился в «кресле» поудобней, пук разнотравья на колени и – выбирай ягоды, млея от удовольствия.

Но бывали и менее приятные минуты. Мало-помалу пригодная степь у бригадного стана была выкошена, косари уходили дальше, мы, то настигая их, то отставая, – след. Так оказались однажды на огромной, почти в тысячу гектаров, пустоши. Когда-то здесь сеяли хлеб, но хлеб не родил, потом пробовали сеять житняк, но и он рос плохо. Участок бросили – свободных земель в ту пору ещё хватало. Его выкашивали раз в два года – всё же корм какой-никакой. В тот год после неправдоподобно обильных дождей травы здесь встали по пояс, а где и в человеческий рост высотой! Это было не радующее глаз степное разнотравье, а пространство, густо поросшее полынью, перекасти-полем, лебедой (уж её-то сейчас если и встретишь, то разве на домашнем огороде) и прочей живучей растительностью, от которой ломались сегменты на ножах у сенокосилок, а тракторные грабли наполнялись плотной массой в считанные секунды. Валки лежали на поле густо и уходили волнистой чередой к самому горизонту.

– Теперь держись, парни, – посочувствовал дядя Митя, – работы дней на пять – не меньше.

Любое поле, даже в наших равнинных условиях, только кажется ровным – теперь я знаю это точно. Трактор шёл, наверное, чуть быстрее пешехода, но трясло и качало подборщик так, что лязгали зубы и звенело в ушах. Вместе с мощным валком подборщик вздымал целые клубы пыли, и трактористу трудно было различить нас, окутанных душным, терпким, серым облаком. Бункер, как и следовало ожидать, наполнялся в считанные минуты – тут не присядешь – и скоро мы потеряли счёт копнам, который вели раньше со скрупулёзной точностью. Струйки пота стекали по нашим лицам, оставляя грязные полосы, от едкой влаги щипало глаза. Вместе с пылью попадала за шиворот рубашек сенная труха и противно жгла мокрое тело. Настоящим раем казались минуты, когда трактор останавливался, и мы, отталкивая друг друга, жадно тянули через медную трубку воду из деревянной баклажки. Мы ждали этих минут, как манна небесной, и нам казалось, что нет и не может быть ничего прекрасней этой прохладной, чуть сладковатой влаги.

Тогда казалось, что мы уже сломлены, что не хватит сил вновь подняться на опротивевшую площадку, взять в руки вилы... Хотелось бросить всё к чёрту – в конце концов, есть и другие работы. Но нельзя было показать свою слабость напарнику и тем более трактористу, человеку с тяжёлыми рабочими руками и усталыми, всё понимающими глазами. Я думаю сейчас, что мы всё-таки ушли бы, если бы он обронил хоть одну обидную фразу: слабаки, мол, первой трудности испугались...

Но он молчал. Терпеливо курил, пока мы, обессилев, лежали на земле в тени подборщика. В этом молчании было, наверное, во много раз больше поддержки и душевного тепла, чем в самой цветистой и зажигательной проповеди.

И уже через день мы познали упоительную радость труда. Не знаю, что это было: торжество воли над слабостью, второе дыхание или ещё что-то. Но это было то состояние духа, когда чувствуешь себя, каждую клеточку своего тела способными на всё. Тело кажется лёгким и упругим, руки – ловкими и быстрыми, уже не замечаешь ни едкого пота, ни пыли, все движения точны и расчётливы, и чем выше темп работы – тем радостнее: быстрее, я могу ещё быстрее, я сильнее, я всё могу!

...Наш тракторист ошибся в расчётах. К исходу четвёртого дня мы подобрали все валки на этом злосчастном поле. Поставили трактор у большой кудрявой берёзы, посмотрели разом на поле, густо заставленное копнами, – их было, наверное, не меньше тысячи. И наш шеф молча (к чему слова, когда и так всё ясно), по-мужски крепко стиснул каждому из нас руку.

Дядя Митя и Сашка

Удивительно, как часто порой в серой обыденности мы не ценим людей внешне не примечательных, но обладающих громадным запасом душевной щедрости, людей, на которых воистину земля держится. Мы тянемся чаще всего за лидерами, яркими личностями, как за красивыми игрушками – где уж тут рассмотреть простую человеческую душу...

Так и мы считали сначала – не повезло нам с трактористом. Староват – дяде Мите (мы звали его, как обычно зовут в селе людей много старших по возрасту) было, пожалуй, под пятьдесят. Без нужды слова не вытянешь, лишний раз не улыбнётся. Не бирюк, но и не весельчак; словом, так себе – серединка наполовинку.

Правда, сразу обращали на себя внимание глаза, глубоко посаженные, тёмные глаза человека, немало повидавшего в жизни, и как будто таившие большую печаль или тревожную думу. И ещё – руки, длинные, крепкие, с ладонями узкими и шершавыми, как наждак. Когда дядя Митя работал в рубашке с коротким рукавом, особенно отчётливо бросалось в глаза то, что его руки словно не имеют кистей – ладонь сразу переходила в локтевой сустав и только чуть-чуть утолщалась дальше. Но эти странные руки умели всё на свете. Во время работы часто ломались планки транспортёра – иногда среди сена незамеченными попадали в подборщик палки, куски проволоки – мало ли что может встретиться в наше время на поле. Запасные планки у нас всегда были с собой, оставалось снять старую и заклёпками прикрепить к транспортёру новую. Операция для толкового механизатора простейшая, но заклёпок почему-то всегда не хватало, и вместо них шла обычная стальная проволока. Дядя Митя вырубал зубилом короткий стержень, вставлял в отверстие и постукивал молотком не прямо – сверху вниз, а по краям, с боков. Очень ловко это у него получалось: заклёпка выходила аккуратная и обязательно со шляпкой, похожей на срезанную часть шара.

Главное, держала потом заклёпка планку ничуть не хуже заводской. Пробовали проделать эту операцию и мы. Затрачивали втрое больше времени, старались как могли, отбивали молотком пальцы, но получались заклёпки неуклюжими и плоскими, хватало их в лучшем случае на несколько часов работы.

Дядя Митя был страстным курильщиком, курил только папиросы «Прибой» или «Север», полностью изжёвывая мундштук. Как-то случилось почти невероятное – у него не оказалось спичек. Работали, как назло, на отшибе, взять не у кого, и до обеда далеко. Сначала дядя Митя крепился, а потом не выдержал:

– Погибаю, ребята, невтерпёж без курева...

Наверное, это был единственный случай, когда мы видели нашего тракториста даже не растерянным – убитым. Он бесцельно ходил вокруг трактора, судорожно сглатывал и вдруг просветлел лицом:

– А ну, тащите ящик с инструментами!

Среди множества разных штукovin нашёлся тяжёлый металлический брусок – наковальня, хранимый на случай поломки. Дядя Митя отобрал несколько кусков проволоки, остановился на толстой и гибкой. Один конец согнул, чтобы держать было удобнее, другой положил на брусок и начал бить по нему молотком ровно и сильно, постепенно увеличивая темп ударов. Проволока плющилась, он ставил её на ребро и снова бил, опять переворачивал – и бил, бил...

Так продолжалось несколько минут, потом расплющенный конец слегка порозовел, но дядя Митя продолжал своё дело, и когда конец превратился в ярко-красную лепёшку, он быстро поднёс её к зажатой в зубах папиросе и... прикурил. Жадно затянулся несколько раз подряд и счастливо выдохнул вместе с облачком сизого дыма:

– Теперь живём!

Такую процедуру он проделывал до обеда ещё несколько раз, был неизменно весел и даже пытался подшучивать над нами:

– Небось, сами потягиваете втихаря? Подборщик мне не сожгите.

И глаза его лучились радостью человека, во всём довольного жизнью.

Естественно, как только подвернулся удобный случай, мы попытались повторить фокус с проволокой. И папиросы нашлись, хотя мы ещё не курили, но черта с два! Сколько ни бились, накаливать проволоку докрасна не удавалось. Расплющенный конец был горячим, если дотронешься, однако не прикуривалось – и всё тут.

И всё-таки по-настоящему мы смогли оценить дядю Митю значительно позже, после того, как проработали несколько дней с Сашкой Кейбусом – он подменял нашего тракториста, некстати заболевшего.

Как я уже говорил, сено в бункере желательно утрамбовывать, в таком случае копна лучше сохраняет форму. Дядя Митя, жалеючи нас, не требовал, чтобы мы непременно лезли в бункер, когда он наполняется: выходит копна – да и ладно. Само собой разумеется, что и начав работать с Сашкой, мы вывалили первую копну, как только посчитали нужным. И, на нашу беду, сделали это неудачно: крышка бункера «размазала» копну по полю – смотреть стыдно.

Изредка случалось такое и раньше.

– Эк мы её разосрали, – раздосадованно кричал в подобных случаях дядя Митя, как бы деля с нами ответственность. И этого было вполне достаточно, чтобы мы поняли свою оплошность.

А тут грянула гроза.

Наш новый шеф остановил трактор, спрыгнул на землю, ткнул грязным пальцем в сторону бесформенной кучки и тоном, не предвещавшим ничего хорошего, спросил:

– Эт-то что?

Вопрос был, конечно, чисто риторический, но Сашку это не волновало.

– Я спрашиваю, что – это, мать-ть-вашу? – далее последовало несколько выражений, которыми так богат наш великий и могучий русский язык.

«Народ» безмолвствовал. Наверное, в нашем молчании Сашка уловил неуважение к своей персоне и, распаясь, продолжал:

– Расселись, понимаешь, как на именинах! Я вас научу работать... Я вас заставлю хорошую жизнь любить... А ну – убрать сено с площадок! Ишь ты, сиденьев понастроили...

Когда запас слов иссяк, благо, был он у Сашки не очень велик, Сашка ласково закончил:

– Топтать будете, хлопчики, топтать. Ясно?

Подумал немного и решил, что конец речи надо чем-то подкрепить.

– А как сигнал дам – сваливайте копну. Как сигнал дам, ясно?

И началось. Одно дело разваливать по краям бункера податливую сенную массу и трамбовать её вилами с площадки, другое – самому бегать по бункеру, проваливаясь по пояс в сено, пока оно не станет пружинить под ногами; видеть при этом повёрнутую назад невозмутимо-круглую Сашкину физиономию и промасленный кулак величиной с небольшую дыню, которым этот изверг делает поступательные движения сверху вниз, покрикивая:

– Топчить, лучше топчить!

Урабатывались мы с новым шефом до полного изнеможения. И до того нам опротивела его сытая, самодовольная физиономия, что, когда пришёл дядя Митя (а вместе с ним, разумеется, и наше спасение), мы места себе не находили от радости: наперебой выполняли все его мелкие поручения, перехватывали друг у друга ключи, чтобы подать нашему (понимаете – нашему!) трактористу. Не вполне понимая причин этого странного рвения, дядя Митя вопросительно уставился на Сашку.

– А я, эт-самое, их маленько работать поучил, – гордо пояснил тот и вместо прощания погрозил нам напоследок кулаком.

– Этт-самое!- передразнил Толик Сашку, когда тот был уже на безопасном расстоянии, и смачно плюнул. – Зануда грешная!

* * *

Дядя Митя умер три года спустя. В ту пору я уже работал в райцентре и, узнав, что он в больнице, пришёл навестить. Палата находилась на втором этаже старого деревянного здания – окнами к солнцу. Дядя Митя полулежал-полусидел на койке слева у стены головой к окну, сделав упор для спины из двух жёстких, набитых ватой подушек. Он как будто ничуть не удивился моему приходу: вяло пожал протянутую для приветствия руку, через силу улыбнулся.

– Вот, видишь... – и замолчал.

Я тоже смешался, не зная, что говорить. Передо мной был человек, лишь отдалённо напоминающий того сильного и добродушного дядьку, которого я знал. Лицо у него сильно вытянулось, на щеках появились глубокие, покрытые щетиной морщины, голый череп был обтянут нездоровой жёлтой кожей, исхудавшие руки безвольно покоились поверх одеяла.

– Вот видишь, – снова повторил он и со скрытой обидой спросил: – Не нравлюсь? И себе не нравлюсь... Кажись, отработался...

Как-то испуганно оглянулся по сторонам – не видит ли кто – и откинул край одеяла:

– Смотри!

Чудовищно распухшая водянистая нога занимала едва ли не треть кровати: казалось, ткни пальцем – и она лопнет, как мыльный пузырь, брызнет влагой.

– Помру я, наверное, скоро, – спокойно сказал дядя Митя, осторожно, как ребёнка, прикрывая ногу одеялом.

Мне было страшно от того, что он говорит об этом так просто, нисколько не волнуясь, не плача, говорит так, как говорят о вещах обыденных и ничего не значащих. И я опять не знал, что ему ответить, стал мямлить: ерунда, мол, и не таких вылечивают, надо только настроить себя, не сдаваться...

– Да, ты погоди, брат, – перебил он мою несвязную речь, – думаешь, я сам жить не хочу... Хочу, сильно хочу – я ведь не старый ещё, и детей поднимать надо... Но, видно, всё... Всё...

Он вытер тыльной стороной дрожащей руки влажные от слёз морщинистые щёки, и в его голосе послышались несвойственные ему просительные нотки:

– Ты, говорят, редактором работаешь, попроси, чтоб домой отпустили... Страшно мне тут помирать. А дома – ничего, может, поживу ещё... Ты попроси, а?

– Вряд ли послушают, – неуверенно пробормотал я, – я ж не начальник, просто корреспондент...

– А ты хорошо попроси, ты грамотный, найдёшь, что сказать...

...Врача, высокую молодую женщину с недовольным лицом, я нашёл в другом конце коридора.

– Вы ему кто? – в упор и, как мне показалось, недоброжелательно спросила она.

– Никто! – сердито ответил я, задетый её тоном, потрясённый минуту назад увиденным и услышанным, и с вызовом добавил: – Просто человек, нельзя спросить, что ли?

– У него саркома, – сказала врач и, убедившись, что мне это ничего не говорит, сухо пояснила: – Рак соединительной ткани.

– Неужели ничего нельзя сделать?

– Теперь ничего, абсолютно безнадёжен, – она говорила – будто била по голове – размеренно и точно. – Так кто вы ему?

– Говорю же, никто – работали вместе, – с досадой сказал я и запальчиво спросил: – Чего ж раньше думали?

Наверное, мой вопрос прозвучал по-идиотски, но к таким, видно, здесь уже привыкли. Женщина поправила очки и, не повышая голоса, устало ответила:

– А раньше, молодой человек, он отказался от операции... Ещё вопросы будут?

– Он домой просился, – угрюмо брякнул я, заранее приготовившись к отказу.

– Через несколько дней отправим.

Может, мне это только показалось, но в глазах её за толстыми стёклами очков промелькнуло что-то тревожное, непостижимое для меня. Женщина недовольно вскинула голову и снова в упор посмотрела на меня.

– Извините, – неожиданно для себя самого пробормотал я, – пожалуйста, извините, – и вышел.

...Дядя Митя умер несколько недель спустя. На его похоронах я не был. В то время я не был ещё ни на одних похоронах.

Курьёзы

Есть странное свойство у человеческой памяти – хранить в своих тайниках по прошествии лет мгновения светлые, радостные, а на грустные случаи жизни накладывать несколько иной оттенок, такой, что видятся они потом в другом свете. Наша работа была и жизнерадостной школой, и учёбой одновременно. И методы учёбы каждый из наших трактористов при этом применял разные, порой далеко не педагогические, но, на его взгляд, вполне безобидные. Ухо нам, пацанам, приходилось держать остро – иначе можно было запросто попасть впросак. Но, несмотря на все старания, в ловушки всё же попадались, и очень часто. Были среди нас такие, кто добросовестно стучал молотком по баллонам трактора – искра в колесо ушла, объяснял в таких случаях тракторист своим помощникам, постучать надо, авось, и появится...

Но превзошёл всех в своём коварстве опять же Сашка Кейбус. В один из знойных дней, ошалев от жары, он остановил трактор, ругнулся для порядка и сказал, сокрушаясь:

– Компрессия кончилась... Загорать придётся, а, парни?

Помощники подавленно молчали.

Сашка в задумчивости поскрёб затылок, а потом попросил Витьку Семёнова:

– Слушай, Витёк, а может, сгоняешь к Ивану Дрожанову, возьмёшь полведерка. Скажи – завтра утром отдадим. Сбегай, Витёк?

Витька схватил ведро и побежал к Ивану. Тот сначала от такой просьбы изумлённо выпучил глаза, но быстро сообразил, в чём дело, и отправил Витьку к Петру Водостоеву, тот – дальше...

Вечером над Витькой потешалась вся бригада, включая поварих и сторожа. Мы тоже смеялись, радуясь втайне, что не оказались на его месте. И странное дело – ведь никто из нас не был абсолютным профаном во всём, что касалось техники, – почти все управляли трактором (бригадир об этом, разумеется, не знал) и ремонтировать помогали, а вот попадались в эти незамысловатые ловушки. Дело тут, скорее всего, было в преклонении перед авторитетом своего

тракториста: раз он сказал, значит, так оно и есть – какие уж тут шутки. Обижались, конечно, попав в очередной раз впросак, но ненадолго: не мы первые, не мы последние...

Впрочем, казусы случались не только с нами. Поймали как-то птенца кобчика, вполне оперившегося, но не научившегося ещё толком летать. Птенец угрожающе шипел, широко разевая чёрный снаружи и красный изнутри крючковатый клюв, злобно тарасил круглые горящие глаза и больно царапался острыми когтистыми лапами. Пытались кормить его хлебом – не брал, осталось нетронутым и мясо.

– Я заберу! – загорелся Иван Малинин. – Давайте!

– На что он тебе? – вступилась за птенца повариха. – Отпустили бы лучше птицу, охламоны.

– Знаю на что, – пообещал, улыбаясь тайной мысли, Иван. – Цирк жене покажу.

Видя заинтересованно повернутые головы, Иван всё более воодушевлялся.

– Моя Наташка всё время мёрзнет по ночам – холоднокровная, зараза, попалась: чуть что – лезет греться. Отучать пора. Как сунется – я ей кобчика, чтоб не будила по ночам.

К идее отнеслись по-разному. Женщины – резко отрицательно, мужчины – сдержаннее. Единственный, кто решительно поддержал Ивана, – Иван Дрожанов, как видно, сам имевший зуб на жену.

...Утром долго ждали Ивана. Пришёл он, украшенный багрово-синим кровоподтёком у левого глаза и глубокими царапинами на шее.

– Ты что, Ваня, упал? – нарочито участливо полюбопытствовал бригадир.

– Тебе бы так упасть, – мрачно пожелал Иван, устраиваясь у борта тележки поудобней. – Баба – она и есть баба, шуток не понимает, дура. Глаз чуть не выбила.

Последние слова утонули в оглушительном хохоте, даже тракторист высунулся из кабины, недоумевая, что за шум.

О том, что произошло дома, Иван предпочёл не распространяться, особо любопытствующих бесцеремонно обрывал, не стесняясь в выражениях. Зная его бешеный нрав, многие просто побаивались досаждать расспросами. Как выяснилось потом, втайне Иван глубоко переживал случившееся, считал себя пострадавшим безвинно, по собственной глупости. И не потому, что затеял всё это дело, а потому, что сделал тактическую ошибку.

– Поспешил я, мужики, – хмуро заявил он, приняв однажды вечером для бодрости граммов двести. – Обождать бы мне чуток, ну самую малость, – а там поглядели бы ещё, чья возьмёт!

– Ты, Ваня, толком расскажи, по порядку, – подавляя улыбку, попросил бригадир.

– Чего там! Не стесняйся, – зашумели механизаторы, чувствуя, что Иван «созрел» для исповеди. – Давай – все как было!

– Говорю же, что поспешил, – начал было Иван, но его тут же перебили.

– Заладил, как попугай: поспешил да поспешил – говори толком!

– Ну, ладно, – согласился Иван, – видно, ему было уже невтерпёж носить обиду в себе.

– Сначала всё по уму было. Пришёл домой – её нет. Кобчика спрятал в коробку из-под ботинок (импортные на днях взяли), коробку – под кровать. Гляжу – идёт моя царевна-куралевна. Хотел обругать для порядка – муж дома некормленный, а ты по дворам шалаешься. Стерпел... Стерпел, мужики, потому как мог всё дело испортить. Тихим прикинулся. Устал, дескать, сегодня чего-то: поисть бы да спать. А она как чувствует – чегой-то больно смиренный... Как пить дать – загуляешь на днях. Это у неё примета такая: если смиренный, значит – к выпивке. Ну, ладно. Я те, думаю, покажу – к выпивке...

Тут Иван вынужден был сделать паузу, попытался затянуться сигаретой, которая давно погасла и безвольно висела на его нижней губе. Попытка кончилась неудачно, он выплюнул сигарету и, видя, что все кругом затаили дыхание, с грустью продолжал:

– Ну вот. Лёг пораньше. Кобчика из-под койки к себе перетасил. Жду. Не идёт, зараза, и все тут. Измаялся весь, куда дождался. Только она одеяло откинула – пора, думаю, – тут надо и кобчика бросать. А он, падла, как назло, когтями за одеяло зацепился. Я его на себя – оторвать же надо. Ну и не рассчитал маленько – сильно дёрнул. Он крылья растопырил, пищит. Наташку чуть задел, а мне когтями в горло вцепился. Наташка-то не разобралась с испугу, в чём дело, и саданула мне в глаз кулаком. Это я вам скажу, мужики, ручка: ещё бы раз угодила – точно б мозги вышибла.

...Ну, свет зажгли. Она трясётся, как припадочная. На какого хрена, говорит, ты эту гадость в дом притащил, делать нечего, что ли? Натюралист выискался, дурак старый! Сама, говорю, дура, орала же, что мыши скоро голову отъедят, а кобчик от мышей первеещее средство, он их как семечки лузгает.

– От кого средство? – не выдержал наконец и затрясся от беззвучного смеха бригадир, – от мышей, говоришь... Ну ты артист! – и заикался, не в силах больше сказать ни слова.

– Так это я случайно придумал, – простодушно пояснил Иван. Но его уже не слушали. Визгливым дискантом зашла повариха, и её мощное тело колыхалось, как студень. Сашка Кейбус ржал залиvisto, как породистый жеребец. Бригадир свалился со скамьи и в изнеможении сучил по земле ногами. Смеялся даже наш тракторист дядя Митя,

прикрывая тёмной ладонью щербатый рот. От внезапного шума шарахнулась в сторону, поджав хвост, дворняжка бригадного сторожа, испуганно завизжала и на всякий случай отбежала подальше.

Никак не ожидавший такой реакции, Иван недоумённо хлопал белёсыми ресницами, топтался на месте, а когда смех поутих, сказал с обидой:

- Рассказывай вам после этого...
- Да ты не обижайся, чужак, – зашумели кругом, – ну вышла промашка, бывает... Мышей-то хоть ловит?
- Кто? – не понял иронии Иван.
- Кто-кто – кобчик!
- Сбежал он, – вконец растерялся Иван, – кошку взяли.
- Оно, конечно, надёжнее, – рассудительно заключил бригадир, чем вызвал новый приступ веселья, но уже не столь буйного, впрочем...

За сеном

Дни теперь летят быстро, и работа совсем не кажется тягостной. Все лучшие уголья выкошены, сенокос в нашей бригаде потихоньку сворачивают. Август на исходе – нам скоро в школу.

Дома поговаривают о том, что пора бы и самим сена привезти. Такое право у нас есть – его заслужил я, работая нынешним летом в бригаде. Дело за транспортом. Наконец и этот вопрос улажен, после обеда выезжаем.

Нас четверо с шофёром. Машина тряско пылит по просёлку мимо зелёных ещё хлебов, не тронутых приметамы осени. Ехать надо километров пятнадцать – вблизи села сено уже вывезено. Ближе к месту заезжаем в лес, чтобы оборудовать машину. Первым делом надо вырубить бастрик – лесину, без которой впоследствии не обойтись. Тут не каждое дерево годится, а только берёза, молодая и упругая. После недолгих поисков находим подходящий экземпляр. Жалко губить стройную белоствольную красавицу, но ничего не поделаешь – надо. Дерево зябко вздрагивает после каждого удара топора и неловко, словно нехотя, с шумом валится набок. Отец быстро обрубаёт ненужные ветки, отделяет вершину. Остаётся обрубок длиной три с половиной – четыре метра – как раз хватит. На машине открываем борта и прикручиваем толстой проволокой четыре поперечных обрубка, получился прямоугольник – теперь всю тяжесть груза примут на себя не хрупкие борта, а эти поперечины.

У первой копны отец долго советуется с мужиками: брать сено или ещё поискать. Сходятся на том, что надо брать – лучшего можно не найти, а солнце вот-вот зависнет над кромкой леса.

Обязанности распределены заранее: дядя Вася Базюк наверху – на раскладке, мы трое подаём снизу. У раскладчика задача посложней – сформировать воз так, чтобы он не только имел вид, но и, не дай Бог, не рассыпался по дороге: тогда весь труд насмарку, да и стыда в совхозе не оберёшься...

Сначала просто бросаем душистые охапки наверх – борта на уровне груди, особых усилий не требуется. Но мало-помалу основание будущего воза создано, и теперь принцип «вали кулём – потом разберём» негоден. Дядя Вася все чаще покрикивает: «Куда, куда сунь на угол! Сбоку давай, сбоку!». Разницы как будто никакой – что на угол, что сбоку, но – нет: углы дядя Вася стережёт пуще глаза – от них зависит весь вид и прочность стога.

Сначала воз растёт быстро, а потом в какой-то момент застывает на месте. Это оттого, что раскладчик у нас опытный: постепенно расширяя стог от основания кверху, он одновременно умело утаптывает сено.

Я почти выдохся, а отец с шофёром – как ни в чём не бывало: всё так же неторопливо и мощно вонзают зубы вил в упругую массу, одним движением скидывают над головой, несут почти на вытянутых руках вперёд и ловко забрасывают наверх. Каждая порция сена, которую подают за раз они, – это три-четыре моих навильника.

Много лет спустя я смотрел хороший, в общем, фильм и испытывал досаду: молодой деревенский парень, желая обратить на себя внимание, орудует вилами, как автомат, а на стог попадают крохи – сразу видно, что человек никогда не работал на сенокосе... Впрочем, вряд ли я сам тогда действовал лучше него...

– Верши помаленьку, Василий! – следует команда, когда уже и двухметровых черенков не хватает, чтобы подавать сено. Дядя Вася «забывает» середину – так, что стог приобретает небольшое утолщение в верхней части. Хороший получился воз, аккуратный, прочный. Напоследок любовно оглаживаем вилами его бока, обирая клочки сена, что портят вид.

Теперь надо прижать стог сверху бастриком. В передней части делается треугольная петля из проволоки и цепляется за толстую часть бастрика, а его укладывают посередине воза. Задний конец бастрика смешно задран кверху. Отец ловко перебрасывает через этот край лесины верёвку, уже закреплённую одним концом внизу, а за другой мы дружно тянем, насколько хватает сил.

– Р-раз! Ещё р-раз! – командует отец, помогая нам и поглядывая наверх. – Хватит! Теперь держите! – он быстро привязывает внизу и второй край верёвки. Бастрик надёжно скрепил воз, теперь не рассыпется – можно ехать.

Несколько минут уходит на сборы. Старшие степенно закуривают. Я, зябко передёргивая плечами, натягиваю на остывающее после работы тело фуфайку. В кабине всем четверым слишком тесно, и я прошусь наверх.

– Не положено, – строго замечает шофёр и нелогично добавляет: – Так что смотри там!

– Ладно! – весело откликаюсь уже с капота. Оттуда – на кабину, а затем, не без труда, и на самый верх. Делаю маленькое углубление, зарываюсь в него, лёжа на животе.

– Поехали!

Пока собирались, совсем стемнело. Машина с натугой трогается, вспарывая светом фар плотную ночную темень. Воз приятно покачивается из стороны в сторону, и я с удовольствием переворачиваюсь на спину.

Высокое чёрное небо дружелюбно подмигивает мне ясными глазами звёзд. Ближе к полуночи звёзды начнут падать: конец августа – пора звездопада. Надо поймать момент и загадать желание... Но неожиданно ловлю себя на мысли, что мне ничего не нужно от падающей звезды. На душе тепло и уютно: вот так бы ехать и ехать далеко-далеко... И я лежу, наслаждаясь тишиной и покоем, и думаю о том, как это здорово – жить под этим добрым небом...

Дядя Коля

Дядя Коля Хухарев умер 7 ноября, в два часа дня.

Он был шофёром, всю жизнь простым шофёром. И человеком – каких больше нет.

Говорят, что когда уходит человек, вместе с ним исчезает целый мир. Я не хочу, чтобы с дядей Колей ушёл его неповторимый мир... Но что я могу?

Я могу рассказать о дяде Коле.

Он был мужем моей тётки Нины, материной сестры. Их знакомство связано с одной отчаянной романтической жертвой, про которую мне рассказывала мать. Когда дядя Коля стал ухаживать за тёткой, которая была много выше его ростом, она, чтобы эта разница не стала столь заметной, обрубилa топором каблукИ на своих туфлях.

Сам я ничего этого не помню. Я и своего знакомства с ним не помню. Зато помню громоздкий бензовоз «ЗИС» в нашем дворе – это была его машина. Ещё помню себя сидящим в кабине у него на коленях. Мне лет девять-десять, меня переполняет ощущение счастья и полёта: я пытаюсь рулить, пустынный просёлок резво бежит навстречу машине и почему-то всё время ускользает из-под колёс.

Я помню все его машины – и первый бензовоз, и второй «газон»-грузовик, и третий новенький «ЗИЛ» – самосвал – его дяде Коле дали за безупречную работу. Маленькому дяде Коле было чересчур просторно в «зиловской» кабине, он с усилием крутил тугую руль, который мне тоже казался слишком большим, приговаривая: «Ну и баранка, блин!». Вроде жаловался, а сам едва не светился от счастья – впервые за десять лет дали новую машину. Я тоже любил её больше всех остальных – готов был дневать и ночевать в кабине. В ней было так уютно, так хорошо пахло разогретым машинным маслом, чуть-чуть бензином и ещё чем-то неуловимо «зиловским». А каким неповторимо вкусным был синеватый дымок дяди Колиного «Прибоя»!

* * *

Как ни странно, я довольно мало знаю о его детстве. Наверное, это потому, что в нём было не много хорошего, и он не особенно любил о детстве рассказывать. Рос без отца. В школу ходил километров за десять.

Надо было видеть, как он рассказывал мне про это: глаза чуть прикрытые, хитроватые, лучистые – сразу не поймёшь – то ли серьёзно говорит, то ли шутит:

– Встану, бывало, утром, позавтракаю. Выйду на крыльцо, достану кисет с табаком, сверну самокрутку, покурю – и в школу...

– И мать не ругалась? – не верил я. – Вы в каком классе были?

– В четвёртом. Она раз застучала меня в сарае с куревом, напощадала, а потом говорит: «Уж лучше открыто кури, а то ещё сарай спалишь». Так и курю с тех пор...

Дальше была школа ФЗО – полувоенный режим, полуголодное существование. Потом служба в армии на Дальнем Востоке. Наверное, ещё и оттуда его всегдашняя аккуратность, подтянутость, фигура атлета. Учил меня делать «склёпку» на турнике. Ему было уже за тридцать, а лихо у него это получалось.

* * *

Он был из той редкой породы людей, о ком говорят – на все руки мастер. Во всяком случае, мне таких больше встречать не приходилось. Когда они с тёткой получили своё первое жильё – полторы комнаты в щито-сборном финском домишке, у них не было никакого имущества. Первые табуретки, стол он сделал сам, потом взялся за комод... Тогда это было в диковинку, и моя мать, увидев эту «роскошь», попросила дядю Колю отдать её нам. «А ты себе ещё лучше сделаешь», – отвечала она на его слабые возражения.

Ему не нравилось «казённое» жильё, и он взялся строить дом. И выстроил – едва ли не в одиночку. Только ставить стропила и класть печь ему помогали.

Когда в село пошла первая бытовая техника, он взялся её ремонтировать и усовершенствовать. Он брался чинить не только дверные замки, утюги, динамики, электробритвы, но и швейные, стиральные машины, радиоприёмники, телевизоры... Его изобретательность была в этом смысле беспредельной.

Всё, что попадало ему в руки, как будто оживало.

Я знал, что он неплохо играет на гармошке, и был несказанно удивлён, когда он, устав смотреть, как я мучаю гитару, взял её и вдруг выдал такое... «Это что?» – только и смог спросить. «Гибель Титаника», – сказал он, – хочешь научу?». Я с горем пополам освоил эту красивую мелодию и, каюсь, не раз эксплуатировал её, когда в незнакомой компании нужно было произвести впечатление... А дядя Коля, как потом оказалось, прилично играл и на балалайке.

Одно время он увлёкся фотографией, и немало столь дорогих нам теперь снимков в семейных альбомах сделано им. Есть на них и сам он – почти всегда улыбающийся. С улыбкой на снимке он очень напоминает известную всему миру фотографию Юрия Гагарина – этот романтический портрет нашей советской эпохи.

Будучи в жизни суровым реалистом, хорошо зная, что в ней почём, в каких-то вещах дядя Коля оставался по-детски наивным. Почти всю свою жизнь он покупал всевозможные лотерейные билеты. Всё надеялся выиграть... Помнится, я лет десять снабжал его билетами международной лотереи журналистов. Ему казалось, что они дают больше шансов на удачу – ведь тут в каждом билете «играл» только номер, а серии не было. Однажды дядя Коля выиграл жостовский поднос – рублей, кажется, за десять...

* * *

Водителем дядя Коля был классным. Машину он чувствовал так, будто она была частью его собственного организма или его продолжением. Как-то я обратил внимание на то, что он почти не пользуется педалью муфты сцепления – переключает скорости, не выжимая её. Начал было его критиковать: это же, мол, неправильно... Он не стал смеяться над моей наивностью, а просто объяснил, почему он так делает.

Однажды зимой он взялся попутно подбросить меня на молоковозе из Павлодара домой. Дорога не близкая, почти 200 километров, на улице минус 30 да с ветерком. И случилось непредвиденное: камнем из-под колеса встречной машины нашему молоковозу разбило ветровое стекло. А до конца пути ещё километров семьдесят. Как быть?

Не слишком долго раздумывая, дядя Коля взял сложенное в несколько раз потрёпанное байковое одеяло, которое он подкладывал себе на сиденье. Мы развернули его, натянули вместо стекла, защемили с двух сторон дверцами кабины. Дядя Коля проковырял со своей стороны дырочку, чтобы хоть чуть-чуть видеть дорогу, и мы отправились дальше. Часа через полтора были на месте.

Не помню случая, когда бы он жаловался на то, что его подвела машина. Может, потому, что была она для него чем-то сродни живому существу?

* * *

Как-то во время студенческих каникул он разбудил меня дома рано утром:

– Ты на мотоцикле-то сам ехать сможешь?

– Что за вопрос, – обиделся я, – да я с седьмого класса за рулём...

– Тут не прогулка – в Купино надо ехать.

– А зачем в Купино? Почему на мотоцикле?

– Поросят продавать!

И они с матерью доходчиво мне объяснили, что у нас в совхозе этих самых поросят перепроизводство, а в купинских деревнях, говорят, их чуть не с руками отрывают...

И мы поехали. Они с матерью впереди на «ИЖе» с люлькой, а я сзади на дяди Колином «Ковровце» с самодельной коляской. Поросят мы загрузили в два мотоцикла, что-то около десятка.

Была вторая половина лета, дождало. Мы буксовали, выбирались из грязи, толкая наши мотоциклы, – дядя Коля вёл нас окольными путями, чтобы не попасться на глаза какому-нибудь милиционеру, ведь водительских прав у меня не было. Проехав километров тридцать, попали под сильный дождь и пережидали его в подвернувшейся копне свежескошенного сена... Наше путешествие мне больше и больше нравилось...

Ближе к Купино стали заезжать в деревни. Большинство их в этом краю – в одну улицу. Мы останавливались где-нибудь у магазина или около колодца, и к нам тут же устремлялись любопытствующие: кто такие, зачем?

– Поросят продаём, – говорил дядя Коля.

Не скажу, что наш товар шёл нарасхват, но понемногу расходился. Дядя Коля, оказалось, имел способности, как бы теперь сказали, и по коммерческой части.

В одной из деревень к нам подошла ядрёная розовощёкая деваха. Стояла, присматривалась и всё сомневалась: брат – не брат.

– А ты сама-то замужем? – вдруг спросил у неё дядя Коля.

– Ну да, – зарделась та, – уже две недели...

– Ну, и сама подумай, – рассудительно заметил дядя Коля, – что у вас будет за семья без поросёнка.

– Вот и мама говорит то же...

– Ну так выбирай, – дожимал дядя Коля, – хочешь кабанчика, уже большенький...

– Бери кабанчика, – посоветовала девахе стоящая рядом мрачноватого вида тётка, – да проверь, чтобы с двумя яичками был... А то, говорят, однойцевые – квелые...

– Однойцевых не держим, – заверил дядя Коля, и спустя пару минут деваха рысцой устремилась к дому, прижимая к пышной груди визжащего поросёнка.

Так мы и ехали, пока не добрались ближе к вечеру до Чубаровки – деревни, где жили материны родители. Поросят у нас осталось меньше половины. Их мать с дядей Колей продали утром на Купинском базаре.

* * *

Работник дядя Коля был неутомимый. Находиться при деле – это было его естественным состоянием. И за что бы ни брался – всё горело у него в руках. Шоферская работа на селе – от темна до темна: то посевная, то сенокос, то уборка. Да ещё скотина дома. Да картошку посадить, прополоть, выкопать. Да сена-соломы привезти. Иному деревенскому жителю – хоть зимой отдушина. А у него и зимой страда – переоборудовал свой «ЗИЛ» под лесовоз – и за лесом в Чалдай. Выезжали утром в четыре (значит, подъём – в три ночи), в любую погоду. В один конец четыре сотни километров. Бывало, к полуночи возвращались, а бывало – на следующие сутки. День на передышку, да и машину посмотреть надо. А потом опять в рейс. Работа на пределе человеческих сил. Но тянулся – надо было жить, обзаводиться имуществом, поднимать детей.

Наверное, и в город дядя Коля засобирился отчасти от идиотизма деревенской жизни – её беспросветности. Работа, работа, работа – день и ночь работа, без сколько-нибудь видимых результатов. Он ведь почти не пил, не имел других дурных пристрастий, сам привык обходиться малым, а особого достатка в доме, можно сказать, не было. К тому же и дочери подрастали, задумывался и об их будущем.

В Павлодаре он устроился в автобазу молочного комбината. Начинать опять пришлось с «ЗИСа»-ветерана – он думал, что их уж в природе нет... Потом «дослужился» до другой подержанной «молоковозки», а потом – и до новой. Работа как работа – колеси по области, загружай молоко, вези в город... Но была у «молоковозников» одна «привилегия» перед остальной шоферской братвой – они выходили в рейс всегда, в любую непогоду, даже тогда, когда откладывались все другие пассажирские и грузовые рейсы.

Порядок был такой: пять дней работаешь, день отдыха. Но это в идеале! А на деле кто-то заболел, кто-то загулял, а молоко ждать не может – и нагружали тех, кто вёз. Известно, что в праздники мало желающих работать. Дядя Коля не отказывался: надо было платить за только что полученную кооперативную квартиру, подрастали дочери. А в праздники – двойной тариф. Дальние рейсы были тоже его – он ведь надёжен, не подведёт. И ездил. Подъём в четыре утра, в один конец километров 300-350, домой попадал часам к десяти-двенадцати ночи.

Он и свой первый инфаркт получил за рулём. Как-то нехорошо стало – вроде изжога. Всё же доехал, сдал на раскачку машину. Домой сам добрался, а уж оттуда увезли на «скорой» сразу в реанимацию.

* * *

Мне казалось, что дядя Коля с его житейской хваткой, выносливостью, какой-то удивительной внутренней силой будет жить вечно. В любой работе рядом с ним мало кто мог устоять. Он был коренастый, сбитый, жилистый – такого не согнёшь, не сломаешь и с ног не собьёшь. Рука у него была небольшая, тёплая, шершавая – чуть не царапалась. Сена на воз сразу по полкопны забрасывал – не гляди, что ростом мал.

И жил он с интересом, жадно. Ему до всего было дело, он всё хотел попробовать, его всё интересовало. Живя в селе, стал заядлым охотником. Случалось, уйдёт зимой с утра на лыжах, а вернётся к вечеру пустой. Но никогда не злился из-за этого:

– Разошлись мы сегодня с моим зайцем, – и улыбнётся своей обезоруживающей улыбкой.

Тётка, конечно, недовольна: стоило ли ноги бить и мёрзнуть весь день?

Он старается разрядить ситуацию:

– Беру обязательство в следующий раз принести тебе зайца не хуже, чем Гнатенко...

– А что у Гнатенко?

– Да он в прошлый понедельник пришёл к нам в гараж и говорит: «Мужики, вчера на охоте был – зайца принёс, жирный, как барсук». Мужики смеются, а он: «Не верите – спросите у жинки, она с него стакан жиру натопила...».

Строговатая тётка улыбается. Неудачливый охотник прощён. Но чаще он приходил с добычей. Иногда и нашему дому перепало: то утка, то несколько куропаток или рябчиков.

Любил дядя Коля и тихую охоту – был он заядлым грибником. Даже работая в городе на молоковозе, умудрялся возить домой грузди, подберёзовики, землянику – набирал в попутных колках.

Я знал, что он любил жизнь во всех её проявлениях. Но никогда особенно не задумывался о том, что она (не в пример известной песне) почему-то не платила ему взаимностью.

Его жажда жизни утолялась работой, у него был свой, особый, хоть и неброский, талант – талант труженика. И, как мне кажется, он, этот лучший из человеческих талантов, не был востребован временем, не был по достоинству оценён. Героями труда становились другие – шофёров наша советская власть по этой части не баловала. Но дело даже не в наградах – труд без показухи, работа как смысл жизни не были в полной мере признаны и тем общественным строем. И, наверное, судьба дяди Коли – один из приговоров уходящей эпохе.

В сущности, он был очень одинок – почти не знал материнской ласки; не имел по-настоящему близких людей.

Может быть, поэтому он как-то очень роднился со всеми нами – многочисленными представителями тёткиной стороны: чем мог – помогал, ездил на все свадьбы и похороны, умел ненавязчиво быть рядом и в горе, и в радости.

И сам он оказался настоящим отцом – внимательным, заботливым, требовательным. У них с тёткой было три дочери. Сына им Бог не дал, хотя дядя Коля о нём очень мечтал.

Несчастье на их семью обрушилось, когда казалось, что все главные трудности позади: дочерей выдали замуж, у всех квартиры, пошли внуки, в которых дед души не чаял. Не дожив до 30 лет, умерла средняя дочь Надя. Осталось двое детей. Я до тех пор никогда не видел дядю Колю плачущим. Даже когда хоронили его мать. Она последнюю ночь проводила дома, пришли мы с матерью, моя сестра с мужем. Кто-то из детей боялся, а дядя Коля успокаивал:

– Не надо бояться. Покойник такой же человек, как живой – только мёртвый.

Смерть дочери оказалась для него непосильным бременем – от этого удара он оправиться не смог.

Помню какую-то предпохоронную суету у подъезда, из которого должны были выносить гроб с Надей. И дядю Колю – безучастно, одиноко, неприкаянно сидевшего где-то в стороне. Я подошёл, сел рядом.

– Я теперь знаю, что самое тяжёлое в жизни, – вдруг сказал он, – это когда хоронишь детей.

Заплакал, стал вытирать скомканным платком помутневшие красные глаза с набрякшими веками.

* * *

Из инфаркта дядя Коля выкарабкивался долго, тяжело. И по всему казалось – сдаваться не собирается. Когда его наконец отпустили домой, мы с тёткой приехали за ним в больницу. Мне непривычно и странно было видеть некогда неутомимого дядьку, передвигающегося мелкими шажками. На свой четвёртый этаж он поднимался минут десять, отдыхая на каждом этаже и подкладывая под язык какие-то таблетки.

Но уже через несколько дней его руки запросили работы – родня и соседи опять потащили к нему всякую мелочь для ремонта. Он стал выходить на улицу. Хотя садиться за руль ему отныне было заказано.

– Я теперь как тот дед, что на трассе машины останавливал, – говорил он мне.

– Какой дед?

– Да еду я как-то, а на дороге дедок голосует. Я остановился, жду. Он всё не идёт, потом показался наконец. «Тебе куда, отец?» – спрашиваю. «А куда, сынок!» – «Чего же останавливал?» – «Да я, сынок, бывший шофёр, привык за сорок лет под заднее колесо ходить по-маленькому. Вот ты остановился – я и сходил. Спасибо тебе, езжай!».

– Честно признайтесь, придумали?

– Нет, правда было, – стоит он на своём. Но нет уже той «фирменной» хухаревской улыбки. Да и шутка в его нынешнем положении, в общем-то, грустная.

Он вообще после смерти Нади, а особенно после инфаркта, как-то обмяк, увял. Не стало в нём прежней стремительности, упругости, энергии. Он жил как бы по обязанности.

Ему дали группу инвалидности, потом пенсию. Он переделал дома всю работу, перечинил всё что было можно у соседей по подъезду. Я нашёл для него работу в одной из контор – по слесарно-плотницкой части. Он вроде опять приободрился. А однажды его прямо с работы снова отвезли в больницу – со вторым инфарктом.

Дядя Коля и из него выбрался. Но стали сдавать другие «механизмы», и он засобирался на операцию – теперь уже предстательной железы. Готовился основательно, настраивал себя и врачей, говорил: «Надо так надо – я выдержу!».

У него оказалась раковая опухоль. Её даже не стали удалять. Врач сказал мне, что такова практика: хирургическое вмешательство может спровоцировать развитие метастазов.

– Сколько же вы ему отводите? – спросил я.

– Больше пяти лет с этим не живут, – сказал он.

– Ну из больницы он выйдет?

– Ну, разумеется... Назначим лучевую терапию...

...Дядя Коля лежал в многоместной палате сразу у входа. Когда я вошёл, вокруг него стояли тётка Нина, дочери с зятьями. «Собрались как у смертного одра», – подумал я, и мне стало не по себе. Я подошёл ближе. Дядя Коля нашёл в себе силы протянуть руку. Рука была сухая, тёплая, живая.

– Вырезали лишнее, – с усилием сказал дядя Коля, – теперь лет на тридцать ещё хватит.

– Конечно, – сказал я, – мы с вами ещё погуляем.

Мы все были твёрдо уверены, что дядя Коля не собирается умирать. А он сказал тётке (ещё до операции), чтобы похоронила его в галстук и чтобы рядом припасла место для себя. «А то как я там один лежать буду...».

* * *

Мы с братом стоим у раскрытой могилы, куда опускают на полотенцах дядю Колю. У меня в ушах звучит всегдашняя братова шутка при встрече с дядей Колей:

- Дядь Коля, когда машину купишь?
- А у меня, Петя, целый миллион есть!
- Откуда столько?
- А ещё не заработанный!..

Умер дядя Коля.

Я всю свою жизнь буду ему должен.

Рыжие, они счастливые

То, что у меня есть младший брат, я понял годам к двадцати пяти. То есть он, конечно же, был и раньше, уже семнадцать лет был... Но... как-то сам по себе. Или у меня руки до него не доходили, или у нас не было особой надобности друг в друге... А тут, приехав домой с вождленным университетским дипломом отдохнуть от слегка утомившего меня высшего образования, с удивлением обнаружил: есть, вот он, брат Петька, с меня ростом, пышной рыжей шевелюрой, пытливым юношеским взором... И в рассуждениях – делать жизнь с кого?

Мать втайне мечтала выучить «младшенького» на агронома. Чтобы он вернулся потом домой, растил народу хлеб, а она была бы рядом, нянчила бы внуков, как придёт пора. Но подобная прозаическая перспектива брата Петьку не прельщала... К тому же маячил впереди, действуя как красная тряпка на бычка, пример двух старших братьев-романтиков... Один сразу после школы очертя голову ринулся с компанией себе подобных одноклассников в Сибирь – отстраивать город-памятник на месте исторической ссылки вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. А когда жареный петух поклевал его в известное место и их романтическая компания распалась, перешёл работать в районную газету. По его стопам пошёл второй брат и в чём-то даже обскакал первого, закончив журфак столичного университета. Так что Петьке вроде сам Бог велел стать третьим. Но два других, успев хлебнуть прелестей журналистской романтики, отговаривали его от этой затеи, как могли. И он решил пойти своим собственным путём – попробовать свои силы на ниве юриспруденции. Благо, всего за четыре с половиной сотни километров был университетский город Омск с желанным юрфаком. Была ещё одна подспудная, но не афишируемая причина выбора: поступать в Омск ехали друзья-соседи, с которыми так не хотелось расставаться.

Собирая младшенького в дорогу, мать сшила ему на трусах потайной карманчик для денег, который пришилился сверху булавкой, собрала чемоданчик-балетку с вещами и, пригорюнившись, отправила с оказией на железнодорожный разъезд с поэтическим названием «Осенний», где на три минуты останавливался поезд, следовавший в Омск. Брат чувствовал себя не очень уютно: мучила неизвестность, а ещё в голове всё время была эта булавка на потайном кармане – вдруг расстегнётся да уколет... Немного поколебавшись, он зашёл в туалет, отстегнул и выбросил булавку, а деньги переложил в карман брюк. Вроде стало полегче.

Экзамены он сдал, но не настолько хорошо, чтобы быть принятым. Вернувшись назад, отсиживался дома, скрываясь от расспросов и участливых вздохов. Было стыдно, неудобно, одиноко. Жизнь казалась навек пропащей. А тут ещё приезжает брат. С дипломом. От этого было горше вдвойне.

Вот так или примерно так я обнаружил, что у меня есть брат. Уже достаточно великовозрастный, не дурак и... тоже подумывающий теперь о журналистике. Поразмыслив об этой, увы, не новой жизненной коллизии, я решил: ну что ж, пусть попробует. Получится – дай Бог, ну а нет – отрицательный результат тоже результат – поймёт, на худой конец, что не его это дело. И рекомендовал братана знакомому редактору районной газеты, где сам начинал пять лет назад.

Через год брат Петька решил поступать на журфак и только на журфак. Но на этот раз я уже не мог пускать дело на самотёк и попросил присмотреть за ним своего университетского приятеля Ваську Дмитровского, обосновавшегося в Алма-Ате, а заодно и поднатаскать перед экзаменами.

В Алма-Ате Петьку ожидал сокрушительный удар – он опоздал на творческий конкурс, который был впервые введён на журфаке и проводился на неделю раньше обычных экзаменов. Впрочем, Ваську это нисколько не обескуражило – он убедил брата, что филфак гораздо лучше журфака, во всяком случае, для умного человека. Перед сочинением он наставлял Петьку:

- Начни с картинки – это всегда производит впечатление.

Петька выбрал тему о романтике Революции. Революцию он живописал в образе летящего на врага Чапаева. Само собой, были там и лихой конь, и крылья бурки – как крылья птицы... Итогом стала «тройка», что при конкурсе в десять человек на место было равносильно краху. Но Петька этого, к счастью, не знал – по результатам первого экзамена вывешивался лишь список проваливших его – и пришёл на устный экзамен по русскому и литературе готовым к бою. Его ответ экзаменатора устроил, и вот тут началось самое интересное.

- Ах ты сукин сын, – сказал экзаменатор, заглянув в листок, где стояла первая Петькина оценка, – что вытворяет... Ну, тебе этот номер не пройдёт!

Петька, ничего не понимая, испуганно смотрел на преподавателя. Он ведь не знал, что за сочинение у него «тройка», как и то, что она, может, не вполне справедливая, и что у его нынешнего экзаменатора свои счёты с тем, кто проверял сочинение. Тем не менее рядом с «тройкой» у брата появилась «пятерка», для чего экзаменатору пришлось его куда-то водить, что-то доказывать. Теперь у него замаячили кое-какие шансы.

Зато Васька от души поиздевался надо мной по телефону:

- Что ж ты такого балбеса мне подсунул? – деланно возмущался он. – Он же сочинения писать не может...

- Я тебе человека доверил, а ты обделался, – пытался парировать я, но крыть мне было нечем...
- Хорошо ещё, что я его поднатаскал по-устному, – набивал себе цену Васька.
- Это тебе зачтётся, – соглашался я, – а если провалится – ты мне ответишь...

Следующей была история.

- На экзамене, как в любви, молодой... Понимаешь? – разглагольствовал Васька, наблюдая за безуспешными Петькиными попытками сходу пройти по всем вопросам.
- Не понимаю, – разводил руками обалдевший от зубрёжки брат. – Как это?
- Как в любви – удивлять надо, – делился жизненным опытом Васька. – Ну вот что ты сейчас зубришь?
- Правление царя Николая Второго...
- А давай мы поглядим – с чего все начиналось?
- Что начиналось?
- Династия Романовых!

Васька притащил откуда-то том Большой Советской Энциклопедии и заставил Петьку проштудировать главу про династию Романовых. Это было, кстати, едва не последнее, что прочитал брат накануне экзамена. И надо же такому случиться, что один из вопросов, ему доставшихся, был посвящён как раз эпохе правления одного из царей Романовых. Лишь упомянув о нём, Петька стал добросовестно излагать историю дома Романовых – благо, она ещё не успела выветриться у него из головы. Этим он совершенно покори́л двух старичков-экзаменаторов, они слушали его, как зачарованные. И когда он, двигаясь вверх по генеалогическому древу Романовых, дошёл до нужного царя, они согласно закивали головами: «Достаточно, молодой человек, достаточно...».

С экзамена Петька шёл героем: старички сказали, что у него теперь есть все шансы быть принятым, для этого вполне хватит «четвёрки» по иностранному. Хотя эйфория быстро прошла: при подготовке к немецкому на Ваську «англичанина» рассчитывать не приходилось. Как, впрочем, и на свои более чем скромные знания. Васька это тоже понял и сказал ему напоследок:

- Будут мужики – попытайся сыграть на своём крестьянском происхождении: скажи – какой там немецкий, у нас до сих пор свет в деревню не провели...
- Ну да, – обиделся за родину Петька, – у нас полсовхоза телевизоры смотрят!
- А если бабы, – не удостоив вниманием Петькину реплику, заключил Васька, – бей на обаяние.
- А что надо сделать? – простодушно поинтересовался брат.
- Ну, я не знаю... Сделай что-нибудь этакое... Им ведь там скучно до смерти.

Экзамен, на братово счастье, принимали две женщины: пожилая, костлявая, как сушёная вобла, старуха с бесстрастным выражением лица (конечно, она была главная) и совсем юная особа, ещё глядевшая на мир широко открытыми глазами. Старуха отчаянно дымил «Беломором», молодой это, похоже, не нравилось, но старшей перечить она не могла.

Заданный текст Петька с горем пополам перевёл, что-то переврав и что-то домыслив, и по сверхсдержанной реакции обеих понял: «четвёркой» тут не пахнет. Но в этот самый момент окончательно задымившая своим «Беломором» крошечную аудиторию старуха послала напарницу открыть форточку. Та с поручением не справилась, стала бросать оттуда беспомощные взгляды, и Петька, как молодой лось, ринулся ей на подмогу. Если бы даже форточка не открывалась – он бы вынес её вместе с рамой.

- Ну что ж, с окном вы справились лихо, – ядовито заметила старуха, затягиваясь очередной «беломориной», – давайте, однако, вернёмся к немецкому.

Петьке предстояло рассказать про любимый город. Само собой – им стала Алма-Ата. А поскольку запас слов у брата был близок к нулевому, рассказ его в переводе на русский звучал примерно так: «Алма-Ата – большой и красивый город. Здесь много больших и красивых улиц. На улицах большие и красивые дома. У домов большие и красивые деревья».

- Генуг, – жестом остановила его старуха и сказала своей юной напарнице что-то немецкое, а потому не совсем Петьке понятное. Хотя ключевое слово «драй» он все же уловил и сразу встрепенулся:
- «Тройка» – это конец, – непроизвольно вырвалось у него.
- Оказывается, он знает слова, не только «большой» и «красивый», – задумчиво сказала старая и изучающе взглянула на соседку. Та ответила ей просящим взглядом и покраснела.
- Ах, молодость-молодость, – понимающе вздохнула старуха и быстро, демонстративно, расписавшись на листке и не поставив оценку, двинула его по столу. Молодая в ответ просияла, и Петька понял, что судьбоносная «четвёрка» у него в кармане.
- Повезло твоему рыжему, – кричал мне в телефонную трубку, отправив Петьку домой, Васька... И говорил что-то ещё, как всегда преувеличивая свои собственные заслуги и набивая себе цену.

* * *

Когда долгожданная «сотка», казавшаяся беременной от набившихся в неё пассажиров, показалась из-за поворота, Сергей-подводник сказал:

– Я же говорил вам: рыжие, они счастливые... Видите – к ним даже автобусы вне расписания подваливают.

Одногруппники, стоявшие на остановке, улыбнулись знакомой Серёгиной шутке и стали грузиться.

Серёга вообще питал слабость к брату Петьке. Может, ещё и потому, что их многое роднило: деревенское происхождение, лёгкое, если не сказать разгильдяйское, отношение к жизни, известная склонность к авантюризму, страсть к рыбалке. Да и потом, куда им было деваться друг от друга, если мужиков на их почти сплошь бабском филфаке было раз-два и обчёлся. Они, да ещё Хохол с Диаром. Но Хохол был тихушник с ангельскими голубыми глазами и обликом херувима, а Диару всё время надо было помнить, чью фамилию он носит – такая уж была фамилия...

То ли дело эти два рубахи-парня... Про них даже общежитская вахтёрша тётя Паша говорила – «два сапога на одну ногу», слегка перевирая известную русскую поговорку.

Серёга был старше на четыре года и, когда они познакомились, хотел сходу дать понять, кто будет кто среди этих факультетских салажат. На первом же совместном перекуре он выделил Петьку из остальных – протянул руку и с расстановкой представился:

– Серёга. Подводник. Главный корабельный старшина.

И тут же услышал в ответ:

– Петро. Крестьянский сын. Лучший костровой района.

Будучи сам не из породы скромников, Серёга это лёгкое нахальство сразу оценил, и они быстро подружились. Петьку он звал на ласковый манер Петрушей и в трудные минуты поучал:

– Как говорят у нас на флоте: не ссы в тумане – подавай гудки!

Самым оскорбительным выражением в Серёгиных устах было – «по-базовски». То есть не по уму, не по-мужски, не солидно. А пошло это выражение вот откуда: наиболее чтимой на флоте была служба на боевых кораблях, подлодках. Но были ещё береговые базы, их обслуживающие. И вот тех, кто служил там, настоящие мореманы, подводники, к коим, безусловно, относился и Серёга, презрительно именовали «базовскими». Словосочетания «Дави базу!» (т.е. хлюпиков, маменькиных сынков, неумех) и мы не любим «по-базовски» (т.е. всё делаем как надо, на высочайшем уровне) фигурировали в Серёгиной речи непрерывно. Скажем, когда он нёс в двух руках сразу шесть кружек пива или выигрывал «золотой круг» в «тысячу одно», следовало неизменное: а что, мол, тут особенного – мы «по-базовски» не любим.

Они были не разлей вода. В общаге, на занятиях, в стройотряде. Когда пошла мода на межуниверситетские обмены студентами, не задумываясь, отправились на год в Томск – поучиться на здешнем филфаке. Лавров по части учёбы не стяжали, а размеренную жизнь здешних общаг основательно встряхнули. И им не помешало даже то, что как раз в это время Е.К. Лигачёв строил в здешнем краю социализм и по части спиртного тут была большая напряжёнка.

Они вместе ездили на Алтай, на Серёгину свадьбу. В первый же вечер Серёгин отец, приняв со студентами на грудь, наставлял их по мужской части:

– Сына и ты, Петро, запомните раз и навсегда правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не признавайтесь одной женщине, что были с другой. Даже если она сама вас застукнет прямо на ней. Говорите: сам не знаю, как вышло – шёл, споткнулся, упал – и прямо на неё...

Едва обзаведясь семьёй, Серёга стал говорить брату:

– Надобно нам и тебя оженить, Петруша.

Петька в это время ухаживал за своей будущей женой. И однажды она решила, что пора представить его родителям. Не как жениха, разумеется... Позвала своих подруг, Серёгу с Петькой. Только уселись за стол и возникла понятная в таких случаях пауза, Серёга, как заправский тамада, взял инициативу в свои руки и произнёс первый тост:

– Предлагаю выпить за здоровье молодых!

Петька разом вспотел, его будущая жена готова была провалиться сквозь землю, а будущий тесть чуть не подавился рюмкой водки... Но в конце всё как-то обошлось. И спустя какое-то время сыграли ещё одну свадьбу... И даже закончили университет.

Серёга зацепился в Алма-Ате, а Петька с женой уехал по распределению в Усть-Каменогорск, где стал читать на филфаке местного пединститута курс лекций по русской литературе. И тут ему вновь улыбнулась удача. Шефствующий над провинциальным вузом знаменитый Ленинградский Герценовский институт время от времени выделял своему собрату места в аспирантуре. Очередная вакансия пришлась на начало Петькиной педагогической деятельности, и он, ни минуты не раздумывая, отправился завоёвывать северную столицу. Оказалось, он опоздал со своим приездом минимум на полгода, но каким-то образом ему удалось убедить сперва минвузовских чиновников, а затем и руководство кафедры Герценовского института, что это не станет помехой в его учёбе. Меньше чем за неделю он уладил все дела в Москве и в Ленинграде и к самому Новому году прибыл в наш родительский дом, где ожидали от него вестей жена с дочерью и я, проводивший здесь законный трудовой отпуск.

Я встречал его на том самом разъезде «Осенний», с которого он когда-то неудачно стартовал в самостоятельную жизнь и откуда теперь возвращался домой аспирантом. Мы были возбуждены, как два молодых бычка. Нам думалось, что ещё немного – и весь мир будет лежать у наших ног.

...Опылённые его удачей и кое-чем посущественней, мы заполночь болтались по засыпанным снегом совхозным улицам, и разгулявшийся к ночи буран не остужал, а ещё больше пьянил наши горячие головы.

* * *

Как аспиранту брату в институтском общежитии полагалось койко-место в комнате на троих. Он же вознамерился жить в Ленинграде с женой и дочерью. По совету умных людей он пошёл попытать счастья в одно из многочисленных ленинградских профтехучилищ, у которого были какие-то отношения с институтом.

Рыжие, они счастливые – ему опять повезло, он застал директора училища в тот самый момент, когда тот ломал голову над планом политико-воспитательной работы по месту жительства воспитанников. Так что Петькин приход был для него тоже подарком судьбы. Они договорились о том, что аспиранты (это Петька брал на себя) будут регулярно вести в пэтэушной общаге беседы о русской литературе. А Петьке за это была обещана отдельная комната.

– До конца года, – уточнил замдиректора, – а там поглядим.

Как известно, нет ничего более постоянного, чем временные решения. Спустя несколько недель Петька настолько освоился в общаге, что ему было оказано доверие стать здесь вахтёром. Он согласился ещё и потому, что аспирантских денег на прожитьё никак не хватало, но в качестве дополнительной льготы со временем вытребовал себе ещё одну комнату. Теперь в одной, попросторнее, они жили с женой и дочерью, а в другой, смежной, у них было что-то вроде кухни и кладовой.

В этой второй останавливался и я во время моих нечастых наездов к брату. Мне хорошо спалось в крохотной, похожей на пенал комнатухе, на узкой, задвинутой в угол железной койке с продавленной сеткой, какие теперь вряд ли где встретишь. На правах хозяина брат водил меня по городу. Мы бродили по Невскому, Летнему саду, ездили в Пушкин, Павловск, Петергоф. Иногда он для контраста заводил меня в старые ленинградские дворы – серые, мрачные, похожие на каменные колодцы... Нам было хорошо вдвоём, мы очень дорожили этими нечастыми встречами.

Все три с половиной аспирантских года Петька прожил в той самой пэтэушной общаге, сутки работая, трое отдыхая – то есть занимаясь тем делом, ради которого приехал в Ленинград. Но поскольку большая часть его жизни проходила именно в общежитии, есть смысл хотя бы кратко рассказать о некоторых его обитателях. Вместе с ним тут жил аспирант Петя из Кустаная или Петропавловска, загремевший от ленинградского житья-бытья в психушку. В комнатах по соседству обитали милиционеры и военные с жёнами и детьми. Среди его знакомых был некто Миха Козлов, когда-то студент того самого Герценовского института. Специфическое общежитское бытие его настолько засосало, что он постепенно растворился в нём, стал его частью. Институт бросил, а жить продолжал здесь, исполняя обязанности дворника.

К Петьке Миха относился с большим пиететом. Во время дежурства приходил к нему на вахту, сидел часами, ведя умные разговоры. А заканчивал их неизменным:

– Нет, своих детей я приведу учиться к тебе и только к тебе... – и пояснял: – Дядя Петя плохому не научит.

К концу своего аспирантства Петька сменил Миху на посту дворника, а тот, в свою очередь, занял ещё более высокую ступень в общежитской иерархии, заполучив место сантехника. Этому ремеслу Миху выучил бывший сельский житель – пятидесятилетний Фёдор Михайлович по кличке Достоевский. Как он затесался в пэтэушную общагу, никто не знал, да это было и неважно – казалось, он был тут всегда. Фёдор Михайлович виртуозно изъяснялся русским матом. Другими его достоинствами были поистине золотые руки и уникальный предмет мужской гордости, длина которого в боевом положении составляла 23 сантиметра (на спор замеряли). Так что от недостатка женского внимания Фёдор Михайлович не страдал, время от времени поджениваясь и разводясь. Когда Фёдор Михайлович, устранив очередную неисправность, слышал слова благодарности, веско, со значением отвечал:

– Спасибо не булькает!

Каким-то образом Петьке удавалось совмещать эти две свои жизни – фантазмагорическую общежитскую и официальную аспирантскую. Конечно, ему приходилось крутиться, зато он вовремя сдал кандидатский минимум, написал приличную диссертацию, защитился.

На этом заканчивается романтический период жизни брата Петьки и начинается другой её этап, в котором он предстаёт уже Петром Дмитриевичем. Но об этом как-нибудь в другой раз, если будет время и желание...

У сестры

Дом стоит на отшибе. Он весь в тени деревьев, среди которых не только старожилы Железинки клёны и великаны-тополя, но и – диво-дивное для здешних усадеб – уже набравшие силу сосны. В жаркий летний день во дворе пахнет смолой и хвоей – почти как в бору.

В этом доме лет десять назад обосновались наша сестра Наталья и её муж Николай. Мы с братьями и моими детьми любим бывать здесь, сочетая отдых с помощью сестре и зятю в их хлопотах по хозяйству.

Приезжаем чаще летом, на исходе дня. Небольшой узкий дворик чисто выметен – сестра готовилась... Завидев нас, визжит, суетится, вертится юлой крохотный кобелёк Лёпка – просится на волю. Всех нас он знает и рассчитывает на

заступничество. Но сегодня этот номер, кажется, не пройдёт... Едва обнявшись с нами и приняв наши немудрённые гостинцы, сестра с самым грозным видом направляется к Лёпке. Тот вертится ещё неистовей.

– Ты рыл? – нарочито строго вопрошает сестра. – Зачем ты опять рыл? – потом, обращаясь к нам, негодует: – Всю землю возле будки перепахал – уже и била, и ругала...

Лёпка виновато тупит голову, делается ещё меньше ростом, всем своим видом демонстрируя глубокое раскаяние...

В этот раз Лёпке повезло. Мы с братом Петькой прихватили с собой моего младшего сына Пашку, он умоляюще смотрит на тётку, безмолвно прося пощадить Лёпку, и сестра великодушно дарует ему свободу. Тот на радостях начинает бешено нарезать круги по всей усадьбе.

Глядя на беснующегося от радости Лёпку, начинает проявлять беспокойство и молоденькая сучка Тинка, помесь колли и овчарки. По сравнению с кривоногим, вечно грязным, напрочь лишённым какой бы то ни было растительности Лёпкой Тинка – настоящая красавица: у неё длинная умная морда, опрятная золотистая шуба. На нас Тинка смотрит с некоторым интересом, доброжелательно, но без лёпкиного подобострастия. Собака она достаточно воспитанная, умеет выполнять команды.

Правда, и с Тинкой случился недавно казус: она оценилась. И в этом не было бы ничего странного, если не иметь в виду то обстоятельство, что всё время она проводила на цепи и вряд ли бы подпустила к себе чужака. Сестра с зятем недоумевали и грешили на любвеобильного Лёпку. Он неисправимый блядун. Во время гона Лёпка, вывернувшись из ошейника, по трое суток не приходит домой, обхаживая всех своих соседских подружек. Как Лёпке удалось «угговорить» Тинку, годившуюся ему во внучки и смотревшую рядом с Лёпкой, как великан по сравнению с лилипутом, остаётся загадкой. Но факт, как говорится, налицо...

А вообще у сестры живности полон двор. Вот уже взрослые коты Тиша и Парамоша, сытые, гладкие, как две капли воды похожие друг на друга. Они почти круглый год живут на улице, сами добывая себе пропитание. Несмотря на поразительную внешнюю ухоженность и некоторую флегматичность, коты они отчаянные – перевели всех крыс в сарае, от которых раньше не было никакого спасу. Потом один, кажется, Парамоша, стал хулиганить – потаскивать своих и соседских цыплят. И тогда зять отвёз его в соседнее село, километров за пятнадцать. Спустя несколько дней слегка потрёпанный Парамоша как ни в чём не бывало объявился дома. И с тех пор не безобразничает... А сейчас оба кота, сидя на небольшом крылечке у летней кухни, ожидают, пока сестра подоит корову и угостит их парным молоком. Это ритуал, который никогда не нарушается...

В доме у сестры живёт кошка Маруська, мать Тишки и Парамошки, старая и очень умная. Сестра разговаривает с ней – когда ласково, когда требовательно, и кошка всякий раз отвечает ей своим кошачьим писком. У Маруски есть ещё одна поразительная способность: как бы ты её ни положил – на колени, на руки, рядом с собой – она может оставаться в том же положении очень долго, демонстрируя тем самым поразительную приспособленность к жизни и обстоятельствам.

У сестры большое хозяйство – куры и цыплята, корова Ночка, пара свиней, несколько овец и коз, индюки. Впрочем, идея завести последних принадлежит зятю. Он взял пару на развод в соседней Захаровке, чтобы через год-два обеспечить семью диетическим мясом. По весне индюшки исправно несутся, но индюшата почти не выводятся. Зять грешит на индюка, которого сестра окрестила Семёном. Внешне Семён столь надменен, уважаем и самодостаточен, что поневоле заподозришь: до индюшек ли такому? Вконец разочаровавшись в достоинствах индюка-производителя, зять в прошлом году порешил его. Потом хвалился: «Вышло семь килограммов чистого мяса!».

В небольшом козьем стаде безраздельно царствует старый козёл Борька – с белой стариковской бородкой и шершавыми витыми рогами. У Борьки высокомерный, нахальный взгляд, он коварен и зол и может любому задать трёпку. Из всех нас он признаёт одну сестру, которая с ним особо не церемонится. И в случае чего нещадно лупит.

...Мы с братом колем дрова. Со звоном разлетаются поленья, жмутся в своём загоне козы. А Борька тут, рядом, – всё ему нипочём. Зная, что от него можно ждать любой пакости, брат миролюбиво говорит:

– Ты бы посторонился, Борис, а ну как поленом в лоб получишь!

Козёл недружелюбно, не мигая смотрит на него своими красными глазками, будто говоря: «Чего это мне уходить? Это мой двор – сам иди!».

– Ты прав, Борис, мы оба крутые парни, – не унимается брат, – чего нам с тобой делить?

Борька трясёт в ответ бородой... Мы ему явно не нравимся. Надо как-то налаживать отношения. Но в этот момент сестра за какую-то провинность «отвязывается» на зятя. Характер у нашей сестры – ещё тот, и зятя она понуждает от всей души. Эпитеты, которыми она при этом его награждает, по некоторым обстоятельствам я вынужден опустить...

Впрочем, и зятёк наш – крепкий орешек. Хорошо изучив бешеный нрав супруги и зная то, что запала её надолго не хватит, зять обычно применяет в таких случаях тактику пассивной обороны – молчит или вяло отрёхивается. Но, бывает, и он не выдерживает. Как-то привёз из города по её заявке конфет. Конфеты сестре не понравились, и когда она понесла его по кочкам, зять не долго думая взял весь кулёк и выбросил на дворе в лужу... А я в это время приехал к ним и застал сестру за весьма странным занятием – она огородной тяпкой выуживала кулёк из лужи.

– Чего это она, Михалыч? – спросил зять.

– Сама, блин-ешь-твою-мать, заказала, а теперь я, блин-ешь-твою-мать, виноват, – загадочно ответил зять.

– Ну что ж, вполне исчерпывающе и ясно, – согласился я, – чаем-то напоите?

...На этот раз миротворческих усилий не потребовалось. Из сарая появились зять с невозмутимым бронзово-коричневым от загара лицом и слегка покрасневшая сестра.

– Ну что, Михалыч, завтра на говны? – любопытствовал брат.

– Уж засрались так засрались, – снова зыркнула на зятя сестра, – сколько за тебя мои братья навоз будут убирать?

– Ничего: пусть маленько поработают, чтобы знали, как мясо достаётся, – парирует зять. Он знает, что мы его любим, и не упускает возможности подшутить над нами, как, впрочем, и «припахать» нас на своём подворье.

Потом мы наскоро умываемся и идём к летней кухне, где сестра собирает на стол. Уже совсем стемнело, на угольно-чёрном небе выпали неправдоподобно яркие и крупные звёзды, каких никогда не увидишь в городе. Звенят невидимые в ночи комары, вкусно пахнет дым братовой сигареты, смешиваясь с ароматом цветущих у входа в кухню вьюнков. Мы больше молчим, чем говорим. На душе хорошо... Спокойно...

Кусочек счастья

Студёное зимнее утро. Матовое солнце равнодушно висит над горизонтом: светит, но не греет. Мороз пробирает до костей, и я начинаю приплясывать, чтобы хоть как-то согреться...

Мне одиннадцать лет. Я жду открытия библиотеки. И для этого есть весьма существенный повод. Все детские книжки, умещающиеся в библиотеке на одной-единственной полутораметровой полке, я давно перечитал, а вчера был завоз – сам помогал таскать. И вот дожидаясь библиотекаршу, а она, как назло, не торопится.

– Ты чего тут мёрзнешь? – слышу наконец знакомый голос.

– Вас жду, – отвечаю я обрадованно.

– Так я сегодня новые книги не выдаю – их зарегистрировать надо, – мимоходом замечает она и, бросив взгляд на мою заколоченную фигуру, добавляет: – Ладно, заходи – хоть погреешься.

Заходить после всего услышанного не хочется, но надежда ещё теплится во мне, и я через тёмный коридор пробираюсь за ней в тесноватую, всего из двух комнат, библиотеку.

Доставленные вчера книги сложены на двух столах и на полу рядом с ними. Среди них и желанный том, который я ещё вчера заметил. Из-за него и торчал на морозе, ожидая библиотекаршу.

Она успела раздеться и теперь усаживается за стол, поднимает ко рту покрасневшие ладони, дышит на них. Я по-прежнему стою у двери. Жду, пока на меня обратят внимание.

– Вообще-то не положено, – она говорит, будто сама себе возражает, – но ладно уж – вчера таскал, сегодня мёрз... Какую тебе?

– Вот эту! – нужная мне книжка где-то в середине стопки. И пока библиотекарша извлекает её, сердце у меня замирает: вдруг ошибся – и книжка не та, ведь ворошить всю грудку заново она, конечно, не будет.

– Гайдара? – вопросительно-утвердительно спрашивает она.

Та! Я торопливо киваю.

Она записывает название в мою потрёпанную, со вкладышем, карточку, почему-то громко именуемую читательским формуляром. Я мигом расписываюсь и на рысках устремляюсь домой.

Я ещё не знаю, что там, в книжке, но душа моя сладостно поёт в предвкушении чтения. Это потому, что Гайдар мне немножко знаком: «Р.В.С.» прочитал сам, «Чука и Гека» слушал по радио...

...Моё любимое место – в спальне у окна. Сквозь заледенелые двойные стёкла пробивается солнечный свет и уже чуть-чуть греет. Синяя, с шершавинкой, обложка приятно холодит пальцы. Стараясь не спешить, открываю плотно спрессованные (ещё никем не тронутые!), слегка потрескивающие страницы, читаю название – «Дальние страны»...

Проходит какое-то мгновение, и я погружаюсь в удивительный мир, бесконечно загадочный и далёкий, и вместе с тем такой мне близкий и понятный. Я растворяюсь и плыву в нём – вместе с его героями...

Тепло, тихо, уютно. Прекрасные мгновения – слагаемые детского ощущения счастья – многогранного и многоликого.

За день до Первомая

Наша память избирательна и прихотлива. Почему одно помнится, а другое забывается? Мы не всегда это можем сами себе объяснить... Например, я помню мгновения, в которые впервые осознанно ощутил себя счастливым. Хотя повод к этому очень многим покажется до ничтожности несущественным.

Меня включили в сборную школы, отправляющуюся на районные соревнования. И вот как это произошло. Я тогда учился в шестом классе и особыми спортивными данными, увы, отмечен не был, особенно по части лёгкой атлетики. Несколько лучше у меня обстояли дела со спортивными играми – волейболом и баскетболом, которые входили в обязательную программу соревнований. И я страстно мечтал быть включённым в заветную шестёрку счастливых, которым доверяют отстаивать честь родной школы, однако «не поглянулся» тренеру. Его звали Курмет Жусупов, он был на три класса старше нас и на общественных началах готовил «спортгровиков» к олимпиаде районного значения.

Мне сразу было дано понять, что на основной состав могу не рассчитывать, но я всё равно ходил на все тренировки. На таких, как я, те, на ком Курмет остановил свой выбор, оттачивали игровое мастерство. Обычно мы играли пару таймов в баскетбол, после чего основная команда оставалась ещё на свою собственную тренировку, а все остальные переходили в разряд болельщиков или отправлялись домой.

И вот однажды после одной из наиболее жарких схваток, в которой мы, дублёры, разумеется, проиграли, мне, единственному из них, велено было остаться на площадке с основным составом.

– Побросай в кольцо, – неопределённо сказал Курмет, как бы давая понять, что у меня появился шанс, но также и то, что он ещё ничего не решил.

Я был готов бросать в кольцо истрепанный футбольный мяч (им мы пользовались за неимением баскетбольного) не только весь вечер – всю ночь... И не поверил собственным ушам, когда услышал курметовское:

– Завтра на тренировку – как штык...

Последнее было, разумеется, лишним. Я и в «вольноиграющих» не пропустил ни одной.

На следующий день был праздник. Первое мая. Мы с соседскими пацанами ходили за совхоз в поле. Леса стояли ещё полные воды от недавно растаявшего снега, а на подсохших возвышенностях уже проклёвывался густо-зелёный дикий чеснок. Мы щипали его и ели. Пахло оттаявшей землёй, от берёзовых колков разливалась прохладная свежесть. И куда бы ни посмотрел, о чем бы ни подумал, всё время, каждую минуту помнил: «Теперь я в команде, сегодня на тренировку...». Или наоборот: «Сегодня на тренировку. Теперь я в команде...».

И я пришёл на ту тренировку. Кажется, один-единственный из всей команды... И был горд тем, что наш суровый Курмет не отправил меня по этому случаю домой. Мы с ним тренировались вдвоём...

Последний матч

После девятого класса меня взяли играть за совхозную сборную команду по футболу. Мне выдали оранжевую футболку под номером десять и старые растоптанные бутсы. Я понимал, какое мне оказано доверие, и всеми силами старался его оправдать. Старанием я пытался восполнить недостаток природных способностей.

По правде говоря, это удавалось не всегда. И чаще всего в послематчевых разборках ветераны команды Толик Шарипов и Яшка Галицкий высказывали мне своё неудовольствие. И я не обижался – молчал или говорил, что постараюсь следующую встречу отыграть лучше... А про себя думал: пусть ругают, лишь бы из команды не выгнали.

Иногда за меня заступался центровой защитник Герка Гордеев. Герка имел устрашающую внешность и весил больше центнера (его держали в команде для психологического запугивания соперников, хотя по натуре он был очень добр).

– Да ладно вам, – утробно гудел Герка, – ну молодой... Научится ещё.

Со временем я и впрямь кое-чему научился, и ругать меня стали реже.

Но лучшим в нашей совхозной команде мне было быть не суждено – я числился в середняках. Играл я на правом краю, в нападении, однако голами свою сборную не баловал. И всё же был в моей спортивной жизни матч, за который мне и теперь не стыдно.

В то лето мы, отыграв первый круг, вышли в финал районного первенства. И я тоже должен был ехать на него. Но я уже закончил школу и поступил на работу в районную газету. Стало быть, играть за родной совхоз мне теперь было нельзя. Однако председатель районного комитета по физкультуре и спорту, с которым я успел познакомиться, разрешил мне доиграть сезон в составе совхозной команды.

Решающим оказался первый матч – с нашими соседями из совхоза «Весёлая роща». Игра у нас почему-то не клеилась, и к концу первого тайма мы проигрывали со счётом ноль – один. И в этот момент я забил гол. Издалека, метров с двадцати – двадцати трёх. Дело в том, что мне иногда удавались особые удары – удары после касания мяча о землю, когда энергия отскока умножается энергией удара собственной ноги... Тут самое главное – поймать момент отскока, и я его поймал. Конечно, я не был уверен, что забью гол, но мяч, описав большую дугу, угодил точно в левое перекрестие ворот. Вратарь видел тот мой удар, но недооценил... Это была чистейшая, классическая «девятка». Я глазам своим не верил. Но факт оставался фактом, и меня уже тискали партнеры по команде.

– Ребята, надо выигрывать эту встречу! – сказал в перерыве совхозный комсорг (а по совместительству и методист по спорту) Володя Давиденко. – Яшка, Толик, что молчите?

– Беру на себя гол! – заявил Яшка Галицкий.

– И я беру, – сказал Толик Шарипов.

Остальные молчали, зная своё место.

Во втором тайме мне опять улыбнулось спортивное счастье. И это был уже не случайный, а трудовой гол. Кто-то из наших издалека «навесил» на «веселорощинскую» штрафную. Там был их защитник, и он готовился принять этот мяч... А я бежал к месту его приземления – именно мне он предназначался «на выход». Я бежал, и в этом было моё преимущество перед ожидающим мяча противником. И я «прошёл» его – этого сильного, опытного защитника, прошёл на скорости, увидел заматавшегося в воротах вратаря и за мгновение до удара почувствовал: «Будет гол!» (Никогда с тех пор мне не довелось больше испытывать этого удивительного чувства уверенности – ещё до самого удара). И мяч заплескался в сетке ворот.

Это был единственный гол во втором тайме, который принёс нам столь желанную победу. Ещё одну встречу мы сыграли вничью, а одну проиграли, получив в итоге почётное второе место.

Домой наша команда возвращалась через райцентр. По пути завезли меня. Я не хотел оставаться, хотел ехать вместе со всеми, отметить удачу... Но я уже работал здесь и должен был остаться... Яшка Галицкий и Толик Шарипов открыли бутылку водки (это была лимонная водка жёлтого цвета), налили по полстакана себе, плеснули на донышко мне.

– Нормально отыграл, – сказал Яшка.

– Игру сделал, – оказал Толик. И мы выпили – втроём. Потом они уехали. А я остался. Хотя душа моя уехала с ними вместе...

Признание

После окончания школы я пошёл работать в редакцию районной газеты «Ленинское знамя», с которой больше года сотрудничал. Не могу сказать, что дела у меня пошли как по маслу. Тяжелее всего давались встречи с людьми: мои собеседники были много старше меня, мне казалось, они видят меня насквозь – всю мою никчёмность – и говорят со мной исключительно из-за своей природной крестьянской воспитанности. А особенно трудно мне приходилось дома, в родном совхозе, где все меня знали как облупленного, а мне надо было расспрашивать односельчан о производстве, успехах, проблемах...

И вот пролетели два года, и я, неожиданно для самого себя, поступил на факультет журналистики КазГУ. Уволился с работы, приехал домой в совхоз к родителям, чтобы собрать вещи – уезжать надо было минимум на полгода. Спать лёг поздно – попрощался с друзьями, бродил вместе с ними по дорогим сердцу местам, с которыми предстояло расставаться. Утром мать будит чуть свет.

– Вставай, к тебе мужики.

– Какие мужики, мам... Сколько времени?

– Скоро семь, – отвечает мать, – а мужики из бригады... Вставай-вставай!

Ничего не понимая, я встал, вышел на улицу. У нашего дома действительно была бригадная бортовая машина-развозка, с полным кузовом механизаторов. Бригадир, приоткрыв дверцу, одной ногой стоял на подножке.

Я поздоровался.

– Тут, видишь, какое дело, – без предисловий начал бригадир, – урожай в этом году хороший.

Я сдержанно кивнул: знаю...

– Ну вот... А у нас машин на вывозку зерна не хватает. Комбайны могут молотить день и ночь, а приходится стоять. Так что выручай, Дмитрич!

Так меня в жизни ещё никто не называл, и я сразу заволновался...

– Да как же я помогу?

– Ну как... Ты же в газете – напиши.

– Да я уже не работаю, учиться вот еду, в Алма-Ату.

– Ну так и не теряй время, – подытожил бригадир, – садись и пиши, чтоб добавили машин.

И они уехали. А я пошёл писать критическую заметку в «районку» – о том, что люди вырастили хороший урожай, и теперь какие-то бюрократы не дают им работать в полную силу.

...Недавно прикинул, и оказалось, что мой журналистский стаж перевалил за четверть века. Случалось за эти годы всякое – были и приятные минуты признания моих скромных заслуг на газетном поприще. Но, кажется, не было ничего дороже той просьбы бригадных мужиков из такого теперь далёкого августовского утра.

Как я был Ломоносовым

После окончания университета я попал по распределению в редакцию областной газеты. Странная это была редакция. Все её сотрудники, включая завхоза, имели визитные карточки (тогда – большая редкость), а по меньшей мере треть журналистов не имела жилья. В этих условиях я, успевший к тому времени обзавестись женой и ребёнком, мог в лучшем случае рассчитывать на общежитие.

Выколачивать его взялся первый замредактора – П.А.П., как его у нас называли.

Наверное, в каждой редакции есть такой человек... Вот и наш тянул неблагодарный воз всевозможных хозяйственных хлопот, возился с практикантами, доставал дефициты (от входящих тогда в моду паласов до куриного помёта на дачу нашему единственному персональному пенсионеру). П.А.П. был потрясающе неумным в жизни и потрясающе непредсказуем. Закончив вскоре после войны Высшую партийную школу при ЦК КПСС, он отказался от престижного кресла редактора газеты одной из автономных республик, решив вернуться на милый сердцу Алтай. То было время великих хрущёвских реорганизаций, когда вместо районных газет стали создаваться объединённые. Одну из таких, рассчитанную сразу на пять районов, и возглавил П.А.П. И начал он с того, что,

сбрав всех бывших редакторов районов, без обиняков заявил им: они не только никудышные редакторы, но и никудышные журналисты, а посему работа во вновь создаваемой газете – занятие не для них... Впрочем, и сам П.А.П. поруководил недолго: несколько месяцев спустя разошёлся во мнениях с начальником местной милиции, в результате чего тот остался без двух зубов, а сам он – без работы.

Дело и вовсе могло принять уголовный оборот, если бы П.А.П., не подхваченный единым порывом, захлестнувшим всю страну, не оказался на целине. Правда, проявить до конца свои способности в главной газете целины он просто не успел – Целинный край был расформирован за ненадобностью творцом будущего застоя, а с ним почил в бозе и краевая газета.

Так П.А.П. волею судеб оказался в нашей области, где и возглавил одну из многотиражек. Конечно же, рамки заводской газеты были тесны для его кипучей неукротимой натуры, и как-то на журналистской летучке, оказавшись в кулуарах рядом с редактором областной газеты, он с вызовом спросил:

– Ну что, долго ещё будете меня гноить в многотиражке?

Тот сперва опешил от подобного нахальства, но, будучи человеком воспитанным, всё же осведомился: в чём, собственно, дело?

П.А.П. дал понять, что не прочь перейти на работу в областную газету.

– И в каком качестве? – не без ехидства спросил редактор.

– Да хоть уборщицей, – с присущей ему непосредственностью заявил П.А.П.

Ответ редактору настолько понравился, что уже через два дня в областной газете появился новый литраб. В отделе партийной жизни, к которому П.А.П. был прикреплен, он скоро развил такую бурную деятельность, что опасавшийся конкуренции заведующий выдвинул его на заведование другим отделом – сельскохозяйственным. Это была родная стихия П.А.П. – он опять оказался на коне. А тут кстати пришла пора первому заму отправляться на пенсию, и П.А.П. по праву занял этот пост.

Много лет спустя П.А.П. в задушевной беседе признавался мне: случившееся настолько потрясло его, что, просыпаясь ночами, он не уставал изумляться, спрашивая сам себя: «Твою мать, неужели это правда – я, Петька П., – первый зам?!».

Впрочем, надо отдать ему должное. Сделав столь головокружительную для провинции карьеру за каких-то два-три года, П.А.П. ничуть не изменился: он был всё так же неутомим в жизни и непредсказуем в поступках. Для него не существовало авторитетов в привычном смысле слова... Вот ему звонит первый секретарь привилегированного хлебного района – недоволен критической публикацией. П.А.П. слушает, потом постепенно «заводится» и, наконец, исчерпав аргументы, выпаливает:

– Ну и что: вас, первых секретарей, в области двенадцать, а я один! – и кладет трубку.

Не слишком церемонился он и в обкоме партии... Идёт очередной инструктаж в сельхозотделе: новый первый секретарь обкома поручил еженедельно публиковать сводки по всем видам сельскохозяйственных работ и сдаче всех видов животноводческой продукции. Указание дурацкое – получается, надо давать по две-три сводки ежедневно. Но возразить никто из его ретивых помощников не осмелился, и теперь они «выкручивают руки» П.А.П.

– Кокчетавский вариант не пройдёт! – заявляет П.А.П., и у завсельхозотделом отвисает челюсть (новый «первый» прибыл к нам из Кокчетавы, где он буквально замордовал местных газетчиков публикацией этих самых сводок)... А эта фраза, кстати, стоила П.А.П. республиканской персональной пенсии. «Первому», конечно же, донесли о выходке строптивого зама, и он наотрез отказался подписать ходатайство в республику, когда П.А.П. после бессменной тринадцатилетней вахты на этом сумасшедшем посту, пережив трёх редакторов, уходил на пенсию...

Впрочем, всё это будет потом. А тогда, сразу после инструктажа, П.А.П. долго проработывали в родном отделе пропаганды и агитации. Но он и не подумал каяться, заявив напоследок:

– Всё равно – газета выше обкома!

Две эти фразы надолго получили самое широкое хождение в редакции. «Кокчетавский вариант не пройдёт!» – говаривали мы друг другу, когда речь шла о безнадежном деле. А в трудные минуты, когда бывало уже нечего сказать, кто-нибудь произносил: «Ничего, всё равно – газета выше обкома!» – и становилось как будто полегче...

Время, о котором я пишу, юмористы впоследствии окрестили расцветом застоя. Нетрудно представить, насколько не вписывалась неумная натура П.А.П. в номенклатурную обойму, в которой ему полагалось по должности находиться. Если добавить к тому же, что ни многочисленные «разборки» в обкоме, ни собственный «боевой» опыт, ни предпенсионный возраст, по сути, ничему не научили П.А.П. и никак не меняли коренных свойств его характера, можно догадаться, каково жилось ему и его подчинённым. К последним относился и я. П.А.П. заметил меня ещё в практикантах, взяв под свою опеку, так что мне довелось полной мерой испытать и его отеческую (в прямом смысле) заботу, и его деспотическую любовь. Он мог, к примеру, спустившись вечером со своего Олимпа, зайти в наш тринадцатый кабинет и забрать меня к себе домой ночевать... А мог по пустячному поводу устроить выволочку. И обижаться на него было не то что не принято – неудобно: доброта и заботливость по отношению к другим всегда преобладали в нём над сумасбродством и непредсказуемостью. Зато его самого два последних свойства «вели» всю жизнь и в значительной степени творили его судьбу. Но это, впрочем, тема для отдельного разговора...

Итак, П.А.П. предстояло выбить для моей семьи комнату в общежитии. Он вызвал меня к себе и объяснил ситуацию: все крупные предприятия города обложены данью, в их общежитиях кто-нибудь из наших уже живёт. Поэтому

пойдём на химзавод, где директором у него давний знакомый – бывший главный инженер того завода, на котором П.А.П. был редактором многотиражки.

Завод, куда мы направились, был особым – суперсекретным. Никто из наших журналистов представления не имел о том, что он выпускает. Зато нашей газете (единственной в стране!) было дозволено упоминать о нем на своих страницах. Но не более того.

...С полчаса мы получали пропуска в заводоуправлении, ещё столько же прождали в приёмной, пока наконец не попали в директорский кабинет. Кабинет был огромный, как футбольное поле. Стол директора располагался у противоположной от входа стены, в углу, и с каждым шагом по упруго пружинящему диковинной расцветки ковру таяла моя уверенность в успехе нашего предприятия...

Тут просто необходимо сделать ещё одно отступление. Проработав в газете несколько лет и побывав на аудиенциях у порядочного количества начальников, я долгое время никак не мог понять – зачем им такие громадные кабинеты. Пока один из них, руководивший по меньшей мере лет тридцать, не раскрыл мне глаза.

– Зелен ты, братец, жизни не видел. А тут целая наука – философия, если хочешь знать... Вот ты представь: идёт ко мне сотрудник или того хуже – посетитель... И к тому же настырный. Сперва его моя секретарша помуржит в приёмной как положено – у него смелости-то и поубавится. Разрешают ему войти. Он дверь открывает, думает, что за ней кабинет, а за ней другая дверь... Тоже, знаешь ли, отрезвляюще действует... Так что пока войдёт – от него половина прежнего останется... А тут ещё кабинетище – заблудиться можно, и до моего стола ему идти да идти... Пока ко мне доберётся – считай готов, бери его голыми руками... А ты говоришь – зачем?

У меня сложилось впечатление, что сказано всё это было на полном серьёзе. И уж что-то, а душевное состояние воображаемого просителя откровенный начальник передал на удивление точно. В случае, о котором я рассказываю, размеры и роскошь директорского кабинета настолько подавляли, что пока мы добрались до него самого, меня действительно можно было брать голыми руками. Сесть нам было предложено у приставного столика, жалким отростком лепившегося к массивному директорскому столу. Слева под рукой у директора уютно устроился ещё один столик – с телефонами. Их было не меньше десятка.

– «ВЧ»? – уважительно спросил П.А.П., указав движением бровей в сторону одного из аппаратов – с гербом в центре циферблата.

Директор небрежно кивнул.

– Третий в области, – уточнил П.А.П. (разумеется, для меня). – Один – у первого секретаря, второй – у председателя облисполкома, а третий – здесь. Снимаешь трубку и говоришь с секретарём ЦК...

Как я потом понял, таким образом он готовил плацдарм для будущего наступления: что может значить для обладателя такого телефона какая-то пустяковина – комната в общежитии. Не знаю, как на директора, а на меня «артподготовка» подействовала. «ВЧ» в моем сознании ассоциировался со следующей картиной: Великая Отечественная – командующий фронтом Жуков говорит по прямому проводу со Сталиным...

– Да, – вздохнул П.А.П., – это, конечно, уровень – на такую орбиту вышел...

Директор поначалу благосклонно кивал, потом стал постукивать пальцами по своему полированному столу.

– Да у нас, собственно, мелочь, – сориентировался П.А.П. и открыл принесённую с собой папку, – вот, редакция ходатайствует...

Директор мигом поймал ключевую строчку нашего прошения, благостное выражение с его лица как ветром сдуло:

– Ничем помочь не могу – своих селить некуда.

Иного я и не ожидал и погрузился в ещё большее уныние...

П.А.П. пытался продолжить разговор, напирая то на уровень директора, которому должна приличествовать широта природы, то на благотворительность, которую проявляют в подобных случаях по отношению к редакции руководители других предприятий, то на их прежнее знакомство... Но ни лесть, ни уговоры, ни другие ухищрения на директора не действовали – это был крепкий орешек. Однако и наш, как оказалось, не лыком шит...

П.А.П. вдруг стремительно встал и, указав на меня пальцем, с обидой спросил директора:

– А вы хотя бы представляете, кто перед вами?

– Кто? – слегка смутился тот.

– А я вам скажу, раз так, – тоном, не предвещающим ничего хорошего, сказал П.А.П. – Круглый сирота. Самородок. Целинник. В университет чуть ли не босиком пришёл!

Я попытался издать некий протестующий возглас. Мои родители в ту пору были, к счастью, живы и здоровы, а поступать в университет я прилетел на самолёте... Но П.А.П. на всё это, похоже, было уже наплевать – его неудержимо несло.

– Молчи! – бросил он мне. – А вы слушайте! – это директору.

– С отличием закончил, – рубил он фразу за фразой, – женился, ребёнка родил, в газету пришёл...

Я был готов сквозь землю провалиться – мне уже не нужна была комната, хотелось одного – как можно быстрее уйти отсюда.

А в голосе П.А.П. слышались уже трагические нотки:

– А может быть, это наш павлодарский Ломоносов? – вопрошал он. – Вы что, талант хотите загубить?..

Не знаю уж, добила ли директора эта зажигательная речь, или он просто не выдержал осады, но неприступность его сменилась неопределённо-руководящим: «Надо посмотреть...».

Удивительно, но факт: спустя несколько дней я вселился в девятиметровую общежитскую конуру, «временно, в виде исключения, выделенную редакции». Чувство стыда куда-то улетучилось. Я был горд тем, что впервые в жизни обладаю лично мне выделенным жилищем. Я был готов достойно принять на свою жилплощадь жену и полугодовалого сына...

...Сын теперь девятиклассник. Недавно пришёл из школы в расстроенных чувствах: в классе его дразнят Ломоносовым.

– Успокойся, это у нас семейное, – сказал я.

Золотое слово

Моя мать – человек особого дара.

На все случаи жизни у неё есть своя пословица или поговорка. И мне кажется, что это тоже по-своему характеризует её, как истинно русскую мудрую женщину, всё повидавшую в жизни, а потому хорошо знающую, что в ней почём.

* * *

Семья у нас была по деревенским меркам средняя: двое взрослых да четверо детей. Главной пищей на зиму считалась картошка, и садить её полагалось много. Впервые приехав в поле уже как работник, я оббежал по периметру наш участок в двадцать соток и не утерпел:

– Неужели мы всё это выкопаем?

И услышал в ответ материно:

– Глаза боятся – руки делают.

И сколько же раз в жизни так бывало: приступая ко всякой большой работе, думал – ни за что не осилю. Но как-то так выходило, что картошка пропалывалась и выкапывалась, воз сена или соломы наполнялся, а гора берёзовых дров оказывалась перепиленной и переколотой...

И в университет оказалось возможным поступить, и закончить его – тоже... И всякое новое дело, за которое брался с равнодушным сердцем, оказывалось по силам...

Как всё бесконечно просто и бесконечно мудро. И теперь уже я говорю своим детям в минуты жизни, когда они робеют (или ленятся) перед значительной для них работой:

– Ничего: глаза боятся – руки делают.

* * *

В субботу у нас по распорядку генеральная уборка. Обязанности давно распределены: жена стирает, я иду на рынок и в магазин за продуктами, старшие сыновья, поделив комнаты, моют в них полы. Димка обычно заканчивает первым. Иногда мать устраивает ему инспекторскую проверку и, находя огрехи, начинает стыдить:

– Дима, ну разве так моют – нарочно?

– Да я мыл, баба, – канючит он, – мам, скажи...

Тут же следует бабушкино железное:

– Моим глазам свидетелей не надо!

И брак приходится перемывать.

* * *

Сидим за столом. На ужин у нас «непопулярная» у детей пшённая каша. Младший, Пашка, бросает на бабушку умоляющие взгляды, и её сердце не выдерживает:

– Ладно, иди возьми в холодильнике сметану...

– А сметана домашняя или магазинная? – он почему-то предпочитает магазинную.

Мать – к слову, – спрашивая у воображаемого собеседника и ему же отвечая:

– Лежень-Лежень, на́ яичко!

– Да кабы луплённое...

* * *

Димка у нас единственный из всех троих сыновей смуглый. Вот он помылся в ванне (как всегда, наскоро), и жена начинает его подозрительно осматривать – хорошо ли промыл уши, чистые ли руки... Он обижается, уворачивается от неё.

Мать добродушно:

– Да ладно обнюхивать – чёрного кобеля не отмоешь добела.

Эту поговорку приходилось от неё слышать и по другому поводу. Её дальняя родственница приняла обратно своего бывшего мужа – шалопая и забулдыгу – и убеждала мать, что он стал другим человеком. Вот тут-то мать и произнесла опять эту фразу.

* * *

Про людей, не умеющих устроить свою жизнь, не приспособленных ни к какому ремеслу, всё делающих «тяп-ляп», мать говорила так:

– Неудельное дерево!

Или ещё так:

– Эх ты, родила тебя мать, да не облизала!

* * *

К старшему сыну пришли друзья. Акселераты – один здоровее другого.

Мать тут же отреагировала:

– Ну и дети пошли: в зад плюнуть – и то не достанешь.

Вообще же говоря, эта часть человеческого тела фигурировала в её образной речи довольно часто. Так, например, одну мою городскую знакомую, легкомысленную и ветреную, мать охарактеризовала так:

– В поле – ветер, в ж... – дым!

* * *

– Разуй глаза – обуй лапти.

Это её частая реплика в ответ на поиски кем-то вещи, лежащей на самом видном месте.

* * *

Про человека, попавшего меж двух огней и вынужденного с этим мириться:

– Богу молись – и черта не гневи!

* * *

Приехала родственница, рассказывает матери о несчастьях своего сына: только устроился работать шофёром – попал (не по своей вине) в аварию, долго лежал в больнице, выписался – сократили, теперь вот осталось полгода до армии, а на работу нигде не берут...

– Это уж так, – вздыхает сочувственно мать, – бедному жениться – и ночь коротка.

* * *

Про общую знакомую, живущую вполне благополучно, однако вечно сетующую на несуществующие болезни, трудности жизни:

– То хромая, то с родин (т.е. после родов), то кривая – глаз один.

* * *

Встретил в городе совхозную материну подругу: на лицо помню, а фамилию забыл напрочь. Дома пытаюсь матери обрисовать её, но безуспешно – она никак не поймёт, о ком речь...

– Ну вроде твоей двоюродной сестры, – делаю я последнюю попытку.

– Ну да: вроде Володи под вид Кузьмы, – тут же откликается она.

* * *

– Ешьте, дети, – хватай, кум!

Это одна из присказок, наиболее часто употребляемых матерью за столом, когда она видит, что мы не страдаем отсутствием аппетита и мигом сметаем всё, что подаётся. По-моему, фраза не нуждается в особых объяснениях: вполне ясно, каковы дети и как следует вести себя куму, чтобы не остаться голодным.

В случае, если кто-то из внуков сидел за столом с брезгливо-надутым или обиженным видом, мать говорила так:

– Губа толста – брюхо пуста...

То есть будешь дуться – можешь остаться голодным, ведь в крестьянских семьях ели из общей чашки.

Бывало ещё так: кто-нибудь отнекивался, не садился за стол, а потом ел с завидным аппетитом. Мать в таком случае добродушно комментировала:

– Нехотя зять у тёщи поросёнка съел.

Или вот ещё – про отменный аппетит:

– Наша невестка всё трескает: мед – и тот жрёт!

Не любит, если кто-то занимает её место за столом. Всегда говорит:

– С чужого коня середь грязи долой!

* * *

Мать признаёт только близкую родню, с которой поддерживает связь, чем может, ей помогает. Бывает, кто-то с явным преувеличением говорит о своих чувствах к родне дальней, а она знает, что это неправда. Подобную степень родства оценивает так:

– Мы с ним такая родня: у него плетень горел, а я руки грел.

* * *

Димка у нас невысок, щупловат. Но зато лёгкий характером, незлобив, отходчив. Мать, видя, как он подчас нарочито бодрится, с удовольствием констатирует:

– Худому горе не вяжется.

* * *

Иногда мне кажется, что у неё есть присказка на все случаи жизни.

Вот опять пришёл с работы не в лучшем виде – снова проблемы, нелады с начальством. Она – между делом:

– Не горюй: не отпадёт голова – прирастёт борода.

И вроде полегчало.

* * *

Всю жизнь прожившая в селе и только на склоне лет волею судьбы оказавшись в городе, мать не любит тех деревенских, кто «строит из себя» городских, говорит о них:

– В конюшне сидят, а по-горничному кашляют.

* * *

О близком человеке, бездарно потратившем жизнь:

– Прожил, прости Господи, как за пнём высрался!

Убийственная характеристика.

* * *

О человеке незначительном, мелком и тем не менее подчёркивающим свою значимость, вес, влияние, образованность:

– Не вошь кусает, а гнида!

При этом «вошь» звучит в её устах как «увошь». Но та же самая фраза могла адресоваться и нам, её близким, когда в каких-то случаях нам изменяло чувство меры, или кто-то явно преувеличивал свои достоинства и заслуги.

* * *

О любимом, на ком хорошо сидит одежда:

– Нашей Кате всё кстати.

* * *

Кто-то из внуков допытывается:

– Баб, а ты помнишь, ба, ну помнишь, ты говорила...

Она, или вправду забыв, или не желая говорить на эту тему:

– Я столько помню – сколько ты забыл...

* * *

Внуки препираются, доказывая ей, что один опростоволосился меньше другого.

Она отвечает им такой репликой:

– Ну кум и раздолбай: как только корову продал, у него сразу деньги украли, а у меня – только к вечеру...

* * *

Пришла соседка, о чём-то рассказывает, ругает сына, попавшего очередной раз в неприятную историю. Мать, желая её успокоить или не вполне разделяя её возмущения:

– Ну ты это не скажи: на грех мастера нет.

То есть не горячись и не зарекайся: жизнь – штука такая, любой может оступиться, сам того не желая.

* * *

Друг отца, дядя Саша Агеев, пришёл как-то к нам, чтобы «раскрутить» куму на опохмелку.

– Что, кум? – подшучивает над ним мать. – В голове шумит, а в кармане тихо-тихо?!

* * *

Классе в шестом я устроился на работу – полоть лесопосадки. Вставать надо рано – в полшестого, а не хочется. Мать тормозит, приговаривая:

– Вставай-вставай... Кто рано встаёт, тому Бог даёт.

* * *

А внуков она теперь иногда будит с другой присказкой, особенно когда они утром пересыпают:

– Ну хватит вылёживаться – из сна шубу не сошьёшь.

* * *

Сидим за столом. Завтракаем. Мать что-то пригорюнилась и к еде не притрагивается.

– А ты почему, баба, не ешь? – спрашивает младший внук Пашка.

– Ешь, пока рот свеж, – тут же отвечает она, – а завянет – и собака не заглянет.

* * *

Купили Пашке на барахолке китайские кроссовки. С неделю поносил – стали разваливаться. Мы с женой сокрушаемся, а мать посмеивается: «Так вам и надо: дешёвая рыбка – поганая юшка».

То есть не экономьте там, где не следует.

* * *

Пришла в гости материна подруга, рассказывает о последних совхозных новостях. Одно из известий – о том, что их общий знакомый, уже в годах, снова женился – вызывает у матери особое возмущение.

– Ну ты посмотри: у него уже полгроба из зада торчит, а туда же! – сердится она.

* * *

Мать с кем-то говорит по телефону. Видно, ей жалуются. Мать, похоже, соглашается, вздыхает:

– Это уж так: скажешь правду – потеряешь дружбу!

* * *

Димка по какому-то поводу спорит с бабушкой. И каждая сторона, похоже, стоит на своём.

– Как ты не понимаешь, баба, она же крепкая, – убеждает Димка.

– Крепка тюрьма, да чёрт ей рад, – тут же следует в ответ.

* * *

Пашка мастерит из бумаги самолёт. Режет, клеит, сопит, торопится... Что-то у него не выходит – надо браться заново.

Мать, как бы между прочим, сама с собой:

– Акуля, что шьёшь не оттуля?

– А я, маменька, ещё пороть буду.

* * *

Жена утром собирается на работу:

– Какой сегодня день? Неужели среда?

Мать ей в тон:

– Среда подошла – неделя прошла.

* * *

Мать верит в приметы... Так, например, она говорит, что крошить на зиму капусту надо на молодик (с ударением на «и»), то есть на молодой месяц. И мы по вечерам бегаем смотреть на небосклон – как нарождается новый месяц.

* * *

Если к нам кто-то приезжает или приходит с утра, мать говорит:

– Ранний гость – до обеда, – добавляя неизменно: – А поздний гость – заночует.

В равной степени это её выражение может относиться к зарядившему с утра дождю или разгулявшемуся к вечеру бурану.

* * *

Матери нравится, когда её внуки проявляют характер, не пасуют перед трудностями, нарочито бодрятся, если им даже нелегко. В таких случаях она смотрит с одобрением и замечает:

– Не горюха родила! Так и надо.

* * *

О человеке бессовестном, не пытающемся даже скрывать свои явные безобразия:

– Да что о нём говорить: поганому виду нема стыду.

* * *

Кого-то поставили на место, отбрили по заслугам, а мать видела или узнала. Тут же последует непременно:

– И Вася не чешись!

Мол, поделом ему – правильно с ним обошлись, с таким так и надо.

* * *

Кто-то из внуков хитрит, выкручивается, выдаёт желаемое за действительное. Мать с интонациями – в зависимости от ситуации и настроения:

– Ну да... На волка помолка, а заяц кобылу съел.

Или ещё – почти по тому же поводу, но уже слегка сердясь:

– Ишь ты какой – не кривой, а забавный!

А это – скорее иронично-добродушно:

– Хитрый Митрий: в штаны наклал (обычно употребляется более сильное выражение), а говорит: «Заржавело!».

* * *

Что-то у кого-то из наших близких сорвалось, не получилось – вышло совсем не то, что ожидали. И винить вроде некого. Мать констатирует лукаво-беззлобно:

– Обмишулился... Бывает...

А иногда добавляет при этом:

– Кто виноват, что дыроват – сам прохудился!

* * *

А если кому-то повезло, притом явно не по заслугам, она говорит:

– Вот так: хоть сопливый, да счастливый!

* * *

Мать в состоянии крайнего негодования. Изъясняется грубовато, с явной неприязнью и почти не свойственной ей злостью – видно, допекло:

– И крутится она, и крутится... Как сучка в паслёне!

Ни от кого прежде ничего подобного слышать не приходилось.

* * *

Мать рассказывает о хождениях какой-то знакомой по начальству в связи со смертью мужа:

– Ну сходила она к нему на работу, выплакала полторы тыщи денег...

* * *

Подруга жалуется матери на то, что сын перестал ей подчиняться и больше прислушивается к жене. Мать – тут же живо:

– А ты что хотела! Ночная кукушка дневную всегда перекукует!

* * *

Одна наша родственница – дородная и вечно чем-то недовольная, поедом ест своего мужа – спокойного, работающего, может быть, разве немного медлительного.

Я как-то спросил: «Мам, почему он всё это терпит, почему ни разу не ответит ей как следует?».

– Знаешь, сынок, не боится волк собаки – да не хочет звяги.

То есть не хочет человек скандала, крика, шума. Потому и терпит.

* * *

Мать с утра вздыхает:

– Опять плохой сон видела. Видать, что-то у Шурки (старший сын) нехорошо...

– Мам, можно подумать у тебя бывают хорошие сны! – теперь уже сержусь я.

– Ну а как же! – немедленно откликается она. – Вот, например, свиньи.

– А при чём здесь свиньи?

– Значит, кто-нибудь из своих приедет в гости...

– А ещё?

– Говно! – вдруг слышится в ответ.

– Ну а тут-то что за связь?

– Ну как – это к деньгам! Уж сколько раз было.

Как тут реагировать, с чем спорить? Да и надо ли?

* * *

Мать о человеке нелюдимом, малоразговорчивом:

– А он такой и есть: нашёл – молчи, потерял – молчи...

* * *

Сидим всей семьёй за столом. У кого-то из внуков сорвалось с языка явно не то. Мать строго пресекает:

– Укуси себя за язык!

Что означает: не болтай, думай – что говоришь.

* * *

Умер Анатолий Собчак. С экрана по всем каналам льётся елей в его адрес. Мать, которая помнит, что говорили многие в его адрес ещё совсем недавно, в сердцах роняет:

– Не зря люди говорят: как корова сдохнет, так всегда оказывается – такая к молоку хорошая была!

«Хорошая к молоку» – значит высокоудойная. Грубовато, конечно, но как точно по сути.

* * *

Собираем с женой в дорогу одного из сыновей. Считаю предстоящие траты, выдаём деньги «с запасом»: на всякий случай, а останутся – вернёт. Мать по этому поводу замечает:

– Вернёт он, как же: у него, как у попа – сдачи не бывает!

* * *

Матери уже за семьдесят, прибалывает, жалуется – то одно заболит, то другое. Я пытаюсь её успокоить: что же поделаешь – возраст... Она в ответ – живо:

– Ну не скажи: иной и в старости – как чесночок!

* * *

Мать, вернувшись с похорон дальней родственницы, заявляет:

– Хорошо Вере – умерла и лежит себе – полёживает. Наверное, ещё и думает: «Бегайте вы все вокруг – хоть забегайтесь, а мне-то уже всё равно».

* * *

За обедом мать пересказывает свой разговор с одинокой пожилой соседкой из нашего дома: «Говорит: выбелила квартиру. Перемыла все, перестирала и лежу теперь себе – полёживаю – смерти поджидаю...».

* * *

На базаре появились первые местные овощи – редиска, огурцы. Мать отказывается их покупать, обижаясь на торговцев:

– Дерут за эту редиску, прости Господи, как чёрт за грешную душу!

* * *

Мать недолюбливает одного из моих друзей, любителя прихвастнуть. Жене моей говорит о нём, не называя имени:

– Опять «этот» был, уж трыстил-трыстил...

То есть много чего наговорил, хвастался...

* * *

О ситуации, когда не хочется что-то делать, а надо – со вздохом, но бывает и с возмущением:

– Ну да: хоть яловая – а телись!

Можно ли сказать лучше!

* * *

Когда мы с моими друзьями (что поделаешь – бывает) начинаем куролесить, мать в сердцах, но без злобы замечает:

– У людей черти лучше, чем у тебя друзья.

* * *

Если мы покупаем что-то, без чего вполне можно обойтись, мать вздыхает осуждающе:

– Берите, берите – у денег глаз нет...

* * *

А это о недомоганиях – своих и чужих:

– Шелудивому поросёнку и в «петровки» холодно.

«Петровки» – Петров день – православный праздник, который приходится на конец июля.

* * *

Мать сердится на внука, выговаривает:

– Совсем обленился – скоро уже и мух топтать не будешь...

* * *

Мать что-то кроила-перешивала из старых вещей и, поняв бесплодность своей затеи, констатировала:

– Гимно пчэлы – гимно мёд!

По смыслу это близко тому, что из дерьма конфетку не сделать.

* * *

О человеке без характера, без твёрдых убеждений:

– Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга!

* * *

С интересом смотрит по телевизору передачу про то, как в очередной раз «дурят нашего брата» и комментирует:

– Вот обули, так обули – из сапог в лапти!

* * *

Знакомые купили дом в деревне. И теперь жалуются матери, что с ним, оказывается, столько хлопот, да и расходов тоже. Мать им в ответ:

– А вы как думали: заварили кашу – так не жалейте масла!

Блёстки

Это чувство возникает у меня всякий раз, когда я время от времени начинаю ворошить свои старые бумаги. В «отработанном» журналистском блокноте (где-нибудь прямо на обложке – чтобы позаметнее), на обрывке замызганного тетрадного листа или потёртой сигаретной пачки, на украшенной замысловатыми вензелями старой визитке нет-нет да и встретишь короткую, сделанную второпях запись... За ней чем-то захватившая тебя когда-то житейская ситуация, картинка с натуры, понравившийся образ, а то и вовсе одна-единственная фраза.

Что-то теперь воспринимаешь равнодушно, уже не помнишь – зачем писал и по какому поводу, а что-то по-прежнему обжигает, рождает цепь воспоминаний, будоражит душу... И почти всякий раз охватывает досада: сколько слов отправлено в белый свет, а вот эти, куда более сочные, искренние, томятся взаперти. В «правильные» журналистские материалы они не вписались, поскольку не могли не нарушить привычный строй мысли, рассказами

тоже не стали... Мне кажется, пришла пора выпустить их на волю. И я это делаю с неожиданным для самого себя волнением.

Я называю их «Блётски».

Эрудит

Одну из своих публичных речей в колхозном клубе Иван Секретарёв (а выступал он практически на каждом собрании) начал так:

– Уважаемое аудиторное присутствие!

На собрании в очередной раз утверждали на должность старого председателя. Иван высказался против и обосновал свою позицию:

– Да будь у него хоть семь пятен во лбу, я всё равно скажу «нет»: разве можно доверять колхоз человеку, который полностью атрофировался от коллектива.

В зале смешки, лёгкий шум. Уставшие от долгого сидения, надоевшей всем процедуры, люди не прочь отвлечься... Однако председательствующий требует порядка, урезонирует Ивана:

– Не носи ахинею, а то лишу слова!

– Может, ещё скажешь – галиматню, – парирует Иван и, перекрывая хохот в зале, громогласно заканчивает:

– Ну нет, теперь-то уж я точно в принцип встану!

Ультиматум

Недавний выпускник зооветеринарного института, назначенный техником-осеменатором, через несколько недель самостоятельной работы приходит к председателю колхоза:

– Выберите в конце концов: или я – или бык!

Непосредственность

В совхозном клубе идёт собрание, посвящённое итогам уборки урожая. Чествуют комбайнеров-победителей. Директор объявляет фамилию механизатора, занявшего третье место, и сообщает о том, что ему полагается ценный подарок – стиральная машина. Называется второй призёр и причитающийся ему приз – телевизор. В зале гремят аплодисменты. Розовые от смущения герои жатвы принимают подарки.

Доходит очередь и до победителя. Ему, единственному из всех, директор вручает почётную грамоту и, не успевая сообщить, что к ней ещё полагается мотоцикл, слышит вместе со всем залом его раздосадованный рокочущий бас:

– Так это что ж... получается? Мне, выходит, почти что ни хрена?

Психология очереди

За многие годы Советской власти, особенно за последнее время, у наших людей, а у номенклатурной верхушки в ещё большей степени, сформировалась устойчивая психология очереди: ненавидеть тех, кто впереди, презирать тех, кто сзади, и по возможности расталкивать локтями тех, кто рядом...

Приходится констатировать: новые времена в этом смысле мало что изменили.

Почём Россия?

Ходил в воскресенье на барахолку. Вот уж куда не зарастает народная тропа: не только все торговые ряды, но и все мало-мальски свободные места заняты торговцами. Их едва ли не больше, чем покупателей. Новые «предприниматели» хорошо знают друг друга, в случае нужды подстраховывают, обмениваются информацией.

Вот одна из «коммерсанток» кричит – через торговый ряд – своей знакомой:

– Вер, а Вер, почём у нас сегодня Россия?

– Да по 57, – тут же откликается та.

Сразу никак не пойму – о чём говорят, о каком товаре речь... Оказывается, это сегодняшний курс валют – российского рубля по отношению к нашему казахстанскому тенге.

И грустно, и смешно.

Какой теперь блат

Представления о блате как о таковом в наши смутные времена сильно поменялись. Недавно не без труда удалось устроить близкого мне человека – тётку – на работу в контору, которой руководит мой приятель. Работает тётка-пенсионерка уборщицей – моет полы в служебных кабинетах.

В чём же блат, спросите? А в том, что в этой конторе вовремя дают деньги. В перерасчёте на доллары выходит около полусотни в месяц. Не разбогатеешь. Но тётка довольна, почти счастлива: на прежней работе ей не платили по году-полтора, пенсию приносят с двух- трёхмесячной задержкой, а тут – зарплата день в день.

Стабилизация

Когда я в очередной раз слышу из уст политиков – российских ли, наших ли, казахстанских – утверждения о том, что в экономике началась долгожданная стабилизация, мне приходит в голову такое сравнение. Лежит в больнице тяжёлый больной, состояние его нестабильное, критическое – как говорят, между жизнью и смертью. И вот он, к несчастью, умер. Это ведь тоже своего рода стабилизация, теперь-то его состояние ухудшиться больше не может.

Мне кажется, стабилизация, о которой твердят политики, выдавая желаемое за действительное, из разряда подобных...

Из жизни денег

Было время, когда наличные деньги стали дефицитом из дефицитов. И поскольку людям как-то надо было жить, из этой ситуации находили самые невероятные выходы.

На Ермаковском заводе ферросплавов, например, ввели свои собственные деньги – напечатали бумажки разного достоинства, которые выдавались его работникам и принимались в качестве платёжного средства в столовых, заводских магазинах и т.д. Инициаторами новшества были коммерческий директор Мухин и генеральный директор завода Донской. Заводские юмористы тут же окрестили местную валюту

МУДОНами – по начальным буквам фамилий их изобретателей.

Правда жизни

Бабы-соседки обсуждают своих мужей. И так выходит, что ни одного путнего: тот пьяница, тот неумеха, тот любитель сходить налево...

Вдовая немка Фрида, обычно в подобных разговорах не участвующая, неожиданно вставляет одну-единственную фразу:

– Лучше без хлеб, чем без мужик!

Бабы умолкают и быстро расходятся.

Сюжет для небольшого романа

о семейной жизни

Когда-то им нравились даже недостатки друг друга, а теперь и достоинства раздражают... Между «когда-то» и «теперь» – их совместная жизнь. Вот о ней и надо рассказать.

Образ любимой

Друг отца, дядя Саша Агеев, звал жену – «моя опасна».

Беспечность

Бабы, собравшиеся вечером посудачить, сочувствуют соседке:

– А твоего-то, Настена, опять под утро у Верки видели.

Настена (она не выговаривает «ч») беззаботно машет рукой:

– А сёрт с им, небось не сотрётся...

Одиночество

Зимний вечер. Пригородная электричка. Несколько припозднившихся пассажиров скучились на сиденьях в центре пустого вагона. Холодно, неуютно, тоскливо. Все молчат.

Вдруг с визгом отодвигается дверь, и в вагон вваливается мужик – в унтах, шубе, мохнатой шапке, огромный – во весь проём... Решительно направляется к сидящим. У них и вовсе душа в пятки.

– Не возражаете, если посижу с вами, – утробно басит он и, не дожидаясь ответа, сконфуженно оправдывается: – А то сижу один на весь вагон – жутко...

Оптимизм

– Не смотрите, что я худой и кашляю, – горячился старик, – у меня все почки в сале.

Характер

Богатый сосед нанял тётю Веру Шарубину садить картошку. А когда она всё сделала, вдвое урезал обговорённую плату. В ту же ночь (благо, она была лунной) тётя Вера всю накануне посаженную картошку выкопала.

Несправедливость

Парень смолоду был мал ростом и получил обидную кличку – Окуроч. Вырос, стал мужиком, детей завёл – кличка осталась. Состарился, умер... Так и схоронили – Окурочком.

Любовь

Когда дядя Коля Хухарев стал ухаживать за моей тёткой Ниной, своей будущей женой, она отпилила каблуки на своих туфлях, чтобы не так заметна была их разница в росте.

И какая же прекрасная получилась у них пара – на всю жизнь.

В гостях

Молодой человек, желая произвести впечатление, в гостях разговаривает с собакой по-немецки. Хозяйка, мать пригласившей его девушки, простодушно советует:

– Да вы с ней лучше по-нашему, она иностранным языкам не обученная.

Припел

(История одного знакомства)

– Мы жили с ним в одном посёлке, мельком встречались, но не были знакомы. Надо было наточить коньки, посоветовали – пойди к Василию. Пошла... А он вместо этого четыре часа играл мне на баяне и пел. Так познакомились, а потом поженились... Других привораживают, а он меня припел!

Бог – не щепочка

(Из рассказа матери)

– Мне от отца часто доставалось – и за дело, и просто так. Один раз, уже не помню по какому поводу, за столом вырвалось: «Пап, ну ей Богу!». А он меня выпорол. Я стерпела, потом спрашиваю: «За что?» – «А не божись, не подумав... Тебе Бог что, щепочка?».

Между прочим, в Бога он не верил.

Обида

Прадед, муж моей прабабки по отцу, любил выпить. Во хмелю он бывал буен и как-то, взяв квашню с мукой, вышел на улицу и развеял её по ветру.

Прабабушка пожаловалась местному начальству (дело было до революции). Супруга привели в участок и всыпали ему 30 розог. Она уже жалела, что так вышло, и всё пыталась взять мужа под руку, когда они отправились домой. Он её руку отталкивал и повизгивал:

– Иуда-хриstopродавец! Христа продала!

Так и не простил, до самой смерти поминал:

– Иуда-хриstopродавец! Христа продала!

Учёба

Иван Кузьмин, мой двоюродный дядька по материнской линии, рассказывал, как дед Тимофей, материн отец, отучал его от курения.

– Я курить рано начал – лет в восемь. Тайком, конечно. Как-то сижу за сараем возле таганка, он дымит, и я потихоньку дым пускаю, чтобы незаметно было. А дед Тимофей меня застукал... Весь зад оббил хворостинной...

– Потом я уже из армии пришёл, родня собралась – гуляем. Тут дед заходит, а я с сигаретой. Как увидел его – у меня зад сразу заныл... Я одной рукой за зад, а другой сигарету в пепельницу... А он сразу всё понял, смеётся: «Чего уж теперь, кури – раз куришь, анчихрист...».

Верующий человек

Один из моих дядьёв очень своеобразно верил в Бога. Крестился, когда другие крестились, при этом приговаривая:

– Слава тебе, Господи, что я не хохол!

Откуда берутся клички

Бабушка рассказывала, как на всю жизнь получил кличку один из её дядьёв – Григорий. Он чуть не загнал свою лошаде́нку, догоняя загулявшего купчишку, который спяну обронил сумку с деньгами. Тот сумку принял, заглянул внутрь, побряхтел и выдал награду – 20 копеек.

В сумке было целое состояние. А к дядьке в деревне намертво приклеилась кличка – Гришка-дурачок.

Новое время – новые песни

Старший сын пришёл из школы.

– Как успехи, – интересуюсь я, – что получил?

– Твикс, – мрачно отвечает он, сбрасывая с плеча сумку с книгами.

– Не понял...

– А что тут непонятного, – встречается в разговор младший, второклассник, – ты что, рекламу не смотришь: «Твикс» – сладкая парочка».

Всё ясно – двойка. У нас говорили – «пара», бывали ещё и «колы». А у них – «твикс».

Проза жизни

Рабочая столовая. Обед закончился, работницы столовой поели сами и допивают чай. Посудомойка Валида, сорокалетняя татарка, встаёт из-за стола первой – идёт звонить сыну. Все остальные вслушиваются в разговор.

– Линарик! Из школы пришёл? Пришёл... Костюм в шкаф повесил?.. Повесил... Ой, молодец (звучит – как «молодесс»). Пообедал? Пообедал... И посуду помыл?. Уй ты моя умница (у неё выходит – «умнисса»).

Короткая пауза. Снова её голос – с тревогой и надеждой:

– Линарик, а по математике спрашивали?.. Спрашивали... Как двойка, Линарик? А по контрольной?.. Сволышь ты, а не Линарик, билят ты...

Валида кладёт трубку, сморкается в передник и, плача, идёт мыть посуду.

Отчего человеку хорошо?

Говорили о жёнах – мужьях, семейной жизни, разводах, и женщина сорока пяти лет мечтательно сказала:

– Я до сих пор помню те свои чувства. Поздняя осень, но ещё тепло... Тротуар весь в палых листьях... Я в новом сером пальто, в туфлях на шпильках... Иду из суда, где нас только что развели... Всё моё существо, каждая клеточка поёт: «Всё, его больше не будет в моей жизни, мне не надо больше его видеть... Я свободна... Я не иду, а лечу... Я счастлива, как в детстве...».

Заноза из детства

Бывают в жизни события, как будто мелкие, второстепенные, которые сидят в памяти, словно занозы. И саднят...

Вот одна такая заноза – из детства.

Мы крепко поругались с соседом Колькой Шарубиным, моим одноклассником. Дошло до горячего – сошлись грудь в грудь, как петухи. Вот-вот должны пойти в дело и кулаки.

Я знаю, что Колька после операции, у него недавно вырезали аппендицит, и думаю: как врежу ему в живот – посмотрим, как запоёт.

Что-то удержало – не ударил.

Было это в классе в седьмом-восьмом, тридцать лет прошло. А до сих пор стыдно, как вспомню, что хотел сделать...

Стандарт

Секретарь обкома партии по сельскому хозяйству, приезжая в хлебный район на уборку, качество работы проверял так. Ставил «на попа» спичечный коробок, и если, не дай Бог, стерня скрывала его, тут же устраивал разнос всем присутствующим, начиная от бригадира и кончая первым секретарём райкома.

Комбайнёров, как ни странно, он никогда не трогал.

Гротеск

Позвонил знакомому председателю колхоза – узнать, как дела, какие виды на урожай.

– Веришь – нет – заливают дожди: сено в валках сопрело, боюсь – хлеб сгниёт.

– Так уж и сгниёт, – усомнился я, зная его страсть к преувеличениям.

– А ты приезжай, – тут же нашёлся он, – оставлю тебя на сутки в поле – точно яйца мохом обрастут.

Диагноз

Из выступления оратора-антикоммуниста на демократическом митинге:

– Фундамента капитализма в Казахстане не было, стены социалистического здания возводились на песке. В результате коммунистическая крыша и поехала...

Логика

Старшина-сверхсрочник проводит воспитательную беседу с личным составом вверенного ему подразделения:

– Лежите на кроватях в ботинках – а отсюда недисциплинированность на боевом дежурстве!

– Беспорядок в тумбочках – а отсюда двойки на политзанятиях!

– В самоволки бегаете – а отсюда женитесь!

Фольклор

Часть деревни находилась за лесом и звалась Прицепиловкой, а другая, располагавшаяся на задворках, по сути, единственной, а потому главной улицы – Зажопинкой.

Так и говорили: живу в Прицепиловке или на Зажопинке...

Стиль жизни

Один мой знакомый холостяк, страшный неряха и разгильдяй, чистил зубы и ботинки в двух случаях – когда его вызывали в райком партии и когда он шёл ночевать к знакомой женщине. В общей сложности получалось раза два в месяц.

Производительность труда

Помощник большого начальника, переживший уже не одного своего шефа, после очередного вызова к нему сокрушённо вздыхает:

– Тяжело работать с молодым руководителем, очень высокая производительность – слишком много решений в единицу времени.

Нарушил субординацию

Сын наших знакомых после долгих мытарств устроился на работу – возит теперь на машине начальника средней руки.

Рассказывает, что тот отличается редким самодурством. Однажды прямо из машины начинает распекать по сотовому телефону кого-то из подчинённых. Его собеседник, похоже, не согласен с шефом, пытается ему возражать. Начальника это приводит в бешенство:

– Вы что, не понимаете, с кем говорите? Может, вы ещё и сидите?

Афоризм

Любимое выражение председателя колхоза-ветерана:

– Хозяйство вести – не яйцами трясти.

Сын своего отца

Пилим с братом дрова для бабушки. Нам помогает сын её соседа – семилетний Сашка: крутится рядом, что-то поддерживает, что-то подаёт. Он весь в отца: такой же круглый, розовощёкий и обстоятельный.

У него и топор свой – принёс из дому.

Дрова перепилены – надо колоть.

Спрашиваем:

– Сашка, а у тебя топор-то острый?

Он – степенно:

– Ну да: папка гострил-гострил, потом я.

Оценка

Долго подступался к «Запискам об отце» – делал наброски, говорил с матерью и братьями, другими людьми, хорошо его знавшими. Потом в сомнениях писал...

Не зная, что из этого вышло, три экземпляра переплёл – на память братьям и себе. Прочитала жена – ей понравилось. Средний сын, присутствующий при разговоре, не преминул встрять:

– Хорошая книга – комаров бить удобно, я пробовал.

Я не обиделся – оценил иронию. Придёт время, прочитает и, может, скажет иначе.

Признание

Вечер. Семья у телевизора: бабушка, её сын с женой, трое их детей-школьников. Только что закончилась телепередача «Песни прежних лет». Глава семьи, ни к кому конкретно не обращаясь, с досадой сказал:

– Какую страну профукали!

Подумал, вздохнул и добавил:

– И я в этом принимал участие...

Плоды просвещения

Мой друг женат на гречанке. Они живут душа в душу, имеют двоих детей. Друг воспитывает их в духе уважения к родителям – отца они зовут исключительно на вы. Много сил он уделяет просвещению детей, рассказывая об исторической родине их матери. И вот, наконец, первый блестящий результат. Вернувшаяся из школы дочь радостно заявляет с порога:

– Папа! Я сегодня сказала на уроке: первыми на земле появились динозавры и греки, но греки всё равно раньше! Ты ведь так меня учил?

О чём думает утопающий

Познакомился в дороге с мужиком. Разговорились. Он рассказал мне, как недавно тонул.

– Поехал первый раз в жизни на рыбалку – друзья вытащили. Сел в резиновую лодку, оттолкнули меня от берега, отплыл... Потом неудачно повернулся – и лодка опрокинулась. Конечно, тонуть стал – плавать же не умею... И вот что в это время в голове вертится: «Как все глупо! Зачем поехал? Теперь жене столько хлопот будет – похороны, это ж такая круговерть...». В общем, не страх, а досада. Вытащили меня ребята... Воды, правда, нахлебался...

Шляпа

На большом тое довелось стать свидетелем такого разговора. Один почтенный аксакал, разглядывая велюровую шляпу другого, спрашивает:

– Как вам удалось её сохранить? Такие уже лет двадцать не носят...

– Так и людей таких давно нет, – сразу нашёлся его собеседник.

Философия жизни

Когда односельчане укоряли нашего соседа дядю Яшу Кукарекина за беспутный образ жизни, он беспечно отмахивался:

– Не вам жить – а мне. Бог даст день, Бог даст поллитру.

И вправду, дня не было, чтобы он остался трезвым.

Контраргумент

– За хорошим-то мужем и свинка – господинка! – поджав губы, всякий раз говорила наша соседка тётя Нюра, когда хвалили её невестку.

Неожиданное сравнение

Встретил приятеля – «нового русского». Спрашиваю – как дела.

– Да уж получше, чем у государства! – неожиданно с вызовом отвечает он.

Консенсус

Приятель делится секретами своей семейной жизни:

– У нас с моей благоверной такие отношения: я её иногда запускаю в свой карман, а она меня – в свою постель...

Диетик

Знакомый казах-начальник говаривал в преддверии зимы:

– Ну всё, согым заготовил, перехожу на диетическое питание – теперь никаких овощей и фруктов – буду есть только мясо.

Метаморфоза

Когда они только поженились, он говорил о своей жене – маленькой и хрупкой, как тростинка:

– Моя четвертинка!

Затем, по мере того, как она набирала габариты:

– Моя половина!

А когда та сравнялась с мужем объёмами – просто:

– Моя!

Откровенность

Смазливая студентка пытается заигрывать с профессором в расчёте на его благосклонность на экзамене.

– Милая моя, – слегка гнусавя, замечает он в ответ на эту маленькую уловку, – я уже в таком возрасте, когда согласие пугает больше, чем отказ...

Отношение к жизни

Для одного весна – сплошной праздник: скворцы прилетели, распускаются листья, зазеленела трава.

Для другого – одни раздражающие хлопоты: снег надо от дома отбрасывать, огород копать, грязь кругом...

Господа-товарищи

Идёт сессия областного маслихата. Прослушали доклад, начинаются прения. Слово берёт депутат из впервые избранных. Говорит, слегка волнуясь от осознания своей собственной значимости.

– Я вам хочу сказать, товарищи... – тут же сбился, будто произнёс что-то не то: – Я извиняюсь, конечно, господа...

В зале смешки, и сразу не поймёшь, кого тут больше: бывших товарищей или нынешних господ.

Жила-была бабушка

Любовь Ивановна Кравцова много лет проработала звукорежиссером на областном радио. Я давно знаком с ней, но не знал, какая она удивительная рассказчица. Попытаюсь воспроизвести несколько эпизодов из её воспоминаний о своей бабушке.

* * *

– Меня бабушка воспитывала, донская казачка. Бывало, обидится на меня и выговаривает: «Любка ты Любка, я ж тебя с самой пупинки выходила!».

* * *

– Классе в восьмом я задружила с одноклассником Ванькой. А приходиться домой было строго-настроено велено до темноты. Один раз я подзадержалась – дверь уже закрыта. Стучу, а бабушка мне: «У нас все дома, а ты иди сучкуй дальше!». Понятно, от какого слова – «сучкуй»?

* * *

– Иной раз выдавала такое, что и не сразу поймёшь. Вот, например: «Бьюсь я с тобой, Любка, бьюсь, а всё никакого лизуртату».

* * *

– Собирается к местному фельдшеру и говорит: «Ты мне, Любка, набери денег – чтобы помельче были...» – «Зачем, бабушка?» – «Та знаю я того Полупана – ему надо зараз свои лекарства сбыть. А я ему сразу скажу: у меня денег трошки, вот, усё в жменьке».

* * *

– А умерла моя баба вот как. Вышла в 83 года во двор кур покормить, охнула, присела на завалинку и умерла.

После похорон

У знакомой умерла мать. Похоронили. Едем с кладбища. Вдруг она говорит:

– Что же это я ей кофту не надела – мороз ведь какой...

Мать для неё всё ещё живая...

Аналогия

Вскоре после того, как в нашем городе появились первые легковые машины престижной шведской фирмы «Вольво», у водителей персональных «Волг» вошла в обиход присказка: «Век «Вольво» не видать»...

Родственные души

Удивительно, как часто шофёры становятся похожи на своих начальников, которых им приходится долго возить. Ещё подобное случается с супругами по прошествии многих лет совместной жизни.

Хитроумная няня

Детсадовские дети очень разные: кто-то привыкает к новому образу жизни быстро, кто-то с трудом, кто-то не привыкает никогда. Вот один из таких «неприспособляемых» плачет в раздевалке, зовёт маму.

– Ну где я тебе её возьму? – возмущается грубоватая няня. – Нарисую, что ли...

– Нарисуй! – ещё пуще заливается он.

Няня, недолго думая, черкает на первом попавшемся листке нечто совершенно невообразимое и сует рисунок мальчишке:

– На тебе твою маму!

И происходит удивительное: тот мигом успокаивается, всюду носит листок с собой, в «тихий час» прячет под подушку... И больше у этой няни проблем с воспитанником нет.

* * *

Той же самой няне предстоит кормить детей. Она знает, что манную кашу они не едят, и пускает в ход «домашнюю заготовку»:

– Дети, что я принесла?

– Ка-а-су! – отвечает нестройный хор.

– А помните стишок, который я вам в прошлый раз рассказывала?

– По-о-о-мним!

– Кто расскажет – тому и каша, – объявляет она.

Это уже игра, это интересно. Все наперебой тянут руки.

– Ну, давай ты, – выбирает она одного из самых бойких, зная, что после него и другие смогут повторить.

– Каса манная, ночь туманная, посулила – не дала, окаянная, – заученно, как на уроке, выдаёт тот.

– Молодец, получай кашу... Кто следующий?..

Детям от двух до трёх лет, многие толком ещё говорить не научились. Им совершенно неведом смысл прибаутки. Но это в данном случае и неважно. Главное, дело сделано – ненавистная каша будет съедена.

Оптимист

Когда нашего соседа Серёгу Хвостова укоряли маленьким ростом, он хладнокровно парировал:

– Это ничего: маленькие, они в хрен растут!

Характеристика

О вредном человеке:

– Такие рождаются не для того, чтобы жить, а назло другим.

Строители

В нашем дощатом дачном туалете провалился от старости пол. Неприятность, конечно... По строительной части я не мастак, надо кого-то просить, искать доски... Походил кругом, разобрал всё гнильё, нашёл несколько подходящих отрезков доски. Позвал в помощники младшего сына Пашку. Уже вдвоём вымеряли, пилили, перестилали, по очереди прибавали... Когда закончили – попрыгали на пару для проверки настила на прочность... А чувство было такое – будто дом построили.

Хорошая закуска – капуста

Видя, как гости за столом охотно уплетают хрусткую, мастерски поквашенную капусту, хозяин дважды посылал жену за добавкой, приговаривая:

– Хорошая закуска – капуста: и на столе не пусто, и подать не жалко.

Секрет успеха

Владимир Иванович Чужба – мой давний знакомый, пчеловод с почти полувековым стажем. Его ульи в любой год с мёдом. Я все выпытываю секреты его успеха.

– Да какие там секреты, – досадливо отмахивается он, – просто пчелу надо любить больше, чем жену!

– А почему наши пчёлы злые, кусучие, а на юге – нет?

– Ну, спросил тоже... – сердится он. – Южная почти всю зиму летает, а нашу как запрет в конце октября и в конце марта выпускают на белый свет... Почти полгода не какашки – это кто ж такое выдержит? Тут сам себя укусишь!

Способ защиты

Пошутив неудачно (что поделаешь – бывает), А.М. обычно замечал:

– Каждый шутит – как может.

Иногда это срабатывало. Иногда – нет. Тогда он добавлял:

– Если не может, все равно шутит!

Последнее срабатывает почти всегда.

Реклама – это искусство!

Пришёл на базар покупать шиповник. Сухонькая, разбитная старушка агитирует:

– Бери у меня – не пожалеешь: сухой, чистый, ядрёный.

И, видя, что я почти созрел, добивает:

– Не шиповник, а коровьи титьки!

Ну как тут не возьмёшь!

Когда умирать человеку

Подруга матери тётя Шура Горлова несколько раз собиралась помирать, а потом откладывала это дело. И всегда по уважительной причине. По такой, например:

– Как же я умру, если ничего вам не наказала – кому что достанется, – объясняет сыну своё выздоровление.

В очередной раз говорит моей матери:

– Никак мне сейчас нельзя помирать.

– А теперь что? – уже зная эту её особенность, деловито спрашивает мать.

– Да как же? Денег дома нету... Дочери зарплату не платят, зять не работает. На мою пенсию живём... Так что погожу ещё.

Пенсия у тётя Шуры – три тысячи тенге.

Спустя какое-то время тётя Шура опять за своё: пора мне, пора, зажила на этом свете. И снова раздумала. На этот раз по такой причине:

– А кажут, у двухтысячном годе конец света буде. Так что уже немного ждать. Я уж тогда вместе со всеми.

Когда тётя Шура умерла, её дочь говорила мне:

– Я не верю, я всё жду, что она ещё что-нибудь придумает...

Превратности любви

Он и она – хорошая пара. Когда они вместе, ими любят. Им завидуют. По всему видно – дело идёт к свадьбе. И вдруг, совершенно неожиданно для всех, они расстаются...

– Что случилось? Почему? – спрашивают у него друзья.

– Вы понимаете, у неё мечты нет, – объясняет он.

* * *

Парень и девушка долго дружили, уже представили друга друга своим родителям. Потом – размолвка и расставание. Подруги допытываются: «В чём дело, чем он тебе не хорош?».

Она объясняет: «Мы встретились, я ему говорю: «Ты знаешь, Индиру Ганди убили?». Он спрашивает: «А кто такой этот Индира Ганди?». Ну как, скажите, я потом буду жить с таким человеком?».

Не оправдал...

У друга в семье разлад. Он пытается объяснить мне суть конфликта:

– Ты понимаешь, у неё всё на мне сошлось. Я должен быть для неё подружкой и товарищем, мужем и любовником, матерью и отцом... А я обычный человек, мне этот груз не по силам... Понимаешь, она всё на меня поставила, а я не оправдал...

Натюрморт

Молодые с вечера поссорились и даже спать легли порознь. А утром, когда супруг вышел на кухню, на столе его ждал сюрприз: два вареных яйца – одно к одному, а сверху сосиска. Натюрморт был столь живописен, что он, не удержавшись, улыбнулся.

И мир в семье был восстановлен.

Из неопубликованного романа однокурсника

Женщины начали оголяться, ибо наступила весна.

* * *

И жизнь вновь показалась отнюдь не маловажной.

«Курвычут журавли...»

Петь он любил, и голос у него был приятный. Но был и дефект речи. И когда, случалось, в компании он заводил проникновенно свою любимую: «А где-то там, вдали, курвычут журавли, они о родине заснеженной курвычут...» – остальные изо всех сил пытались сохранить серьёзность, хотя не всем это удавалось.

Кому достанется велосипед

Отец с сыном-младшеклассником пошли на рыбалку. Сына отец оставил на берегу, велел ждать до 12 часов дня, а сам уплыл на резиновой лодке рыбачить в заросли. И увлёкся... Когда проходящие мужики сказали пацану, что уже не двенадцать, а час, он отправился домой, где и объявил, что отец, скорее всего, утонул, поскольку к объявленному времени не вернулся.

Мать побежала на поиски супруга, а бабка, накормив внука, вместе с ним – вслед.

Внук по дороге – рассудительно:

– Бабушка, если папа утонул, значит, его велосипед теперь мой? Не будете же вы с мамой на нём ездить!

К счастью, навстречу им уже двигались его отец с матерью.

Подслушанное

В автобусе оказался случайным свидетелем разговора двух женщин среднего возраста. Кажется, они говорили о своём общем знакомом.

Первая:

– А ты знаешь, такой-то опять женился.

Вторая:

– Да знаю я его, пообтёрся уже по чужим подушкам.

Боялись не успеть на войну

Однажды мы пригласили в редакцию фронтовиков. Один из них рассказал, как некоторые павлодарцы встретили известие о войне.

– 22 июня пришлось на воскресенье. Жаркий день, масса народа была на пляже... И как только прозвучало сообщение о том, что Германия напала на нас, многие прямо с пляжа, даже не одеваясь, отправились в военкомат – он ведь был совсем рядом, на берегу... Мы очень спешили, боялись, что не успеем, что войну без нас закончат...

«Бодрост ушёл...»

– Добрый утр! – энергично приветствовал меня каждое утро на набережной сосед-аксакал, когда я шёл на работу.

Теперь я его встречаю здесь все реже и реже.

– Бодрост ушёл! – с грустью объясняет он произошедшую с ним перемену.

Акцент

– Дак вот именно что! – говаривала одна моя знакомая, желая что-то подчеркнуть в разговоре.

Нашёлся!

Бывший редактор мангышлакской областной газеты Владимир Иванович Вова как-то встречал в аэропорту Олжаса Сулейменова. Были и другие встречающие – от обкома. Они представились первыми, за ними – он:

– Вова!

Сулейменов тут же отреагировал:

– Олжасик!

Критерий

Заговорили о прошлом, его преимуществах и недостатках, и старый приятель признался:

– А ты знаешь, мы бывало заспорим с братом о чем-то, чуть не за грудки хватаем друг друга – не сходимся во мнениях. Потом он – старший – мне вот так, прямо в лоб: «Тогда скажи – ты за советскую власть или против?». И я тут же отвечал: ну ты, мол, и спрашиваешь тоже... Да я сам за советскую власть любого... Вот так мы к ней тогда относились...

Но и не меньше!

Мой друг – поэт, редактор журнала «Нива» Владимир Гундарев перенёс инфаркт. Лежал в больнице, лечился...

Врачи рекомендовали ему побережться, жить поспокойнее, ограничить употребление спиртного.

– Даже норму мне установили, – рассказывает он, – до ста граммов в день.

Теперь Гундарев всегда носит с собой специальную рюмку-мерку – для контроля. И каждый день выпивает свою законную норму, не больше... Но и не меньше.

Образная речь

Большой любитель ненормативной лексики, он мог изъясняться, например, и так:

– Да этот, как его, Иван-блядь – Николаевич – на хер, что ли...

Присказка

– Да что ж ты, едрит-твою в Дарданеллы мать, делаешь!

Памятка холостяка

Бумажка лежит на столе. На ней «План жизни» телеоператора местной студии телевидения на субботу – всего три пункта, именно в такой последовательности:

1. Постирать носки.
2. Поиметь Райку.
3. И ещё – этот блядский фестиваль культуры.

История одного имени,

или Послание к аллаху

Её зовут мужским именем Ермек Темешевна. Почему?

– Отец мечтал о сыне, а родилась первой старшая сестра, потом – я. Он сказал: «Видно, аллах не слышит моих молитв, поэтому я должен назвать свою дочь мужским именем». Так я стала Ермек.

– И что, помогло?

– Ещё как: у меня семь братьев.

Пусть знают

Н.Г. Шафер учился в КазГУ на одном курсе с Анатолием Ананьевым, который впоследствии стал известным писателем, редактором журнала «Октябрь». Отношения у них в пору учёбы сложились нормальные, ровные, но особо близкими не были никогда.

И вот, много лет спустя, они случайно встретились в Москве, в редакции «Нового мира». Ананьев тут же, при всех, бросился обнимать Шафера.

– Что это ты вдруг так? – удивлённый столь необычным поведением всегда сдержанного Ананьева, спросил Шафер, когда они остались вдвоём.

– На всякий случай, – серьёзно отвечал тот. – Мало ли что... Пусть думают, что ты мой друг.

Девизом – по цели!

Серёга-подводник рассказывал:

– У нас на базе, где стоят в перерывах между походами подводные лодки, висел огромный лозунг: «Наша цель – коммунизм!». А чуть дальше другой: «Девиз подводника: все торпеды – в цель!».

Результат

Анекдот, родившийся после перестройки:

– Что вам дала перестройка?

– Правду, одну только правду и ничего, кроме правды.

Наставление

Менеджер наставляет группу новичков, решивших попробовать себя в сетевом бизнесе:

– Будьте всегда активны, помните: под сидячий зад доллар не подсунешь!

Доллар... без штанов

Руководительница ассоциации деловых женщин, уже кое-чего достигшая в бизнесе, делится опытом со своими менее опытными товарками:

– Когда я захожу в кабинет к мужчине-начальнику, то всегда улыбаюсь, представляя, что передо мной – доллар... А потом, чтобы не бояться, представляю себе этого начальника без штанов... И мне сразу становится легче, я чувствую себя увереннее.

Акт высочайшего доверия

Н.Н. очень дорожит благосклонным отношением к нему нового шефа. С гордостью рассказывает мне:

– В район вместе ездили... Весь день были вместе – ни на шаг меня не отпустил... Обедали вместе...

И после паузы – с особой гордостью:

– Отливать вместе ходили!

Из афоризмов брата Петра

– То, что отцы недоделали, это мы и есть!

Берёшься – доводи до конца

Обсуждали с большим начальником деликатную проблему. Я предложил половинчатое решение: мол, часть сделаем, а потом – как-нибудь, как получится...

– Ну ты это брось, – обиделся он, – знаешь, что говорил в таких случаях мой предок-кержак? Он говорил: «Самим-то недоимашь – яйцами не дошлёпашь!».

Самооценка

Один мой знакомый говорил о себе так:

– Я шустрый – как сперматозоид.

Хорошая должность

Пришёл к знакомым в гости. Садимся за стол. Хозяин распределяет обязанности.

– Я буду наливать, – тут же говорит один из гостей, – у меня должность такая – диспетчер по наливу.

Я подумал – шутка. Оказалось, нет: работает он на нефтеперерабатывающем заводе, и должность его именно так и называется...

Словотворчество

В Павлодар на открытие нового кафедрального собора приезжал архиепископ Астанайский и Алматинский Алексей – высшее должностное лицо православной церкви в Казахстане.

В своей речи по случаю знаменательного события он назвал акима области – путевождь.

Оказывается, и специфическому языку священнослужителей свойственно словотворчество.

* * *

У знакомого руководителя крестьянского хозяйства дела идут в гору: прибавилось скота, техники, увеличились посевные площади, иномарку себе завёл...

– Мне бы ещё ошебениться, – говорит, встретившись со мной.

– То есть? – спрашиваю я.

– Ну, дорогу от трассы до села щебнем засыпать...

На все случаи жизни

Побывал в офисе у одной знакомой, которая занялась бизнесом. В её кабинете – прямо напротив рабочего стола – лозунг: «Так будет не всегда!».

Знакомая говорит, что он помогает ей жить: когда дела плохи – утешает, а когда хороши – предостерегает от эйфории.

Где наше время?

Брат Петька однажды сказал:

– Мы выросли в тени отцов и как-то очень быстро оказались в тени детей... А нашего собственного времени как бы и не было...

Первое впечатление

Второй или третий день находимся в Америке. Что-то уже увидели, обмениваемся первыми впечатлениями.

Миша из Чимкента – как бы недовольно:

– Машины у них не дымят, в туалетах не воняет – чего им не жить...

Лёня из Семипалатинска – восторженно:

– Никогда не видел столько негров сразу. Не думал, что они такие здоровые и упитанные. Ни за что теперь не поверю, что их тут угнетают!

Пожелание

Подруга матери тётя Шура Горлова делилась своими воспоминаниями – из военного детства:

– Идём, бывало, работать в поле, зовём ссыльных из Западной Украины – помогите. Отвечают: «Хай вам Господь помогае, а нас милуе».

Раньше и теперь

Женщина средних лет жалуется подруге на мужа:

– Раньше, когда выдел меня с утра непричёсанной, говорил: «У тебя голова – как хризантема». А теперь – причёску сделаю, а он: «У тебя на голове – чёрт-те что, копна сена какая-то».

Что есть телевидение?

Есть много определений современного телевидения. Мне больше других понравилось такое: это фабрика по производству товара принудительного потребления.

Прокололся

Директор совхоза «Жосалинский» Баянаульского района Капен Тулеубеков отправил на мясокомбинат очередную партию скота и с ней сопровождающего, чтобы ускорить приёмку живности на месте.

День проходит, другой – из Экибастуза никаких известий. Тулеубеков находит своего представителя по телефону, начинает отчитывать. Тот клянётся-божится, что делает всё возможное...

– Да вы, наверное, пьёте там? – возмущается директор.

– Что вы, Капен Тулеубекович...

– А ну дыхни, – неожиданно командует Тулеубеков.

– Да мы и выпили всего по сто грамм, – доносится из телефонной трубки.

Урожайность по Шишкину

Николай Александрович Миллер – потомственный хлебороб, руководитель одного из самых крупных хозяйств в области. Мы уже не один год дружим, и как-то я пришёл его навестить в городской профилакторий, где он лечился и отдыхал. Обратил внимание на картину над его кроватью: могучие сосны, а на переднем плане дорога, по обеим сторонам которой – поспевающие хлеба...

– Что, нравится? – спросил Миллер. – Мне тоже.

И вдруг добавил:

– Здесь урожайность центнеров по 20, а может, 25 с гектара.

Поэт – как путевой обходчик

Ехали на поезде с поэтом О. Григорьевой. И она, глядя на обходчика, бойко простукивающего какие-то узлы стоящего напротив состава, сказала:

– Поэт – как путевой обходчик: всё проверяет – на вид, на звук, на цвет... И так же тонко чувствует болезни своего времени – все эти трещины в морали общества, раковины в совести, и говорит об этом. Но его чаще всего не слушают, не слышат... И поезд жизни идёт под откос...

Экономия языковых средств

У сына Димки есть однокурсницы – Маша Дружинина и Ира Улькина. Однажды они втроём ездили на научную студенческую конференцию, и Димка, как он выражается, в целях экономии языковых средств, изобрёл из двух имён и фамилий одно целое – Мира Друлькина.

Они (кстати, ещё и подруги) оценили шутку и не обижаются.

Признания в любви

У моих друзей – Анатолия и Надежды Пуцелевых – есть внуки-близняшки, миниатюрные и шустрые, как обезьянки. И как две капли воды похожие друг на друга.

Вот одна забралась к деду на колени и буквально льнёт к нему. Он с умилением:

– Ах ты моя маленькая соплюшка!

Внучка ему тут же в ответ:

– А ты – моя большая сопля!

Оценил!

Желая произвести впечатление на своего нового возлюбленного, она пришла на работу в каких-то немислимых чёрно-белых одеждах. И он тут же оценил это:

– Ну ты сегодня красивая – как гроб!

Учитель счастья

Я знаю его больше двадцати лет. Неудачник, балабол, путаник... Сменил десятки мест работы, нигде долго не задерживаясь.

И вдруг узнаю: ведёт курс в частной школе. Курс называется «Стратегия жизни. Как выстраивать судьбу, чтобы она состоялась».

Учит других тому, чему за свои полвека не мог научиться сам.

Реакция

Друг – о своей бывшей жене:

– Ты веришь – нет, я её как увижу, у меня сразу изжога начинается.

Народная мудрость

– Не откладывай работу на завтра, – воспитывала внука бабка.

– А девок – на старость, – вторил ей дед.

Наивность

Года два назад у меня на даче украли велосипед. И с тех пор я машинально вглядываюсь в каждого, кто едет на велосипеде, – не на моём ли?

Загадки с двойным дном

Иногда детские загадки бывают очень двусмысленными. Ну, например:

Без рук без ног – на бабу скок (коромысло).

У какого молодца вечно капает с конца (самовар).

Помнёшь-помнёшь немножко, и станет твёрдый, как картошка (снежок).

Туда-сюда-обратно – обоим им приятно (качели).

Нетрудно представить себе, какие ответы на эти загадки может дать иной взрослый...

Попы

Бабушка и отец называли белые грибы попáми. Теперь мне понятно, почему – за особую стать, осанистость, нарядную опрятность.

Зуборон

Сестра говорит: «У меня корова – зуборон». Это значит, что, принеся второго по счёту телёнка, её Зорька теряет зубы и снижает удои.

Псевдонимы

Актриса Грация Немытова.

Критик-славянофил Добромысл Хренов.

Принципиальность

Пошли с другом в баню. От души напарились, ополоснулись. Теперь бы попить... Банщик тут же предлагает пиво в жестяных банках. Услышав цену, друг, после короткого замешательства, решительно:

– Ну нет, лучше я умру от жажды!

Новое слово

Пойменные травы позднего укоса знакомый председатель колхоза называл спагетти. И пояснял: это напоминает гибрид шпаги со спагетти, а использовать нельзя ни по одному из назначений.

Оценка

Вовка Левенец отсидел в колонии два года за злостное хулиганство. Вернулся в наш целинный совхоз, пару раз пытался показать на танцах – кто есть кто... Зная его как облупленного, парни-ровесники сделали ему соответствующее внушение. Вовка обиделся:

– Да что с вами говорить! Темнота... Ни одного заграничного слова!

Предложение

Любитель выпить Миша Брыковский – жене:

– А ты дай мне три рубля – посмотришь, какой я красивый приду!

Грустная констатация

Первый секретарь обкома, сменивший после самороспуска партии своё прежнее кресло на должность председателя облсовета, с явной досадой констатировал:

– Раньше я был главнокомандующий, а теперь... главноуговаривающий...

Характеристика

Давно знающие его люди говорили об этом чиновнике так:

– Есть люди – инвалиды с рождения. А он с рождения – заворг.

Из выражений тёти Кати

Моя тётка – сестра матери Катерина – всю жизнь живёт в маленькой сибирской деревне Чубаровке. У местных старожилов особый говор – я слушаю их речь как музыку. А тётка говорит ещё и образно. Вот например:

– У меня уже душа с телом расстаётся!

Это означает верх волнений и переживаний.

Или ещё:

– Наела зад выше сарая!

Это о ленивой, чрезмерно раздобрившей соседке.

Начитанность

Чтобы выглядеть более значительно, продемонстрировать свою образованность, он говорил:

– Дэталъ, протэст, пэрспэктива, срдства...

* * *

Людей, пьющих часто и без меры, моя бабушка Мария Петровна (сама, кстати, никогда не бывшая убеждённой трезвенницей) презрительно именовала одним словом:

– Алкогол!

Детские считалки

Вышел месяц из тумана,

вынул ножик из кармана:

«Буду резать, буду бить, –

ты останешься водить!».

Изуверский смысл считалки всегда оставался за пределами нашего детского сознания. Да и какой тут вообще может быть смысл?

* * *

Была у нас и такая считалка:

– Шёл поп через мост, поймал курицу за хвост. Эта курица была Тимофеева жена.

Считающий вытягивает руку ладонью вниз, все остальные подставляют к ней указательные пальцы.

После слова «жена» палец зазевавшегося остаётся в кулаке – ему и водить.

Детская клятва

Честно, мама, честно, папа, честно всех вождей!

Лёгкое счастье

Детское ощущение счастья многогранно и многолико. Хорошо оттого, что мать с утра затеяла блины; оттого, что утро светлое и солнечное, а в открытое окно задувает ветер; оттого, что вечером в совхозном клубе обещали новое кино...

Где оно, всё это, куда подевалось моё лёгкое счастье? Теперь даже крупная удача не трогает, скорее, тревожит, про себя думаешь: ну вот, повезло – теперь жди неприятностей.

Загадка истории

В наше время оказалось возможным соединение, казалось бы, совершенно несоединимого. В результате рождаются абсурдно-комические смысловые монстры.

Вот один из примеров.

Бывший совхоз после очередной реорганизации именуется теперь так – «Товарищество с ограниченной ответственностью имени XIX партийного съезда».

Потомки, наверное, сломают голову в попытках понять – что бы это могло значить?!

Политическая примета

Если в нашей областной типографии внезапно выходила из строя печатная машина – значит, скоро выборы или другая важная политическая кампания. Поломка – самый удачный способ вывести на горячее время из игры «нежелательные» газеты, на которые не распространяется прямое воздействие властей. А типография в области в ту пору была одна.

После бани

Идём с братом из бани. Напарились, вымылись, выпили по бутылке пива. Голова ясная, тело сухое, лёгкое...

И ещё одно, может быть, самое удивительное ощущение – как последний штрих: кожа отдельно, а майка отдельно – будто не соприкасаются.

Хорошо!

Не забывайся!

Такое случалось со мной частенько... Вот удалось сделать что-то важное, значительное... Идешь по улице в приподнятом настроении, голова полна новых радужных надежд, каких-то планов... Идешь быстро, энергично, уверен в себе. И вдруг запнулся и со всего размаху – на землю. Дипломат улетел в сторону, содержимое рассыпалось, ушиб колено и локоть, измазался...

С трудом поднимаешься, приводишь себя в порядок, собираешь вещи и уже потихоньку бредёшь домой... Это судьба, как будто играя, предупреждает: «Не забывайся! А то ишь ты – воспарил!».

Верное средство

Знакомая дачница, вернувшаяся из Крыма, поделилась весьма экзотическим способом повышения всхожести семян огурцов, позаимствованным у тамошних огородниц. Перед тем, как высаживать семена в почву, женщины заворачивают их в тонкий слой бумаги и помещают на сутки-двое меж собственных грудей. А груди у тех женщин – ого-го! И вот, напитавшись неведомыми жизненными соками, семена прорастают – как из пушки!

Чем помочь Петруше

Наша родственница – «сетевичка» – распространяет лечебные препараты. Среди её клиентов и пожилая супружеская пара: ему чуть-чуть за восемьдесят, ей – около того. Они следят за собой, ведут здоровый образ жизни, иногда советуются с ней.

И вот один такой звонок:

– Леночка, нам нужна помощь!

– Что такое, Клавдия Семёновна?

– Да всё в общем в порядке, но не найдётся ли у тебя, Леночка, что-нибудь для моего Петруши?

– А что с ним?

– Да что-то слабнуть стал по мужской части...

Новояз

Наши дни... Вот-вот начнётся региональная конференция правящей партии... У входа в зал мечется взмыленный партийный функционер, пытающий руководителей делегаций «с мест» одним-единственным вопросом:

– У вас все омандачены?!

Что в переводе с тарабарского на русский означает: все ли партийцы получили мандаты для голосования?

Каким должен быть начальник

Один мой старый знакомый, большую часть жизни проработавший в колхозе бригадиром, точно знал, что он должен быть:

– Товстый, лысый, пузатый и чтоб в очках!

Не вовремя задумалась...

Студенческие годы... Библиотека. Стоим в очереди за книгами... Девушка передо мной замешкалась, библиотекарша ей сердито:

– Проснитесь, девушка, 25-й съезд партии идёт!

Не обслужила...

Мой знакомый Н.Ф. – человек чрезвычайно строгих правил. Жена его рассказывала:

– Сварила украинский борщ – Н.Ф. его очень любит. Налила ему в любимую тарелку, нарезала хлеб, поставила соль, перец, ложку и вилку положила... И тут как на грех зазвонил телефон... Ну и заговорила с подругой... Прихожу минут через 15, на столе всё как было, и борщ стоит нетронутый... «Что случилось, Н.Ф.?» – я его дома по имени-отчеству зову.

– А сметана где? – спрашивает.

Она в холодильнике была, я её на стол забыла поставить.

Закон гостеприимства

Директор управления каналом «Иртыш-Караганда» Алексей Иванович Баталов рассказывал о своей поездке, ещё в советские времена, в Грузию. Там друзья его друзей решили показать ему город Гори, родину Сталина, где сохранился величественный памятник вождю.

Приехали поздно, было уже темно, у памятника – ни души... Гостеприимные грузины тут же выставили – прямо на капот машины – выпивку и закуску. Только разлили по первой – появился милиционер: что, мол, граждане, общественный порядок нарушаем?

Хозяева стали ему объяснять: «Это наш гость из Казахстана, сказал, что не простит себе, если не увидит Гори и этот памятник... Как мы ему могли отказать? Ну а всё остальное – сами понимаете...».

Милиционер задумался – лишь на мгновение – и сказал:

– Ладно... Тогда мне тоже налейте.

Секрет успеха

Владимир Александрович Иноземцев – известный агроном-садовод – буквально одержим своим делом. Говорит мне:

– Вы, может, не поверите, но у деревьев душа есть. И они, и кустарники всё слышат, понимают, чувствуют. У меня, было дело, долго слива не плодоносила, и я тогда ей пригрозил: «Доиграешься у меня – вырублю!». И что вы думаете – подействовало – на следующий год зацвела!

Посмотрел телевизор...

Середина шестидесятых годов. В Павлодаре началось телевизионное вещание, а с ним появились в домах и первые телевизоры. Внук спрашивает:

– Бабушка! А можно я телевизор посмотрю?

– Можно... Только не включай.

Тест на профпригодность

Мой однокурсник Лёха Закутаев хотел во время учёбы подработать по оформительской части в автобусном парке. Замдиректора – завхоз долго и недоверчиво рассматривал его рисунки, потом спросил:

– А вождей писать можешь?

Лёха тут же набросал профиль Ленина и был взят «подснежником» – слесарем низшего разряда на полставки.

Секрет долголетия

Ему уже за восемьдесят, но он, как говорится, ещё вполне... Объясняет:

– А я всю жизнь болею...

– То есть?

– С детства болею и борюсь со своими болячками... Так и живу...

Забота

Самое близкое и дорогое для неё существо в мире – кот. И вот ещё одно проявление этой безграничной любви – она делится с подругами своими тревогами:

– Если со мной что случится, как он один будет? Он же не сможет сам, он такой неприспособленный...

История рождения

Один из старых журналистов рассказывал мне свою родословную:

– Мой прадед по отцу воевал в русском экспедиционном корпусе во Франции. Влюбился во француженку и хотел остаться во Франции навсегда. Случайно попал в театр, где выступала русская труппа, услышал песню «Вечерний звон»... Расплакался, вернулся домой, в Россию... И через какие-то сто лет родился я...

Чем не сюжет для романа, фильма?

Награды

Был на юбилее у Г.А. Бабина. Он, показывая на внуков:

– А это два моих ордена!

Любитель буквы «К»

Он был к ней явно неравнодушен, говорил, например, так:

– С какой кстати... Климатические условия.

Новый облик

Одно время я в целях похудения перешёл на раздельное питание. И был весьма горд тем обстоятельством, что все друзья и знакомые с одобрением отмечали произошедшие в моём облике перемены. И только младший брат сказал:

– У тебя, брат, теперь голова на шее как-то ненадёжно держится...

Антисемит

Ему сказали, что Петров-то, оказывается, еврей.

– Ну вот – уже и фамилии наши порасхватили, – следует в ответ.

Сразу не поняли...

В Павлодаре праздновали десятилетие первого частного роддома. Его владелица провозглашает тост:

– Так выпьем же за те ворота, через которые все мы входим в этот мир!

Среди гостей лёгкое замешательство – это на что она намекает?

– За ворота роддома! – энергично завершает тост владелица, и гости с облегчением опорожняют бокалы.

Где искать счастье

Несколько лет веду занятия у студентов – будущих журналистов. Удивляюсь тому, что они совсем не похожи на студентов моего поколения. И ещё – никогда не знаешь, чего от них ждать.

Однажды у нас возник разговор о том, что такое счастье. Спорили-спорили, но так ни до чего и не договорились. И тогда я предложил:

– Напишите об этом всё, что вы думаете. Это будет практическое задание к зачёту.

Они написали, некоторые очень интересно. А в тупик меня поставила студентка, сочинившая примерно следующее: «В Павлодаре есть магазин «Счастье». Я на днях зашла туда и купила книгу Ю. Поминова «Живу». Так я обрела своё счастье».

Шутила? Иронизировала? Издевалась? Не знаю... Но зачёт я ей поставил.

Как умирают мечты

– В 20 лет я мечтала покорить Эверест. В 35 поняла, что сделать это мне не удастся, но я смогу хотя бы увидеть его: прилечу в Непал, поднимусь в промежуточный лагерь, откуда видна вершина. В 45 лет мой лечащий врач сказал: «Летать на самолётах, голубушка, вам теперь нельзя». А на поезде туда не доедешь... Вот и смотрю на Эверест по телевизору, недавно к кабельному подключились...

Подарок

(Быль)

Они недавно поженились, жили очень бедно. Приближался день её рождения, а у него не было денег даже на скромный подарок. И тогда он выучил и прочитал ей наизусть «Незнакомку» Блока, которого она обожала. Она была счастлива.

Правда жизни

Спрашиваю у знакомого, как чувствует себя его мать, которая недавно перенесла тяжёлый инсульт.

– Ждём, – отвечает он, занятый своими мыслями.

Эрудит

Новый русский, просматривая программу телевидения:

– Что там у нас сегодня? «Гранатовый браслет» – боевик, наверное... А вот ещё – «Убить пересмешника». Опять у них ошибка – ясно же, что «пересменщика».

Игра слов, или Чувство меры

В компании – с художником И.В. Лагутиным... Ему было уже под девяносто, он – ученик знаменитого художника Батурина, который знал Льва Толстого... Все готовятся выпить по первой... Иван Васильевич в раздумье – пить ему нельзя. Выдержав паузу, говорит:

– Ну разве что...

– Чуть-чуть? – добавляю я.

– Нет, это будет уже лишнее... Именно – разве что...

Рюмочку всё же выпил.

Время выбора

Молодая наша сотрудница, за которой ухаживали сразу двое или трое парней, никак не могла определиться – на ком остановить выбор. Наблюдая за её метаниями – и тот вроде хорош, и другой, и третий, – повидевшая жизнь журналистка замечает:

– Ты сильно-то хвостом не верти – за всех всё равно не выйдешь...

Миг бытия

Всего раз в жизни я видел, как сходятся-расходятся на встречных курсах самолёты. Наш аэробус летел выше, а где-то под нами, сбоку, неслышно нёсся встречный самолёт. Его было отлично видно... Но сошлись и разошлись два борта так быстро, что мгновение спустя уже не верилось: было это или не было? О встрече напоминал лишь на глазах тающий след, оставленный встречным самолётом...

Подумал тогда: не то ли самое и жизнь большинства из нас – мгновение в бесконечном потоке бытия? А след оставляют совсем немногие...

Тоска по родине

Знакомый журналист уехал из Павлодара в Россию, куда-то под Нижний Новгород.

Года два спустя приехал погостить, зашёл ко мне.

Рассказывает: «Всё у меня хорошо: и с жильём, и с работой... В местное литературное объединение вхожу...».

– Но какой-то ты не очень весёлый, – говорю ему.

И он, как будто даже с отчаянием, вдруг отвечает:

– Ты понимаешь... Там неба нет!

Блёстка от Егорова

Мой друг Толя Егоров рассказывал:

– Приехал я в гости к родным. Сидим с братом Сашкой, смотрим по телевизору новости. Опять – сплошные катаклизмы: вулкан «проснулся» в Юго-Восточной Азии, израильтяне воюют с палестинцами, горят торфяники в Подмоскovie – Москва в дыму.

Тут входит мать:

– Саша, сынок, с крысой пора что-то решать – опять из кладовки кусок сала утащила.

Блёстка от Никифорова

Сибирский журналист Пётр Фёдорович Никифоров рассказывал:

– Был в дальней командировке – в тайге. Решил навестить старого охотника – таёжника, давнего своего знакомого. Слышал, что похоронил он пару лет назад вторую жену.

Встретились, поздоровались:

– Ну, как поживаешь, Евграфыч? – спрашиваю.

– Да слава Богу ничего, – отвечает, – вот, третью старушку доярживаю.

Самому Евграфычу за восемьдесят, а «старушке» его чуть-чуть за пятьдесят.

Тенденция

О понравившейся ему женщине он говорил так:

– Да, это моя тенденция.

А о не понравившейся:

– Нет, это не моя тенденция...

Результат

Было это в нашем совхозе. Парторг вызвал механизатора, решившего уйти от жены к соседке, долго его воспитывал, убеждал – как хороша его жена, поэтому он просто обязан к ней вернуться...

И услышал в конце воспитательной беседы:

– Ну, коли вина така хороша, берить её соби и живить с нею...

Оценка

Приятель купил новую машину – иномарку. Хвалится:

– Мотор – чудо, не гудит, а шепчет. И бензин не ест, а только нюхает!

Мудрость жизни

Один мой знакомый говорил об умении жить так:

– Кто понял жизнь – тот не торопится.

Бродский и Цветаева – на разлив

Павлодарская поэтесса Ольга Григорьева вела вечер в Доме Шафера, посвященный Иосифу Бродскому и Марине Цветаевой. Поэзию Бродского она сравнила с брагой – так в ней всего много, всё в ней бродит, будто в хмельном русском напитке. А поэзию Цветаевой Ольга сравнила с чистым спиртом, имея в виду стремительность мысли поэта, за образами которой бывает трудно угнаться...

Говорю Ольге:

– Теперь, когда захочу послушать Бродского в твоём исполнении, буду говорить: «Угости-ка меня бражкой!». А если захочу чего-нибудь цветаевского, попрошу: «Плесни-ка ты мне спирта!».

Кто кого выгуливает

У него, единственного среди чиновников областного масштаба, была сшитая на заказ в спецателье пыжиковая шапка, чем он очень гордился. И когда он выходил вечером прогуляться по морозцу, жена говорила: «Пошёл выгуливать свою пыжиковую шапку...».

Педант

Бывший председатель Павлодарского облисполкома Ж.Г. Исаков каждый год звонит мне из Петропавловска и поздравляет с днём рождения – на день раньше.

Я ему не раз говорил, что день рождения у меня завтра.

– Ничего не знаю – отвечает всегда Жаксылык Габдуллинович, – у меня записано двадцать первого – двадцать первого и буду поздравлять.

Поняла с полуслова

В гостях у приятеля: сидим, выпиваем и закусываем. Закончили бутылку, и хозяин с расстановкой говорит жене: «Ну, где там у нас?».

Больше не было сказано ни слова, а новая бутылка с горячительным уже стояла на столе...

Возвращение на землю

Знакомый журналист рассказывал:

– Мне сделали сложную операцию под общим наркозом. Просыпаюсь после неё и не понимаю – где я? Тепло, светло, тихо... Думаю, грешным делом, может быть, я уже в раю? И вдруг слышу женский голос: «Вы уже проснулись? Можно вас спросить?». С трудом поворачиваю голову – на соседней койке и впрямь женщина, симпатичная. Я ещё плохо соображал и даже не успел удивиться – почему мы в одной палате?

И вдруг она спрашивает: «Скажите, а вы уже пукали?».

– При чём здесь это? – растерялся я.

«Ну как же, – говорит она, – это очень важно для нашего с вами положения, после такой операции. Мне врач прямо так и сказал!».

И я сразу понял, что мы с ней по-прежнему на грешной земле.

Прощание...

Из стихотворения «Прощание с советским паспортом», присланного в редакцию:

Прощай, пурпурный мой, прощай!

Как всё случилось, не пойму –
Заголубел душой и телом,
А был как ты – пурпурным, смелым
И всё хотелось самому.

У нас в семье...

Талисман

Впечатления детства – самые яркие. И подчас – самые неожиданные: с течением лет забываются события, казавшиеся в пору их свершения наиважнейшими, а какая-нибудь мелочь, пустячок из детства помнятся всю жизнь...

В четвёртом классе мне делали операцию аппендицита в участковой больнице, за два десятка километров от нашего совхоза. Конечно же, я отчаянно трусил, но меня согревала и успокаивала одна-единственная мысль: пока я в носках – всё должно быть хорошо... Дело в том, что утром мать помогала меня собирать в больницу и сама одела на меня носки. И вот потом, оставшись один, я внушил себе: раз носки на мне, я по-прежнему связан с ней, и, значит, она как бы рядом со мной.

Когда за мной пришли на операцию, меня тревожило только одно: надо будет снимать носки или нет? Для меня это был вопрос жизни и смерти.

Разумеется, носки пришлось снимать...

Операция была без наркоза, но помню её плохо: прикосновение к животу чего-то металлически-холодного, укол... Затем перед глазами окровавленный червяк с белыми вкраплениями внутри – аппендикс – его мне показал хирург...

Всё это время в мозгу билась одна и та же мысль: носки, ведь я снял их ненадолго, они ещё хранят прикосновение материнских рук, главное – побыстрее их надеть.

От операционной до палаты я шёл сам. Едва добрался до кровати – взялся за носки.

– Ты что, с ума сошёл? – рванулась навстречу сопровождавшая меня сестра.

Но, к счастью, она опоздала: носки уже были на мне.

...Тридцать с лишним лет минуло с того времени, и как же мне жаль порой, что нет у меня теперь такого заветного талисмана, который так же, как тогда, мог бы придать уверенности в трудную минуту, подарить надежду...

В первый пар

За свою ещё не слишком долгую, но уже и не столь короткую жизнь мне довелось побывать в приличном количестве бань. Были среди них многообразные русские, финские и даже одна турецкая, были бани общего пользования и семейные; случалось и в «номерках» бывать... А помнится более всего наша собственная, домашняя...

Отец наш страстно любил попариться, а приличной парной в целинном совхозе, где мы жили, не было, вот он и загорелся идеей занять свою собственную баню.

Место под неё определили на задворках усадьбы, в огороде. Выкопали яму размером метра три на четыре. Нарастили пластаные стены – примерно на один метр от земли, наложили сверху берёзовых жердей, укрыв их опять же пластом; соорудили крохотное оконце – почти на уровне земли – и собственно «здание» оказалось готово. Внутри выкопали ещё одну яму – для стока воды, настелили пол, соорудили полоч, лежать на котором взрослый человек мог, лишь подогнув колени. Примерно четверть бани занимала печь, сложенная из кирпича. Полукруглый свод её состоял из тех же кирпичей да из бутового камня – это была ещё и каменка. Слева в углу стояла большая кадушка с водой. Чтобы вода была погорячей, использовалось весьма своеобразное средство. На печи всегда специально нагревались два отслуживших своё гусеничных трака. Когда они накалялись докрасна, их бросали в кадушку.

Был ещё небольшой предбанник: углубление перед баней, прикрытое от ветра то ли рубероидом, то ли ещё чем-то.

Придирчивый читатель может не без ехидства спросить: а не забыл ли я про такую небольшую деталь, как труба? Но в том-то и дело, что никакой трубы в нашей бане не полагалось. Наша баня топилась по-чёрному: дым выходил не в трубу, а в дверь. Не знаю уж, почему баня была именно такой (вероятнее всего, такую оказалось проще соорудить), знаю лишь, что популярностью в округе она пользовалась чрезвычайной. От желающих посетить баню отбоя не было. Вполне возможно, впрочем, что причина крылась не в каких-то особых её достоинствах, а в том, что большинство наших соседей и такой не имели.

Банный день зимой – целое событие. В субботу после обеда мать затапливает баню берёзовыми поленьями. Мы, ребяташки, заняты подвозкой воды. Надо наполнить кадушку, в которой не меньше четырёх-пяти фляг, затем трёхведерный бак для холодной воды, почти такой же – для особо горячей... Нужен ещё и резерв... В перерывах между поездками (воду возили из колонки) каждый раз проверяем, как горит печь. Поначалу дрова занимают неохотно, в настывшей за неделю бане полно дыма, несусветный холод. Но мало-помалу огонь набирает силу, и вот уже дым весело валит из двери, стелется по заснеженному огороду.

Часа три топится баня, прежде чем мать, лично убедившись в том, что печь прогорела, а оставшиеся в ней угли уже не испускают голубоватого свечения, бросает призывной клич:

– Ну что, архаровцы, кто в первый пар?

Первый пар – не для слабаков. Обычно это привилегия отца. Иногда он берет меня с собой, и я этим горжусь. Мать вручает нам по стопке чистого выглаженного белья, по полотенцу, и мы отправляемся... Я – в валенках на босу ногу, в трусах и в пальтишке на голое тело – бегом не замёрзну.

И вот баня принимает нас в своё разгорячённое чрево. Всё в ней дышит сухим зноем с ароматом дымка, берёзового веника, раскалённых камней, горячего дерева... Воздух так напоен зноем, что кажется густым, осязаемым; кажется, его можно потрогать руками. Сразу опалает уши, перехватывает дыхание, ощущение – вот-вот затрепчат волосы. Не выдерживая, я тут же присаживаюсь на пол – тут хоть дышать можно.

Отец, довольно побряхтывая, доводит до кондиции берёзовый веник, обдавая его в тазу кипятком и держа затем в горячей воде. Потом он не спеша взбирается на полку и, полежав недолго, начинает легонько охаживать себя веником – грудь, плечи, спину... Моя задача – быть наготове, чтобы в нужный момент поддать жару. Я уже зачерпнул в ковшик горячей воды и жду сигнала, по-прежнему сидя на полу. Мне жарко, но я креплюсь – нельзя показывать слабость.

– Давай полковника! – командует отец. Я, чуть-чуть привстав, плескаю из ковшика на раскалённую каменку. Она как будто взрывается в ответ, и я сразу бросаюсь на пол, чтобы не изжариться заживо в этой встречной волне, заполняющей все уголки небольшой бани. Впрочем, волна достаёт меня и на полу, поэтому я опускаю лицо в таз с холодной водой.

Чувствую, и отца, однако, достало: веник утих, а с полка доносится протяжное: «А-а-а...». Впрочем, это продолжается всего несколько мгновений, потом слышу веник: сперва шуршание, потом лёгкое похлопывание и, наконец, настоящий хлёт... Затем снова следует команда «поддать», и я опять плескаю из ковшика на каменку, которая огрызается не менее злобно, чем в первый раз; и баня вновь наполняется невыносимым жаром. А отцу теперь вообще хоть бы что: правда, он парится лёжа, но хлещет себя ещё неистовей.

Успокаивается он лишь после того, как я поддаю в третий раз. Сползает с полки, голышом выходит на улицу и с минуту упоённо катается по снегу в огороде. Я с опаской наблюдаю за ним через едва приоткрытую дверь и вижу, что эта процедура доставляет ему неопишное удовольствие.

После купания в снегу отец отдыхает несколько минут в предбаннике, а затем вновь забирается на полку... И всё повторяется снова. Правда, жар, как мне кажется, становится помягче, и каменка уже не взрывается в ответ на мои «поддавания», а недовольно фыркает...

Наступает мой черёд париться. Поскольку сам я этого пока не умею делать, отец укладывает меня на полку и устраивает веником «лёгкую экзекуцию». Сначала я терплю, потом начинаю орать благим матом, что на него никак не действует, и я получаю свою дозу здоровья с известной долей принуждения.

Зато потом мне тоже позволено недолго постоять в предбаннике и самому ощутить, с какой благодарностью принимает разгорячённое тело столь желанную прохладу. Эту телесную радость, это непередаваемое блаженство в состоянии оценить лишь тот, кто его пережил.

Моемся мы с отцом наскоро, без малейшего усердия. Наши расслабленные, напоенные лёгкой, приятной усталостью тела требуют покоя и отдыха.

Федя Попов

Воскресное утро. Вся семья в сборе, сидим за столом. Мать напекла пирогов, и мы их уплетаем за обе щёки. Нас, детей, четверо да двое взрослых – и большая, с горкой, эмалированная чашка быстро пустеет.

– Ну вы даёте, – смеётся отец. Он в хорошем расположении духа и не прочь поговорить. – Как Федю Попова – не накормить.

– Какого Федю? – мы уже почти сыты, а потому не прочь и послушать.

– Да был у нас в деревне мужик – Федя Попов – так всего раз в жизни наелся.

– Ну да?! – изумляемся мы хором. – А как же он жил?

– А так и жил – всё время голодный: все садятся за стол, и он садится, все встают, и он встаёт. А сам никогда не наедался. Раз мужики говорят: «Федя, можешь килограмм сала съесть?». Он говорит: «Могу, только с хлебом». А все вместе только что из-за стола встали – пообедали. Принесли сала, свешали на безмене, булку хлеба нашли...

– И съел?! – восторгаемся мы.

– Съел – и хоть бы хны. Мужики говорят: «А ещё можешь?» – «Могу, – отвечает, – только попить дайте сначала». Ну, они плюнули с досады и ушли...

– Ты ж говорил сначала, что наелся, – не унимаемся мы. Рассказ нас страшно заинтересовал.

– А это в другой раз, на базаре было. Раньше знаете какие базары в больших деревнях были! По воскресеньям отовсюду народ собирался – не обязательно купить там что-то или продать, а пошататься, поглазеть... Из нашей деревни мужики тоже приехали, и Федя Попов с ними. Ну, выпили по шкалику и ходят по базару. А раз выпили – почудить охота. Видят – один мужик пирожки продаёт. Подошли. «У тебя с чем пирожки?» – «С картошкой». – «Сколько?» – «Было сто, четыре вот продал, девяносто шесть осталось». – «Давай на спор, что наш мужик все твои

пирожки сейчас съест!» – «За раз?» – переспрашивает продавец. «Ну да, прямо здесь». – «А на что спорим?» – загорелся тот. «А на что хошь!» – «Давайте так, – предлагает продавец, – если съест, тогда ничего не платите, а если хоть один не съест, за всё, что съел, платите вдвойне». – «Ладно, согласны, – говорят мужики. – Давай, Федя, ешь от пуза и не подкачай, брат!». А тому – только дай. Ему эти пирожки – как нам вареники. Ну а с другой стороны подумать: шутка в деле – такую прорву умять. Съел он пятьдесят штук и говорит мужикам: «Боюсь, братцы, не совладать со всеми... Уплотим за энти, пока не поздно». Те – ни в какую. Спектакль же может сорваться, да и денег жалко. «Ешь, – говорят, – Федя, насыщай своё чрево, другого раза, может, и не будет». Он дальше ест. Штук двадцать осталось. «Всё! – заявляет. – Сытый. Спасибо, больше не хочу». Мужики видят – дело плохо, стали уговаривать: «Поднатужься, браток! Да такому, как ты, двадцать пирожков – да это ж раз плюнуть!». Уговорили. Съел все до последнего.

– Все девяносто шесть? – ужасаемся мы. – И не лопнул?!

– Не подумал даже. Тот, что без пирожков остался, напоследок заругался: «Утроба, говорит, твоя нечеловеческая, в Бога тебя и в душу!». А Федя его спрашивает: «А ты в другое воскресенье ещё сюда приедешь?».

Казалось бы, пустячный разговор, шутка – а до сих пор помнится.

Память

Давно живя в Казахстане, мать много лет чай пьет только с молоком, любит топленое масло по-казахски, другие казахские блюда, включая бешбармак, который и сама готовит не хуже казашки. Но при этом не любит в бешбармаке баранью голову.

Тут своя история.

Когда в голодную послевоенную пору умерла сестра матери, поминать её было нечем. Поминальный обед сделали из бараньих голов, которые в Сибири, где тогда жили отец с матерью, отродясь не ели. Вот с тех самых пор мать их терпеть не может – даже как неперменный атрибут бешбармака.

На базар, в Купино

Когда отец с матерью поженились, у них не было ни своего жилья, ни имущества, ни даже вещей – почти ничего. Зато какое-то время спустя у них появился велосипед – редкое по тем послевоенным временам транспортное средство. На нём они иногда по воскресеньям ездили из их родной деревеньки Чубаровки на базар в Купино.

Ехали так: отец доезжал до макушки гривы (так здесь называют возвышенную часть складок местности) – чтобы матери видно было оставленный им велосипед – и дальше шёл пешком. Мать доходила до велосипеда, садилась и ехала вперёд, обгоняя отца... Затем оставляла велосипед ему... Так они, меняясь по нескольку раз, за час с небольшим преодолевали восемь километров, разделявших Чубаровку и Купино. А уже по самому Купино шли вместе – отец просто вёл велосипед.

Не знаю почему, но мне за этим нехитрым способом передвижения видится теперь нечто значительное, высокое, романтическое...

Куда потом всё это подевалось?

Как отец заговорил

Рассказывают, что мой отец не говорил до пяти лет. И начал – сразу с мата.

Жаль, не у кого теперь спросить: может быть, до тех пор ему просто нечего было сказать окружающим, а тут что-то переполнило чашу его терпения?

Но, говорила бабушка, радость в доме по поводу прорезавшегося у отца голоса была столь велика, что никто особо и не обратил внимания на то, что именно он сказал.

Запах картошки

Мы жили небогато. Как-то случилось, что у нас не хватило картошки до нового урожая, купить, наверное, было не у кого, а, скорее, не на что. И вот к нам пришли гости и принесли с собой картошку, стали её варить. К столу, когда в доме были гости, нам, детям, подходить запрещалось.

Мы жили небогато, но никогда не голодали. И всё равно я до сих пор помню, как пахла та картошка, которую принесли гости и варили у нас дома. Мне казалось, что я не знал запаха лучше этого.

Картошки в тот раз нам не досталось. А запах помню. И картошку люблю во всех видах.

Спальное место

Когда к нам неожиданно приезжали гости, и надо было как-то всех разместить, для кого-то из нас, детей, мать сооружала совершенно необычное ложе из трёх-четырёх стульев... Их придвигали к теплой задней стенке печки, выходящей в зал, – так что спинки образовывали что-то вроде загородки. Затем мать застилала стулья какими-то фуфайками, старыми пальто, и получалось восхитительное ложе – мы едва не дрались за право спать именно здесь.

Ножик

(Кое-что о педагогике)

Не помню точно, сколько мне было лет – наверное, семь-восемь, не больше. Я был в доме у друзей моих родителей – дяди Саши и тётки Тоси Агеевых, оказался в комнате один и вдруг увидел ножик, вернее, ножичек. Это был не

простой ножичек с одним лезвием, нет, их было два – большое и маленькое, а ещё шило и открывашка для консервов. Он был не плоский и не толстый и так хорошо, ладно ложился в руку, ласкал и холодил ладошку... Никогда ещё я не видел таких ножиков, у меня учащённо билось сердце... А что если я возьму его? Может, никто и не заметит... А может, он им вообще не нужен – иначе почему лежит просто так? Нет никаких сил положить ножичек на место. Я возьму его... На время... Поношу, поиграю, а потом принесу и положу обратно...

Я взял ножик, запросился домой. «Ты же только пришёл, – сказала тётя Тося, – куда спешишь?!» – «Мне надо домой», – тихо сказал я и испугался: а вдруг она поймёт, спросит: «Что это у тебя в кармане?». И я ушёл.

Дома никак не мог найти укромное место, чтобы получше рассмотреть свою добычу. Восторг, радость куда-то улетучились... Ножичек теперь доставлял мне беспокойство. Спрятать бы его! Но куда? А вдруг найдут? Казалось, ножик вот-вот прожжет мой карман.

– Ты что такой взъерошенный? – спросила мать. – Не заболел?

Я вяло помотал головой, отвёл глаза.

– Что с тобой? Почему у тебя рука в кармане? Что у тебя там?

Я непроизвольно вытащил руку – вместе с ножиком.

– Откуда это у тебя?

– Нашёл...

– Где?

Я больше не мог носить в себе свою страшную тайну и, опустив голову, выдал:

– У Агеевых...

Она всё поняла. Не было никаких трёпок, хотя по этой части мать была очень быстра на руку, ни даже внушений. Мне было велено пойти и отдать ножик, сказать, что случайно положил в карман и забыл... Что я и сделал.

Потом я ещё «находил» авторучку. Верхняя часть корпуса у неё отвинчивалась, открывая пипетку, которой закачивались внутрь чернила. Это было нечто фантастическое – я опять не устоял. В доме у нас таких вещей отродясь не было, и мать меня опять застукала. И снова не наказала, а велела вернуть.

С тех пор – как бабка отшептала...

Но к хорошим ножикам и авторучкам я до сих пор равнодушен.

У Поминовых и зола горит

Одно время мои жена с сыном жили в деревне у моей матери. Как-то ей пришлось отлучиться на целый день, и, поскольку дело было зимой, она наказала моему старшему брату Шурке, также гостившему в родительском доме, к вечеру затопить печь.

Мать уехала, брат ушёл встречаться с друзьями, жена с сыном остались дома. К сумеркам матери всё ещё не было, в доме похолодало и, когда пришёл брат, слегка навеселе, моя жена напомнила ему про печь.

– Ну что ж, затопим, – согласился брат и, открыв дверцу, стал совать туда припасённые загодя для растопки дрова. Тут же, у печи, стояло готовое ведро с углём и второе, пустое, для золы.

Жена имела неосторожность подсказать брату, что неплохо бы для начала выгрузить из печи золу (мать не раз жаловалась ей на качество угля, в котором было до половины золы).

Но брат находился в состоянии, отнюдь не способствующем принятию чьих бы то ни было советов.

– Ничего, – с достоинством заметил он, – у Поминовых и зола горит.

Когда дрова занялись, он, сняв с плиты чугунные кружки, вывалил сверху ведро угля, и через несколько минут печь погасла. Пришлось выгребать всё вместе: уголь, полуобгоревшие поленья, золу. За этим занятием и застала брата как раз погодившаяся, к счастью, мать.

– Вот видишь, потухло... – сконфуженно оправдывался он...

...Теперь в своих спорах с братом, когда он чуть-чуть «подпускает», я ему ехидно напоминаю:

– Ну да, конечно: у Поминовых и зола горит...

Не говори красиво

Заспорили как-то дома о самых главных изобретениях, известных человечеству. Называли электричество и паровоз, космический корабль и компьютер и ещё много чего.

Я сказал:

– Если бы человек не был так высокомерен и смог на самом деле всерьёз задуматься о сути вещей, он бы навсегда онемел перед чудесами, которые творит сама природа...

– А по существу? – ехидно спросил средний сын Димка.

– Представьте себе: из чёрной-чёрной земли вырастают зелёный огурец и красный помидор, яблоко с горошину и с небольшую дыню...

Тут бы мне и остановиться, но меня неудержимо несло:

– А сама дыня, а морковка, а картошка и хлеб, дерево и цветок...

– Хлеб? Из чёрной-чёрной земли? – невинно переспросил старший сын Данька.

Теперь, как только я начинаю в их присутствии изъясняться витиевато или торжественно, тут же следует неизменное:

– Ну да... Когда из чёрной-чёрной земли...

А ведь я был тогда прав. Мне всего и надо-то было – вовремя остановиться.

У нас в семье все первые

Собравшись все вместе на 70-летие матери, мы вдруг затеяли шуточный спор о том, кто из нас, её детей и внуков, достиг в жизни большего. И, оказалось, все мы – первые.

Я первым из семьи поступил в университет.

Старший брат Шурка – первый из всех Поминовых (а теперь, надо полагать, и последний), кто закончил Высшую партийную школу.

Младший брат Петька не без гордости подчеркнул, что он учился в двух университетах и одном институте, который один сто́ит этих двух университетов. К тому же Петька у нас первый кандидат наук и доцент.

Сестра Наталья – единственная из всех – закончила институт заочно.

Её дочь Лариска – единственная получила университетское образование на инязе и теперь запросто шпарит по-немецки.

Мой сын Данька – один из всех нас – поступил в технический университет (мы все – гуманитарии) и единственный из всех, кто бросил учёбу. Потом, правда, доучился, получив профессию экономиста, – опять же, пока единственный.

И, наконец, всех переплюнул мой средний сын Димка, сдав экзамены сразу в три российских университета (теперь и такое возможно), – один томский и два омских.

Хорошо бы, сказали мы ему, если бы ты хоть один из них закончил. К счастью, это произошло, и теперь у нас в семье есть и первый дипломированный специалист по информатике.

Теперь слово за младшим, Пашкой. Впрочем, и у него уже есть козырь – выдержав тестовые проверки, он учится в школе-лицее для одарённых детей.

То ли ещё будет!

Искусство виноделия, или Прерванный полёт

У нас на даче растёт чёрный виноград. Есть его почти нельзя, а вино, говорят, делать можно.

Этим и решил заняться в девятом классе Димка. Расклеил по городу объявления – искал двадцатилитровую бутылку; нашёл; собирал виноград, давил; дальше всё делал строго по науке – выводил из бутылки, где бродил будущий напиток богов, какие-то трубочки, неустанно следя за процессом...

Готовую продукцию разлил в разномастные бутылки и стал устраивать с друзьями дегустации.

Мы с женой и матерью решили, что этот творческий процесс требует контроля, и затарили готовую продукцию в трёхлитровые банки.

Винодел был возмущён до глубины души:

– Зачем вы слили моё живое игристое вино в бездушные холодные банки?!

Проснулись мы на станции Мырза

Серебряную свадьбу мы с женой решили отметить поездкой в Алма-Ату – город нашей общей студенческой юности.

Выехали в ночь, проснувшись утром, выглянули в окно: станция Мырза.

– Проснулись мы на станции Мырза, – сказал я, – неплохое начало для путевых заметок, не правда ли?

Шурк-Юрк-Петьк

В последний раз мы навещали деда Тимофея, отца матери, втроем: старший брат Шурка, я и младший, Петька.

Строговатый, не очень ласковый дед, не привыкший выставлять напоказ свои чувства, был искренне рад нашему приезду. И не скрывал этого – наверное, чувствовал, что больше с нами тремя он вряд ли увидится.

Иногда, желая обратиться к одному из нас, он окликал другого; поправляясь, снова ошибался, и тогда у него выходило:

– Шурк-Юрк-Петьк!

Он смеялся:

– Совсем запутался с вами...

И мы смеялись: нам нравилось это наше тройное имя.

Не получилось...

Я не очень хотел, чтобы мои дети становились гуманитариями, и пытался поощрять их интерес к точным наукам и технике. Младший сын Пашка, увлечшийся радиотехникой, казалось бы, продвинулся в этом смысле дальше двоих своих братьев. Когда ему однажды попала в магазине радиодеталей звуковая игрушка «Соловей», которую надлежало смонтировать и спаять по прилагаемой схеме, он с энтузиазмом взялся за дело. Готовая и включённая в электросеть, она должна была имитировать пение соловья. Но когда Пашка, строго следуя инструкции, аккуратно собрал игрушку, она вдруг начала транслировать «Радио России». Случай этот так потряс его, что с техническим будущим было покончено раз и навсегда.

Эстетическое развитие

Моей племяннице Але четыре с половиной года. Она привыкла к вечерним чтениям с отцом, но иногда он отвлекается.

– Папа, ты, наконец, считаешь мне Носова? Или променял ты «почитай-ка» на «покурю-ка»?

Жизненная позиция

Любимое выражение моей племянницы Насти в два года – НИКАДА.

– Настя, сядешь на горшок?

– Никада.

Мировая отзывчивость

На весенних каникулах Настя (11 лет), которая любит поспать, вдруг озаботилась:

– Мне край завтра надо встать в девять часов!

Бабушка недоумевает:

– Зачем?

– «Мир» топить будут...

Это по телевидению прошла информация о затоплении в океане нашей космической станции, отработавшей свой срок, и прогнозах возможных осложнений.

Отмыли деньги

Мой брат отдал дочерям брюки на стирку. Те их постирали и только потом обнаружили в одном из карманов забытую братом купюру в две тысячи тенге.

Деньги они ему вернули.

Брат:

– Честные вы люди!

Дочь Настя:

– Да нет – просто мы деньги отмываем!

«Звездизмы»

Так я называю цикл «блесток», каким-то образом связанных со «Звездой Прииртышья», её журналистами и авторами, весёлыми и грустными историями, которыми бывает так богата редакционная жизнь.

Неожиданное признание

Знакомый редактор областной газеты признался:

– Веришь – нет, иногда ночью проснусь и думаю: твою мать, как хорошо, что бюро обкома партии больше нет.

Верю, потому что знаю: в редакторах он без малого двадцать лет.

Проект «Летающая река»

Он вошёл в мой кабинет лёгкой уверенной походкой, неся на одной руке плащ и держа в другой небольшой плоский «дипломат». Посетитель был элегантен, подтянут и чертовски обаятелен. И говорил исключительно по делу, что стало ясно с первых слов.

– Меня зовут Арнольд Михайлович. Я инженер-конструктор. У меня к вам дело, требующее общественной поддержки. Все сегодня говорят о конверсии, но дальше разговоров не идут. А я имею вполне реальный проект. Условное название – «Летающая река».

– Рассказывайте. Я весь – внимание.

– Как вам известно, мы договорились с американцами уничтожить все ракеты средней дальности. Теперь они свои режут, наши и того хуже – взрывают. А зачем же переводить добро, когда оно ещё вполне может послужить?

Арнольд Михайлович сделал паузу, щёлкнул замками «дипломата», извлёк из него кипу бумаг и положил перед собой:

– Что я предлагаю? А вот что. Берём ракету, их «Эм-Экс» или нашу «Эс-Эс-20» – это неважно, внутренности удаляем, а саму оболочку, так называемый корпус, оставляем. Полдела, считай, сделано. Кладём эту пустую ракету на бок и просверливаем в её нижней части как можно больше отверстий – примерно, как в решетке. Остаётся наполнить ракету водой, подцепить её к вертолёту – это средство доставки – и полив обеспечен. У нас ведь влаги недостаёт, а так можно поливать везде, даже в труднодоступных местах.

Идея столь контрастировала с внешним обликом автора, его безукоризненными манерами и грамотной речью, что я просто опешил:

– Вы это что – серьёзно?

– Ну разумеется. Вот тут у меня все расчёты, – он похлопал рукой по своим бумагам. – К тому же мой проект многоцелевого назначения. Поскольку зимой полив невозможен, я предлагаю на это время запаивать отверстия и использовать ракету для перевозки любых жидких грузов наземным способом.

Увы, я слишком поздно понял, с кем имею дело. Автор проекта века стал раскладывать передо мной чертежи, схемы и графики, официальные письма на фирменных бланках...

Спасла меня опытная секретарша. Заглянув зачем-то в кабинет, она сходу сориентировалась и некоторое время спустя сурово напомнила по селектору:

– Вы не забыли – сегодня лётка? Все уже собрались, ждут вас...

Гонорар за... общение

Он перехватил меня в коридоре.

– Вы редактор?

– Я редактор.

– У меня к вам срочное дело.

– Пойдёмте, раз так.

В кабинете, перед тем, как сесть, он пошарил где-то за пазухой, выложил на стол пачку денег.

– Что это?

– Ваш гонорар.

– За что?

– За общение со мной!

– ???

Оказалось, Пётр Павлович намеревается открыть свою собственную газету «Светило» и хотел бы получить необходимые консультации на этот счёт. Газета его будет духовной (что под этим подразумевается, он не сказал, сославшись на коммерческую тайну). Выходить она будет «по мере необходимости». На первых порах Пётр Павлович собирается пропагандировать создание региональных энергетических колец. Одно из них уже действует вокруг Павлодара. Оно сооружено по инициативе шефствующего над городом и его окрестностями Высшего Реально Действующего Разума, представителем которого и является Пётр Павлович. Энергокольцо имеет радиус 130 километров – во все стороны: начинается оно в центре земли и поднимается на определённую высоту («Чуть выше туч» – уточнил мой собеседник). Кольцо служит исключительно мирным целям, ограждая всех тех, кто в нём находится, от всевозможных вредных воздействий и продляя людям жизнь. Но состоящим на службе у Высшего Реально Действующего Разума энергомонтажникам, сооружающим такие защитные кольца, следует платить – кто сколько может. Для чего Пётр Павлович просит пока (до создания своей газеты «Светило») опубликовать его расчётный счёт в банке и домашний адрес, куда можно переводить деньги. Готов он принять заявки и на создание энергетических колец для других регионов...

Закончив, Пётр Павлович напоследок поинтересовался:

– Журналистами не поможете?

– Не могу – самим не хватает.

– Напрасно, – предостерёг он, а потом махнул рукой: – Хотя чего там – сами потом ко мне прибегут...

Кинул взгляд на деньги, которые всё так же сиротливо лежали на краю стола, деловито поинтересовался:

– Ну а с гонораром как?

– Никак. Забирайте свои деньги.

Он ещё постоял в раздумьи, вздохнул и опять засунул их куда-то за пазуху:

– Правильно. Я бы тоже не взял...

Новатор

Новый редактор был грубоват и прагматичен. Он поломал прежний распорядок дня, требовавший от сотрудников сидения на работе «от» и «до», отменил каждодневные планёрки и недельные летучки, после чего провозгласил главную задачу, стоящую перед коллективом.

– Ваши задо-часы мне не нужны. Вы – пчёлы, собирайте нектар действительности, перерабатывайте и несите в редакционный улей – на полосу. Это и будет мёд нашей жизни.

Всем сразу понравилось: образно, точно и очень понятно.

Разделение труда

У нашей официальной газеты разделение труда с нашими конкурентами из независимых изданий. Мы публикуем соболезнования и некрологи, а они – объявления о знакомствах «с клубничкой».

А роднит нас то, что все мы берём за эти специфические услуги деньги.

Критерий

Один мой приятель, несостоявшийся поэт, смолоду подававший большие надежды, так определял суть настоящего творчества:

– Есть в стихах романтическая дурь – есть и поэзия. А нет её – и поэзии нет.

Прогресс

Старый журналистский волк – студенту-третьекурснику:

– А ты вырос: раньше тебя надо было переписывать, а теперь можно сокращать целыми абзацами.

Сон

Жене приснился сон. Умер один из наших сослуживцев. Он лежит в гробу, на диване в вестибюле редакции, и, слегка приподнимаясь, пожимает руку каждому входящему.

Очень на него похоже.

Аргумент

Пришёл пенсионер – бывший сотрудник редакции. Просит оказать материальную помощь в связи со смертью жены.

Аргумент у него такой:

– Жить на наши пенсии ещё как-то удавалось, а вот смерть её оказалась непозволительной роскошью: хоронить не на что.

Кличка

Секретаршу шефа – худую и злющую, вечно чем-то недовольную, по имени Айша Канапьяновна сотрудники за глаза называли Анашой Коноплянковой.

Всё в жизни относительно

Всякий раз, когда наша областная газета сообщала о каких-то изменениях в высшем руководящем органе обкома партии – его бюро, заместитель редактора Побережников философски замечал:

– И тот – уж член бюро, а прежний – просто член...

Возраст спелого арбуза

– Как жизнь? – интересуюсь у бывшего сотрудника редакции, несколько лет назад ушедшего на пенсию.

– А какая может быть жизнь у человека, вступившего в возраст спелого арбуза? – меланхолично замечает он. – Пузо – растёт, конец – сохнет...

Знание жизни

Как-то был в командировке вместе с большим областным начальником. В одном из совхозов, как водится, у директора выпили, закусили. Он вышел проводить: благодарил за приезд, приглашал ещё...

– Да, ладно, не усердствуй, – добродушно остановил его мой высокопоставленный спутник, – сам не раз встречал гостей – знаю: нет для хозяина ничего приятней, чем пыль с колёс отъезжающего начальства.

Уступка

Мы знакомы лет пятнадцать. Года три не виделись, а она всё такая же хрупкая, свежая, девчонка-подросток. И как всегда в делах: пишет сценарии, снимает по ним фильмы, собирается в очередной раз в зарубежную командировку...

– Ну а замуж когда?

Она не обижается – смеётся.

– У меня теперь шансов много. Раньше дедушка наказывал: «Смотри – только за казаха!». Потом сделал уступку: «Пусть будет мусульманин...». Затем ещё одну: «Выходи хотя бы за советского!». А буквально на днях заявил: «Пусть будет кто угодно, лишь бы не негр!». Думаю, к следующему приезду получу полную свободу выбора...

Что такое газета

Всем известно определение, данное Лениным: газета – не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. Есть и другие: приводной ремень, подручная партии, коллективный разум, зеркало нашей жизни и т.д. и т.п... Но самое удивительное определение, которое я когда-либо слышал, сорвалось в порыве откровения с уст секретаря райкома партии в кругу единомышленников:

– Газета должна быть послушной, как любимая жена.

Результат

Знакомый представитель номенклатуры, не лишённый поэтического дара, так охарактеризовал результаты перестройки:

Опасно есть – в жратве нитраты.

Вода не водка – страшно пить.

Всё небо в дырках, зад – в заплатках.

В желудке – язва, в яйцах – СПИД.

Из неизданного

К нам в редакцию пришло письмо из воинской части – со стихами. Там были и такие строчки:

Все солдаты спят на койках

И своих целуют жён.

Только я, как шут какой-то,

На посту стоять должен...

Вот такой Иерусалим...

(Из читательского письма)

«...Жизнь наша протекает во тьме... Свет дают от случая к случаю... И сидим мы без телевизора, без радио, без холодильника...

Вот такой получается Иерусалим!».

Отчего происходит искажение лица

(Из письма в редакцию)

«Зарплату уже полгода не дают. А за квартиру платить надо, за продукты. О здоровье и говорить нечего, дома сижу – в больницу идти без толку – там тоже денег потребуют...

А кто это все придумал?

...А ведь я не старуха, мне всего 51 год... Но вот от всех этих переживаний и получается у меня искажение лица...».

Изысканная просьба

Объявили очередную подписку на газету. Вроде и недорого, по сравнению с другими, но всё равно многим не по карману. И вот письмо в подтверждение – из села Фрументьевка Качирского района:

«Много лет я выписывала газету, и была она для меня – как свет в окошке. А теперь вот не могу – не за что... Подарите мне подписку на «Звёздочку» – уж будьте настолько перпендикулярны!».

Ну можно ли отказать человеку после столь изысканной просьбы?

Деревенская валюта

Журналист нашей газеты ездил в командировку в дальний район. Привёз оттуда такую новость. В одном из сёл сохранился клуб, и время от времени устраивают там дискотеку (фильмов в сельских клубах уже давно никто не показывает). Завклубом остался, но денег ему тоже не платят, поскольку такой должности теперь нет.

В ходу – разнообразная деревенская валюта. Хочешь попасть на дискотеку – неси три куриных яйца, или стакан сметаны, или пять пустых бутылок...

И ходят, и носят...

«Я никогда не лебездю!»

Одно время у нас в редакции работал водитель, любивший ввернуть в свою речь что-нибудь «этакое-такое» и почти всегда попадавший из-за этого впросак.

Вот он возбуждённо изъясняется с кем-то по телефону:

– Это я-то лебездю? Я вообще никогда не лебездю!

На самом деле имелся в виду глагол лебезить...

Ещё в его лексиконе были «берибельда» (в смысле – белиберда), «семь пятен на лбу» (вместо семи пятей во лбу) и прочие «изобретения»...

Советы тёти Лёли

Знакомая нашей сотрудницы, тётя Лёля, поучала подружек своей дочери:

– Не бойтесь, девки, ешьте сало – сало «не толстит».

* * *

У неё же была частушка:

«Ой, бабоньки, завтра пятница:

Кто не пьёт-не даёт – после схватится!».

Два сапога – пара

Пришла устраиваться на работу новая секретарша. Обо всем договорились, но она не уходит, мнётся:

– Я должна вам сказать... Я на одно ухо не слышу.

– Тем более сработаемся, – говорю ей. – Я на один глаз не вижу.

Замшелость

Зашёл знакомый – старый журналист. Небритый, заросший щетиной – волосы у него растут даже из ушей и носа.

Безотходная технология

(Рукописи не горят)

Я знал одного литератора, который говорил про себя так:

– У меня ничего не пропадает, я работаю по безотходной технологии.

Он не выбрасывал и не сжигал рукописи своих давно опубликованных произведений. Он аккуратно разрывал пожелтевшие стандартные листы на две равные половинки и складывал их в туалете – для естественных надобностей.

– Мои рукописи получили вторую жизнь, – говаривал он при этом.

Зная уровень его творений, я добавлял про себя: «Хорошо бы, если бы это была их главная и единственная жизнь».

Вывод

Знакомая поэтесса после просмотра очередного блока новостей по российскому телевидению выдала четверостишие:

Два года смотрела я «Новости»,

И ясно до коликов мне,

Что нету печальнее повести,

Чем повесть о нашей стране.

Я думаю, впрочем, что то же самое можно сказать не только о России.

Командировка раньше и теперь

Раньше журналисту в командировку на село можно было ездить без денег. Встретят как дорогого гостя: накормят, напоят и спать уложат. Ничего, кстати, не требуя взамен...

Теперь времена изменились. Журналистка нашей газеты оказалась в дальнем районе в доме у фермера. Хозяин был в отлучке, а его жена охотно рассказывала об их житье-бытье: что, мол, Бога гневить, не бедствуем, и сами себя пропитанием обеспечиваем, и на продажу остаётся...

Дело шло к обеду, на кухне у жены фермера все кипело-скворчало, распространяя дразнящие ароматы. Контакт с героиней был полный, да и есть, по правде сказать, хотелось – выехали-то из города затемно. Журналистка сделала вид, что собирается попрощаться.

– Уезжаете? – уточнила собеседница и тут же предложила: – А может, сметаны у меня купите?

Журналистка от неожиданности оторопела, хозяйка же энергично настаивала: «Берите, берите, в городе такой не купите... Ещё яички есть... свежие... И недорого...».

Купила гостя и сметаны, и яичек. А поскольку никакой другой перспективы поесть не просматривалось, перекусывали в машине с водителем и фотокором предусмотрительно захваченными из дома бутербродами.

Авторское самолюбие

Давно и очень точно сказано: авторы самолюбивы, как пудели.

И вот ещё одно тому подтверждение.

Только что выпустивший первую книжку поэт, уже немолодой и немало повидавший человек, жаждет немедленного и всеобщего признания. Он не устаёт перечитывать свою книжку, и раз от раза она нравится ему всё больше.

И вот, наконец, публичная оценка – рецензия в столичной газете. Правда, она посвящена сразу нескольким поэтическим сборникам... С досадой сообщая мне об этом, автор как бы между прочим замечает:

– Про поэта С., который пишет уже 30 лет, там всего 64 строки, а про меня – 72.

И так, мол, ясно – кто есть кто.

Логика

Были с заместителем редактора нашей газеты П.А. Побережниковым на Всесоюзном семинаре-совещании по мелиорации, который проходил в известном колхозе «30 лет Казахстана». Сам Побережников представительствовал, а мне, как молодому корреспонденту, поручил написать информацию. Дело нехитрое, я написал, споткнувшись лишь в одном месте. Семинаром руководил первый заместитель министра мелиорации и водного хозяйства СССР Поладзаде.

– Пётр Арсентьевич, ясно, что Полад – это фамилия, а вот «заде» пишется с большой или с маленькой?

Побережников задумался, но лишь на мгновение.

– Его заде всегда с большой, – с непоколебимой уверенностью изрёк он.

Так я и написал. И только спустя какое-то время выяснил, что эта часть фамилии пишется всё же с маленькой. Но житейская логика у нас, как правило, вернее и выше любого правила, а лингвистические законы – они тоже не вечны, особенно в русском языке.

Тост

Отмечали юбилей журналиста-ветерана. Было много слов, как всегда, не без обычного в таких случаях перебора...

Один из тостующих высказался в том смысле, что юбиляр всей своей биографией доказал: журналистика – это не профессия, а образ жизни...

Недолюбливавший этого журналиста за снобизм и себялюбие заместитель редактора Побережников, сам хорошо знавший цену журналистике, тут же взял слово и произнёс такой тост:

– Давно работая в газете,

Пришёл я к мысли таковой:

Уж если жить на этом свете –

То только жизнью половой!

* * *

Мария Григорьевна лет сорок работала у нас телеграфисткой. И на всех редакционных гулянках произносила свой коронный тост:

– Дай вам Бог всего, чего хочется...

Тут Мария Григорьевна делала паузу и неизменно добавляла:

– В эту же ночь!

И странное дело: сколько раз повторялась, а не надоедало.

Магарыч

Среди наших нештатных авторов он появился недавно. Человек уже немолодой и небесталанный, он приносит нам свои заметки, размышления о жизни, короткие рассказы. Некоторые из них мы публикуем.

Как-то он заявляется ко мне в пухлой куртке, вроде даже раздался по бокам, и протискивается в дверь почему-то боком. Расстёгивается и достаёт из боковых карманов пиджака по бутылке водки.

– Вы что это? – изумляюсь я. – Зачем?

– Ну как же, – чувствуется, он не в своей тарелке, – гонорар вот получил... Магарыч положено ставить... Никак не привыкну: мало того, что печатают, так ещё и деньги за это платят...

Страшная месть

Нового редактора сразу невзлюбили. И было за что – будучи сам человеком в газете случайным, он относился к журналистам свысока, считая их людьми никчёмными.

Они платили ему тем же, взаимная неприязнь росла.

В день своего пятидесятилетия редактор получил телеграмму: «Поздравляем юбилеем. Нетерпением ожидаем встречи». И три подписи – фамилии недавно умерших сотрудников.

Форма первична

(Из советского материализма)

Эту историю мне рассказал Альходжа Мухамеджанов, бывший редактор газеты «Сарыарқа самалы», ветеран журналистики.

– Дело было в Тургае, летом. Середина июля, жара под сорок градусов... Начинается заседание бюро обкома партии. И вдруг первый секретарь объявляет перерыв. Оказывается, несколько приглашённых явились на бюро без галстуков. Тут же были вызваны две или три обкомовские «дежурки», бедолаг увезли дожигаться.

Это был урок «младшим товарищам» по партии на всю оставшуюся жизнь.

* * *

А вот уже из совсем недавнего прошлого:

Ельцин на совещании, набывшись: «Не так сели!» – новому премьеру и его заму. Традиции незыблемы.

Земная юдоль вдохновения

Надпись на двери кабинета заведующего отделом культуры областной газеты гласила: «Не обольщайтесь!».

Она адресовалась поэтам и прозаикам, но, увы, мало кого останавливала.

Кто кому должен

Написал очерк про С.П. Шевченко – к его шестидесятилетию. Опубликовали. Через какое-то время звоню:

– Ну как?

– Замечательно. Не могу от телефона оторваться – весь день звонят, поздравляют... – и тут же, без всякого перехода: – Так что с тебя бутылка!

– С меня-то почему? С какой стати?

– Так ты же на мне своё мастерство оттачиваешь!

Правила восточного гостеприимства

Ездили в командировку вместе с опытным журналистом, который всю жизнь проработал в Средней Азии. Изрядно проголодались и приняли приглашение молодого агронома, который показывал нам хозяйство, перекусить у него дома. Тот волновался: жена была в отъезде, хозяйничать приходится самому... Спросил, что мы предпочтём – перекусить на скорую руку или подождём, чтобы подзаправиться основательно. Вот тут-то старый газетный волк и изрёк глубокомысленное:

– Никогда не спрашивай у гостя – хочет ли он, чтобы хозяин зарезал для него курицу. Потому что гость – ишак хозяина: куда хозяин захочет, туда гость и поедет.

Не знаю, откуда он это взял, но мне запомнилось. А в тот раз хозяин сполна воспользовался своим правом, и мы у него заночевали, хотя и не планировали это.

Мягкая валюта

Муж одной нашей сотрудницы работает на мебельной фабрике. Зарплату ему долго не платили и вдруг выдали сразу за полгода – мягким уголком, их выпускает его же предприятие. Оценили уголок почти в тысячу долларов... Его можно было и не брать, но живых денег всё равно нет и не предвидится.

Живёт семья в своём доме, для уголка там места нет, да и деньги нужны позарез... И вот расклеили по городу объявление: продаётся мягкий уголок, дёшево... Потенциальные покупатели позванивают, но почему-то не берут.

Муж нашей сотрудницы сокрушается:

– Вот что значит мягкая валюта – никого не привлекает...

Побудем троечниками

Когда нам в редакции в очередной раз «выкручивают руки», заставляя писать то, что писать по-хорошему никак нельзя (но и отказать бывает нельзя: журналист – существо подневольное), мы вспоминаем спасительную формулировку Бабина: «Побудем троечниками!». То есть напишем «раз вам надо», но без усердия, для видимости, как Бог на душу положит.

Своего рода саботаж, мелкая месть, фига в кармане...

Ошибки

Бывший редактор «Казахстанской правды» Фёдор Игнатов, сменивший за свою жизнь не одну редакцию, рассказывал мне, что знавал курьера, который часто повторял: «Нет, ошибки в газете нужны – ошибки веселят читателя».

Не знаю – как читателя, а меня мало повеселила ошибка, которая могла стоить головы: в тексте важнейшего указа наша газета окрестила президента вместо всенародно вненародно избранным.

Чуть не проскочил у нас однажды заголовок «Бздительные односельчане»...

А павлодарская «Нива» вышла с очерком «Предан земле своей» – хотела прославить знатного бригадира-хлебороба и чуть ненароком не похоронила.

«Индустриальная Караганда» в честь полёта в космос Валентины Терешковой выдала на первой странице шапку: «Есть 76 оборотов вокруг земли!» (имелось в виду, разумеется, оборотов).

«Казахстанская правда» однажды едва не опубликовала такой перл: «Близится к завершению уборка кокосовых культур» (речь, ясное дело, о колосовых).

Так что если тебя самого это не касается, или просто по прошествии времени, можно и согласиться с тем, что ошибки нужны, что ошибки веселят читателя...

Я тучи разгоню руками

Готовим номер к очередному государственному празднику. Ответсеку принесли на показ фотоколлаж. На нём величественные здания столицы, индустриальный пейзаж, хлебное поле... И над всем этим весёлые облака...

– А это ещё что за тучи? – хмурится ответсек. – Что вы хотите этим сказать? Так не пойдёт – сделайте ясное небо!

Философское

Один из поэтов редакции, пожелавший остаться безымянным, родил после очередной командировки на село такие строки:

Хоть и редко посещая

Сельский дырчатый клозет,

Вижу: вот судьба какая

Политических газет!

«Неопровержимые чувства»

Из стихов под таким заголовком, присланных в газету:

Оля, Олечка, Оль, успокой в сердце боль,

Осознай всё, пойдь мне навстречу.

Страх в себе побори, если сможешь – дозволю

Целовать твои нежные плечи.

И о том не забудь: твоя девичья грудь

От природы сильна магнетизмом...

Неуёмная страсть, чтоб губами прильнуть,

Наслаждаться твоим организмом.

* * *

Ещё из стихов, поступивших в редакцию:

И твой прощальный взгляд с плывущего перрона

Вонзится в грудь мою под перестук колёс.

Перефразируя классика

(о себе любимом)

Я снова в деревне,

Хожу за грибами,

Пишу свои «блёстки» –

Живется легко...

Частушка

На введение Казахстаном своей национальной валюты – тенге – поэт Виктор Семерьянов откликнулся четверостишем:

Я люблю вино и бражку,

Пошататься по пурге.

А ещё люблю Кульпашку,

У которой есть тенге.

Кульпаш Конырова работала у нас корреспондентом, а теперь блистает на «Хабаре».

Крамольная мысль

Он – наш коллега. Но до того испортил отношения со всеми, до того насолил каждому, что мне иногда приходит в голову такое: «Не дай Бог помрёт – некролог написать будет некому, никто не возьмётся...».

Цитаты

Сыновья Димка с Пашкой, читая нашу газету, иногда потешаются надо мной. Как-то они выловили и теперь постоянно цитируют такой перл: «Тревожное ожидание весенних попусков сменилось полным удовлетворением...». Это начало материала о традиционном разливе Иртыша.

* * *

Из Лебяжинской районной газеты «Ленинский путь»: «Сенá нынче уродились богатые...».

«Заветы» Павла Ильича

С развитием ЭТЭКа – Экибастузского топливно-энергетического комплекса – быстро рос и город Экибастуз. Здесь решено было создать свою городскую газету. Не мудрствуя лукаво, назвали её «Заветы Ильича». А редактором назначили П.И. Оноприенко – собкора «Звезды Прииртышья» по Экибастузу. И поскольку звали его Павел Ильич, газету журналисты тут же окрестили «Заветами Павла Ильича».

Буковка – копеечка!

Гонорар для него – святое.

Мне кажется, что даже когда он пишет, в голове его всё время звучит неслышимая для других музыка: «Буковка – копеечка, буковка – копеечка, буковка – копеечка...».

Эпиграмма от Азарова

Евгений Григорьевич Азаров известен павлодарцам не только как крупный руководитель, но и как автор пародий, эпиграмм, дружеских шаржей. Одна из его удачных эпиграмм посвящена Сергею Павловичу Шевченко:

Создатель романов,

Любитель кеспе,

Мастистый писатель

Шевченко С.П.

Питательно, но невкусно

Журналистка Марина Юрченко обозревала на редакционной летучке содержание газеты за последние две недели. Охарактеризовала его так:

– Знаете, всё у нас полезное, нужное, можно сказать, питательное, как соя, но невкусное.

Писатель – по штату

После выхода на пенсию С.П. Шевченко какое-то время подрабатывал на заводе «Октябрь» – организовывал там музей, писал книгу о предприятии.

Однажды пришёл ко мне и заявил:

– Теперь я – настоящий писатель!

И пояснил:

– Директор утвердил штатное расписание. Я в нём тоже есть, сам видел: уборщица – одна, дворник – один, писатель – один...

Этикет

У заведующей отделом писем нашей газеты З.А. Суворовой есть постоянный автор в Щербактах. Материалы он шлёт именно ей, сопровождая их короткими личными посланиями.

Одно из них начиналось так: «Добросердечная Зоичка Алексеевна! Здравствуйте 111 лет!».

Словотворчество

Маленький Андрюшка, сын журналистки Ирины Лисовской, говорил в детстве: «Мне не нравится этот «гавнитур» (понятно, речь шла о гарнитуре). Ещё он говорил «брёдра», имея в виду сразу брови, бёдра и рёбра, и «черезпрыгну» – то есть перепрыгну через лужу.

В. Колчин.

Из неопубликованного

Ехал по граверу, шёл по колидору, открыл фотолабораторию, поставил кофер и сказал: «Уф, чижало!».

О нас пишут...

Аспирантка Восточно-Казахстанского университета Ольга Кувшинникова написала научную работу «Безличные конструкции как средство художественной коммуникации» (На материале произведений Ю. Поминова).

О чём речь – убейте, не пойму. Но всё равно приятно...

Посвящение

Взявшись как-то разбирать свои старые бумаги, я неожиданно для себя обнаружил в них немало посвящений. Одно из них особенно мне по душе. Написал его В. Гундарев.

Помни, Поминов, меня

И в жару, и в злую стужу,

И когда я занедужу,

Не вина и не кляня,

Помни, Поминов, меня.

Помни, Поминов, меня

И когда я стопку выпью,

Крикну лебедем иль выпью –

На заре ль, к исходу дня –

Помни, Поминов, меня!

Помни, Поминов, меня

И когда с похмелья буду,

Перебью с утра посуду

И не сяду на коня...

Помни, Поминов, меня.

Помни, Поминов, меня!

И когда уйду я – тоже.

(Все в твоей мы власти, Боже!) –

Память о былом храня,

Помни, Поминов, меня!

Вердикт

Бывший кэгебэшник рассказывал мне, как его контора сначала хотела завербовать в качестве сексота одного из местных журналистов, а потом вынуждена была отказаться от этой затеи.

Причина?

– После первых же обстоятельных бесед выяснилось – предан советской власти... до глупости.

Что такое групповой тост?

Был приам в честь делегации Мангистауской области, приехавшей в нашу Павлодарскую область устанавливать деловые и прочие контакты.

Когда слово для тоста в составе группы из нескольких человек предоставили редактору областной газеты из Мангистау Вове (это фамилия), он решительно воспротивился, заявив прямо в микрофон:

– Ну, групповой секс – это я ещё могу понять, а групповой тост... Это как – хором, что ли?

Тютюшки-люлюшки

Так называл журналист нашей газеты Воронов байки, шутки, прибаутки. Но это могло относиться и к пустопорожнему газетному материалу, в котором преобладали словеса, а не суть дела.

Баня – не паровоз!

Обсуждаем на редколлегии журналиста. Мало даёт материалов, не бывает в командировках, не работает с авторами, не выдвигает интересных идей...

В ответ на последнее замечание замредактора Семерьянов решительно возражает:

– Ну, это уж слишком! Нельзя же ругать баню за то, что она не паровоз!

Проглядели!

(Тоталитарное мышление)

Пришёл на приём пожилой казах-фронтовик, принёс свои воспоминания о войне. Я бегло просмотрел, сказал, что опубликуем. Вроде пора прощаться, а он не уходит, делится своими мыслями о последних событиях глобального масштаба.

– Нет, что бы ни говорили, а при Союзе лучше было... Страна была – весь мир считался. И людям лучше жилось...

И вдруг, без всякого перехода, в лоб:

– Ну как же наш КГБ Горбачёва проглядел? Как мог допустить на должность – он же враг народа!

Подумал, вздохнул:

– Да, при Союзе лучше было. Но как-то надо жить. Живёт же маленькое государство имени Розы Люксембург... Независимое... И нашему Казахстану надо как-то жить, учиться...

Попрощавшись, пошёл, от самой двери вернулся. Смущённо:

– А можно я привет передам?

– Как, кому?

– Ну, через газету – знакомым, однополчанам – мол, живой, здоровый.

– Хорошо, сделаем приписку к вашим заметкам.

Просиял:

– Вот спасибо. Я переживал: вроде, неудобно...

Может, из-за «привета» и приходил? Вот тебе и Роза Люксембург.

Из писем в редакцию:

Ярко горит звездарий молодых дарований в нашей школе для одарённых детей...

* * *

Или возьмём, к примеру, Австралию – страну овц...

* * *

В Иртышском районе началась жеребьёвка кобыл.

* * *

И вот, не успела я отклеяться от первого брака, как на мой моральный облик стал покушаться этот преподобный Коля.

* * *

Поскольку я до сих пор не женат, мне поневоле приходится иметь дело с посторонними женщинами...

* * *

Журналистка Ж. набросилась с видеокамерой на следователя, после чего ей пришлось оказывать медицинскую помощь.

* * *

Успешно работают по линии наркобизнеса сотрудники нашего УВД.

* * *

Вот и муж мой всё время говорит: «Ты как человек такая умная, а как женщина такая дура!».

* * *

Из-за этой самой голоделицы (имеется в виду гололедица. – Ю.П.) я временно потеряла дееспособность – сломала правую верхнюю конечность.

* * *

И несёт он эту свою мудрость по жизни, как, Господи прости, грыжу...

* * *

Пишет вам Матрёна Федотовна Ренесанс...

* * *

Она мне стала за эти годы как мать, поэтому я решил её уматерить. Почему же мне отказывают в этом?

* * *

Гори, пылай, ристалище любви! (из стихотворения, присланного в редакцию).

* * *

Это не сливки КПСС, а её мёртвый осадок... Вот кто такие нынешние коммунисты...

Редакционные были

Почти всю жизнь проработавшая в редакции телетайписткой, Несип Айтымова говорила о себе так:

– Из газеты я ушла вместе с телетайпом...

И выговаривала нашему компьютерщику Володе, что это он лишил её работы.

* * *

Присказка П.А. Побережникова:

– Русская речь без мата – что щи без томата.

* * *

Один из журналистов нашей газеты прославился в советские времена тем, что имел выговор за обман партии. Обещал на партийном собрании больше не пить, и не сдержал слова. И секретарь парторганизации настоял именно на такой формулировке.

* * *

Собираю необычные заголовки. Вот, например: «Ночью на директриссе» (директрисса – полигон для ночных стрельб). Или вот ещё: «Предан землёй своей» (о бригадире-ветеране, который, к счастью, жив).

Или вот: «Могила Ленина – колыбель всего человечества» (речь – о мавзолее).

Или такое: «шапка» в многотиражной газете сталелитейного завода: «Сталевары! Ваша сила – в плавках!».

А это «шапка» в многотиражной газете Дальневосточного морского порта: «Путина началась! Всех коммунистов – в море!».

* * *

Редактор «ЗП» С.П. Шевченко и директор телецентра О.Ф. Лебедев много лет дружили. Как-то оказались вместе в командировке в одном из сибирских городов. Вечером поужинали в ресторане и, «уже хорошие», решили прогуляться. На мосту порывом ветра у Олега Фёдоровича сорвало шляпу, которая упала в реку. Он всё сокрушался: и шляпа эта ему нравилась, и подарок к тому же...

– Да не переживай ты так, – сказал Сергей Павлович, – смотри!

Снял свою шляпу и швырнул её с моста в реку.

Так у них появился повод выпить ещё раз – за настоящую дружбу!

* * *

Виталий Данилович Ступак после перехода из «Звезды Прииртышья» собкором в «Казахстанскую правду» жаловался:

– Это всё равно, что с двухспальной кровати перебраться на раскладушку.

В «ЗП» не ограничивали размеры материалов писучего В.Д., а в «Казправде» собкором по этой части прижимали.

* * *

Два журналиста «ЗП» вместе ездили в командировку. Один «отстрелялся» быстро, а другой беседовал с будущим героем долго. И объяснил почему: очень уж нестандартная у него по советским временам биография – родная его мать оказалась в Америке и теперь ещё там живёт.

– Неужели писать будешь? – не поверил собрат по профессии, поскольку времена были партийно-строгие.

– Буду, и заголовок уже придумал – «Мама из Чикаго».

– Плохо, – резюмировал коллега, – назови лучше «Не пропал без матери мальчонка...».

Так это было...

Просьба

Ночью позвонил университетский друг. Мы много лет не виделись, и вот неожиданный междугородный звонок.

– Ну, как ты? – громким шёпотом (все мои уже спят) спрашиваю в телефонную трубку.

– Теперь уже лучше, – неопределённо отвечает он и, чуть помолчав, добавляет: – Вообще-то у меня к тебе есть просьба... Давай споём «Последний троллейбус?».

Мне неудобно объяснять ему, что семья уже спит, и... отказывать неудобно.

– Может, ты сам споёшь, а я послушаю, – выдвигаю встречное предложение.

– Да нет, надо вместе... Но если ты не хочешь или не можешь...

– Ну почему же, – отвечаю бодро, – надо – так надо... Я готов!

И мы, разделённые двумя тысячами километров, заводим речитативом нашу любимую университетскую:

Когда мне невмочь пересилить беду,

Когда подступает отчаянье,

Я в синий троллейбус сажусь на ходу –

Последний, случайный...

Мы путаем слова и куплеты, но всё же общими усилиями доводим песню до конца. Мне хочется расспросить, что же у него случилось, но он говорит «спасибо» и кладёт трубку.

Потом я долго лежу и думаю: что же там у него всё-таки произошло?

Что в имени тебе моём?

Каких только имён не придумывают люди в честь чего бы то и кого бы то ни было!

Я, например, знал Революда (революционное дитя), Вилена (Владимир Ильич Ленин), Вилора (Владимир Ильич Ленин – организатор революции), Марлену и Марлена (Маркс-Ленин), Сталину (женское имя с ударением на «и»), Гертруду (Герой труда), Мэлса (Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин), Элика (от слова электрификация)...

Живут где-то Правда и Пипкаврох. Первая названа в честь газеты «Правда», а имя второго расшифровывается так: «Памяти Исторической Победы Красной Армии В Районе Озера Хасан». Есть имя Персострат, что означает «Первый Советский Стратостат».

Среди казахских имён встречаются Армия, Октябрь, Тельман, Маркс, Энгельс, Совет. Рассказывали мне про братьев-близнецов с именами Социал и Демократ и даже про человека по имени Тракторбай...

Время такое было? Наверное, и так. Но вот читаю в одной из газет: родители наградили свою дочь именем Россия... А мой земляк из Железинского района назвал своё крестьянское хозяйство «ВИМель-2030». Что это означает? Владимир Иванович Мельник, а число – дата из Стратегии развития республики «Казахстан-2030».

Дух и тело

Как-то я приехал в Ленинград в гости к брату Петру, аспиранту-филологу. Дело было в разгар перестройки, и он чуть не с вокзала потащил меня на какую-то писательскую конференцию, обсуждавшую нравственные аспекты очередного переломного периода нашей истории. Какие-то нормы приличий во взаимоотношениях писателей тогда ещё сохранялись, хотя разделение на два противоборствующих лагеря уже явно наметилось. При всём при том редактор «Молодой гвардии» Анатолий Иванов был ещё в силе, а Олег Попцов – пока нет, никто и предположить не мог, что он станет сподвижником первого российского Президента, основателем Российского телевидения... Были там, конечно, и другие литераторы, этих же я назвал лишь потому, что тогда они представляли, скажем так, два разных идеологических крыла российской словесности.

Конференция шла себе ни шатко ни валко, пока слово не предоставили Вениамину Каверину. Каверин был настолько стар и немощен, что почти не мог самостоятельно передвигаться. На сцену, к трибуне, его буквально под руки вывели два каких-то молодых человека. Но речь, которую он произнёс, была прекрасной – безукоризненной по форме, язвительной по содержанию, ёмкой. О том, что она достигает цели, было видно по тому, как наливается краской Анатолий Иванов, побагровела даже шея. При этом Каверин был абсолютно в рамках приличия, он не произнёс ни одной оскорбительной фразы.

Закончив выступление, Каверин свернул свои листки, опустил их в карман и, отступив буквально на полшага от трибуны, стал беспомощно оглядываться по сторонам – у него не было уверенности в том, что он сам сможет добраться до своего места в зале. Ему опять помогли.

Мне потом не раз приходилось встречать людей такого рода: тело их уже почти умерло, а дух, сознание оставались могучими, ясными, продолжая действовать, несмотря ни на что.

Сила воли

Мне приходилось встречать немало волевых людей. И я знаю, что это качество в них проявляется по-разному.

Один из моих знакомых, страстный путешественник, казалось, задался целью выяснить: а есть ли вообще предел человеческим возможностям? С группой таких же, как он, энтузиастов сплавлялся на байдарках по Иртышу от самых его верховий до Оби, а по ней – до Ледовитого океана; проделывал зимой путь на лыжах от Усть-Каменогорска до Москвы и от Северной земли до Северного полюса – тоже своим ходом, на лыжах. Летом ходил пешком через пустыню... И он был глубоко убеждён, что в критические минуты жизни, когда, казалось бы, все ресурсы организма

исчерпаны, человек в состоянии преодолеть себя – усилием воли. Именно этим усилием, говорил он, преодолевались иные участки пути в его многочисленных путешествиях.

Но поразительно другое. Не эти неоднократные преодоления собственных возможностей, а один-единственный случай из детства считает он самым главным проявлением силы воли в своей жизни.

Я постарался записать его рассказ почти дословно.

– Самое яркое, самое сильное из ощущений, сохранившихся у меня с детства, – это ощущение голода. Тогда мало кто жил сытно, а наша семья, оставшаяся без отца, была вечно голодной. И это ощущение – голодного, сосущего пустоту желудка, жило во мне ежечасно – я даже во сне хотел есть.

Понять это состояние может лишь тот, кто сам когда-нибудь долго, постоянно недоедал.

И вот как-то раз – мне было лет тринадцать – поехал с деревенскими мужиками разгружать баржу. И заработал сразу четвертак – старыми, конечно. С мужиками же зашёл в какую-то забегаловку. Они пили водку и пиво, а я ел. Я ел так, будто хотел наесться не только за всё то время, когда недоедал, но и на всю оставшуюся жизнь – впрок.

Конечно же, я объелся, и меня стало тошнить. И мысль о том, что я вот так запросто могу лишиться того, чем столько лет был обделён, показалась мне настолько чудовищно несправедливой, что я чуть не заплакал. И сказал себе: ну нет, уж лучше пускай умру сытым, но удержу всё это богатство в себе.

И удержал – не вырвал. Правда, с тех пор не переносу блинов с повидлом: я их тогда ел последними и умял штук двадцать – не меньше...

...Любопытно, что в еде этой мой знакомый был очень умерен и к тому же весьма неприхотлив к ней.

Реабилитация

В одном из многочисленных лагерей печально известного Карлага отбывал десятилетний срок талантливый агроном-садовод. До отсидки он был директором опытно-садоводческого хозяйства, успел защитить диссертацию. Каким-то образом ему удалось уговорить начальника лагеря завести садово-огородное хозяйство. Под него отвели несколько соток, обнесли колючей проволокой, зек-агроном вырыл себе землянку и месяцев восемь в году там и жил: снабжал лагерную администрацию свежими овощами, ягодами – малиной, смородиной, вишней, проводил какие-то опыты, что-то записывал...

Политикой он никогда не интересовался, случившееся считал чистейшим недоразумением, верил, что в его деле разберутся, и он вернётся домой, в Крым, в своё опытное хозяйство. Но год шёл за годом, ничего не менялось, и он начал свыкаться со своим новым положением. К тому же он задался целью вывести засухоустойчивый сорт степной вишни и, кажется, что-то ему удавалось. Любимое дело спасало от тягостных мыслей в неволе, да и просто позволяло выжить.

В лагере к нему относились как к немножко помешанному – небрежно и снисходительно. Его и это устраивало – лишь бы не мешали.

Когда его первый «законный» срок закончился, автоматически получил новую «пятёрку». Он не удивился и не расстроился, ведь в его жизни ничего не изменилось, а цель – заветный сорт – всё ещё не была достигнута.

А однажды агронома пригласили к начальнику лагеря, и тот сообщил о его полной реабилитации и вручил целый ворох денег – всё заработанное за без малого пятнадцать лет... И эта будничность столь запоздалой справедливости так потрясла его заледенелую душу, что в ту же ночь агроном пытался повеситься на единственном дереве, которое росло на его огороде, – яблоне-дичке. Но кто-то из охранников случайно оказался неподалёку, поднял шум, и агронома спасли...

На родину он так и не вернулся. Оставшуюся жизнь доживал рядом с местами, где отбывал срок. Выпустил небольшую брошюру о своих опытах со степной засухоустойчивой вишней. Брошюра была замечена в Москве, специализированный учёный совет счёл возможным присвоить автору учёную степень доктора сельскохозяйственных наук. Без защиты диссертации.

Секрет министерского долголетия

Ефим Славский в общей сложности почти тридцать лет руководил важнейшим, суперсекретным ведомством – министерством так называемого среднего машиностроения. Это был человек-легенда, трижды Герой Социалистического Труда, большой учёный, лауреат Ленинской и Государственных премий. Ему было уже под 90 лет, а он – сухой, жилистый старик – всё руководил своим секретным министерством.

В одну из поездок на Мангышлак, где «среднее машиностроение» добывало руду на урановых рудниках, он поделился в дружеском застолье секретом своего служебного долголетия.

– Я ведь на своём посту уже с четвёртым главой правительства работаю. И козырь у меня всякий раз один: перед каждым переутверждением министров пишу Предсовмина на себя анонимку. Так, мол, и так, до каких пор будете держать в правительстве этого старого козла: ему уже столько лет, а он до сих пор шастает по бабам, в родном министерстве у него две или три любовницы... Тихонов на Президиуме Совмина зачитывает этот бред и спрашивает: «Ну, как поступим, товарищи?». Все, понятно, затаились... А он продолжает: «Я думаю, товарищи, раз к женщинам интерес не потерял, и работать сможет...».

Как знать – может, в умении пошутить над собой и над серой обыденностью – и в самом деле один из секретов любого долголетия?

Восток – дело тонкое

(Из воспоминаний журналиста-ветерана)

– В Казахстан я приехал в начале шестидесятых годов из Вятки. Решил, что засиделся, захотелось новых ощущений. А тут – целина, большое строительство. Сразу взяли в областную газету. И вот – первая командировка. Получил командировочные, как сейчас помню, 28 рублей, зашёл к редактору. И он мне говорит:

– Ты вот что имей в виду: район этот дальний, своеобразный, население большей частью казахское. Мы туда нечасто выезжаем, так что не спеши обратно – поживи с недельку, присмотришься. Будут где приглашать чаю попить – не вздумай отказываться – народ обидишь.

Ну я поехал. Вернулся дней через десять. Наказ редактора выполнял неукоснительно – народ не обижал. Командировочные, все до копейки, привёз обратно. Вот только на мясо с неделю смотреть не мог...

Трансформация

Осень. Начало уборки. Звонок из области в район.

– Почему хлеб не косите?

– Так зелёный ещё...

– Это у вас настроения зелёные, – гремит начальственный бас.

Звонок из района в совхоз.

– Почему не косите?

– Так хлеб же зелёный...

– Это директор совхоза у вас зелёный, – неистовствует телефонная трубка.

Директор совхоза вызывает по рации бригадира:

– Когда косить начнёте?

– Так зелень же...

– Это у тебя под носом зелень... Знаешь, как она называется?

...Интересно, что говорил после своим подчинённым бригадир?

Воспитательный момент

Заседание бюро обкома партии... На повестке дня вопрос вопросов – ход хлебозаготовки. Председательствует, вернее, царит, «сам» – первый секретарь Семён Дмитриевич Кулагин. Семён Дмитриевич и вообще-то крут, а тут ещё дела с выполнением плана хлебосдачи идут неважно... Он мечет громы и молнии.

Другие члены бюро, сидящие с ним за одним столом, опасливо помалкивают. Провинившиеся директора совхозов и председатели колхозов, жалкой кучкой сгрудившиеся на стульях в части зала, предназначенной для приглашённых, втянули головы в плечи. Кто-то из них предназначен на заклание.

Метод Семёна Дмитриевича в таких случаях хорошо отработан, он прост и доступен: надо найти наиболее злого нарушителя партийной дисциплины, саботирующего «первую хлеборобскую заповедь», и примерно наказать – чтоб другим неповадно было. Способ многократно проверен, действует лучше всяких уговоров.

Жертва уже найдена: Дымченко, председатель одного из колхозов, при обсуждении вопроса осмелился заметить, что, может, и не стоит так спешить и везти хлеб на элеватор чуть ли не из-под комбайнов – погода стоит хорошая, можно ещё успеть и очистить зерно, и подсушить...

– Ну да, ты умный, а мы тут все дураки, – следует любимый аргумент Семёна Дмитриевича, за которым обычно им самим вносится предложение об оргвыводах. Предложений у него, как правило, три: объявить строгача, снять с должности, исключить из партии. Тут случай особый – попытка усомниться в незыблемости самой линии, покушение на святая святых – первую заповедь... Отсюда и мера наказания.

– Предлагаю исключить, – голос Семёна Дмитриевича спокоен, будничен. Он знает, что его предложение будет принято, получит огласку, и в следующий раз слушников не окажется.

– Семён Дмитриевич, я хочу... – порывается что-то сказать председатель-жертва.

– Потом, потом, – небрежно машет рукой «первый», не достаивая его взглядом. – Так. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Всё ясно – исключаем.

Семён Дмитриевич обводит усталым взглядом притихший зал заседаний. Он доволен произведённым эффектом. Остаётся завершить спектакль – поставить последнюю точку. Семён Дмитриевич и это умеет. Глядя поверх голов, он рассеяно разрешает исключённому:

– Так что ты там хотел сказать, Дымченко?

– Я беспартийный, Семён Дмитриевич.

Кулагин медленно багровеет, ловит раскрытым ртом воздух, от его царственной вальяжности не остаётся и следа.

– Да что же ты, мать твою, молчал! – ревет он на весь зал.

Дымченко (он и в самом деле единственный в области беспартийный председатель колхоза) невозмутимо пожимает плечами. Директора и председатели, пряча улыбки, отворачивают головы.

Воспитательный момент испорчен. Начисто.

Проводы

Как-то я улетал в Москву на одном самолёте с первым секретарём обкома партии, направлявшимся в очередной отпуск в подмосковный Барвихинский спецсанаторий. Провожать его явилось бюро обкома почти в полном составе – каждый на своей служебной машине. Девять или десять «Волг» одинакового белого цвета проследовали на лётное поле и по ранжиру выстроились у здания аэропорта: первой «Волга» «самого», потом – председателя облисполкома, затем второго секретаря и так далее – согласно нештатной, но железно соблюдаемой табели о рангах.

Когда наш самолёт начал разбег, члены бюро, нестройной шеренгой стоящие у своих «персоналок», прощально замахали руками... Это было трогательное зрелище. Непонятно, правда, кому всё это адресовалось: место «первого» оказалось с противоположной стороны салона. Да он и не смотрел в окно, а читал газету...

Поручение

Освещать работу областной партийной конференции приехал спецкор «Правды». Хорошо зная, что он доставил массу неприятностей своими корреспонденциями в других областях, в обкоме спешно сформировали группу по нейтрализации спецкора.

Конференция шла два дня. Дважды в день руководитель группы докладывал первому секретарю о проделанной работе. Доклады были краткими и исчерпывающими: «Всё нормально! Пьёт!».

На конференции спецкор так и не появился. Но отчёт опубликовал. И даже критика в нём присутствовала, но зато после неё не было неприятностей ни у кого из тех, кто опасался острого спецкоровского пера.

А спецкор несколько лет спустя стал одним из лидеров российского демократического движения и одним из первых лиц в российском правительстве демократов.

Аудиенция

В область приехал новый собкор центральной газеты. И хотя газета была профсоюзной, по этикету полагалось представиться первому секретарю обкома. Помощник сразу предупредил:

– Когда будете говорить с Сергеем Иосифовичем, руки лучше держать перед собой на столе – он не любит, когда прячут руки и отводят глаза.

Собкор подивился такой рекомендации, но, будучи от природы человеком сообразительным и не лишённым юмора, решил судьбу не искушать и действовать сообразно совету.

Аудиенция оказалась недолгой. Сергей Иосифович рассказал собкору о судьбе его предшественника. Был юбилей у директора завода шин. После чествования юбиляра на предприятии узкий круг лиц переместился на специально зафрахтованный для юбилейного торжества пароход. На нём и отмечали, курсируя по Иртышу.

– Ну выпили, конечно... Ну закусили... – доверительно излагал первый секретарь. – А он, борзописец, накатал... Уважаемых людей обидел...

Сергей Иосифович помолчал, вздохнул:

– Ну, я позвонил Михал Андреичу: так, мол, и так, нам таких не надо...

(Для непосвящённых: М.А. Суслов курировал в ЦК КПСС идеологию. – Ю.П.).

Ещё одна пауза.

– Теперь вот вас прислали. Думаю, поладим?

Как Юрий Кукин чуть не стал диссидентом

Однажды в наш город приехал известный исполнитель своих песен Юрий Кукин. Мы решили во что бы то ни стало пригласить его на встречу в редакцию. Он на удивление быстро согласился, часа полтора пел нам свои песни, рассказал много интересных историй. Чтобы чем-то отдарить его за этот праздник общения, правивший в отсутствие редактора зам великодушно пообещал ему опубликовать в нашей газете несколько его стихов, пообещав «для поддержки штанов» повышенный гонорар.

Узнав, что тираж газеты за сто тысяч экземпляров, Кукин согласился. Срочно соорудили подборку на последней странице под рубрикой «У нас в гостях». Неизвестно каким образом об этой инициативе узнали в обкоме партии и рекомендовали от публикации воздержаться. Сгорая от стыда, зам пошёл в гостиницу в Кукину объясняться. Услышав о запрете, Кукин страшно удивился: «А почему? Стихи-то безобидные...».

Чтобы хоть как-то сохранить лицо, зам предложил: «Хотите, я вам на память полосу со стихами оставлю?» – «Конечно, хочу, – сразу сказал Кукин, – буду показывать её своим друзьям в Ленинграде. Ведь до сих пор меня ещё нигде и никогда не запрещали...».

Вместе с оттиском невышедшей страницы зам вытащил из портфеля бутылку коньяка. Потом он уверял нас, что они отлично посидели и расстались, взаимно довольные друг другом.

Тут, наверное, можно было бы добавить, что талантливый романтик Кукин всегда был далёк от политики... Но какое это имеет отношение к нашей истории?

Лицо эпохи

Её зовут Нина Павловна Аринина. Уже лет пять она ходит к нам в редакцию в поисках справедливости. Строители, прокладывая теплотрассу, «потревожили» её ветхую избушку, после чего жить в ней стало опасно. Аринина просит её капитально отремонтировать, строители же уверяют, что они тут ни при чём, а все беды избушки – от её собственной старости.

Наша газета писала об этой истории трижды.

Аринина обошла всё городское начальство, побывала на приёме у сменивших друг друга трёх первых секретарей обкома партии, не одну свою пенсию потратила на обстоятельные телеграммы трём сменившим друг друга первым секретарям ЦК Компартии республики, обращалась к Генеральному секретарю ЦК КПСС и Президенту СССР... Результат неизменно был один: очередная комиссия выносила заключение, согласно которому избушка Арининой капитальному ремонту не подлежит из-за ветхости, а новое жильё ей не полагается, поскольку она уже является домовладелицей.

У Нины Павловны Арининой не осталось никого. Родителей она лишилась в детстве и воспитывалась в детдоме. Муж погиб на войне, братьев и сестёр она схоронила, а детей у неё не было. Аринина приближала светлое будущее для потомков на лесоповале, в угольной шахте, на рыбацком промысле. Теперь у неё нет для этого сил, светлое будущее объявлено очередным заблуждением. И сама она решительно никому не нужна... Дни её, похоже, сочтены – кажется, от неё исходит запах тления...

...Когда я в очередной раз гляжу в её заплаканные бесцветные глаза, мне кажется, что передо мной не глубоко несчастная пожилая женщина, которой я ничем не могу помочь, а вся наша измученная, истерзанная страна.

О природе власти

Попадая служить в коридоры власти, люди подчас меняются до неузнаваемости. Там действуют свои, совершенно особые правила игры, свой «кодекс чести», свои модели поведения. Либо ты приспосабливаешься к ним (принимая всё это или, во всяком случае, делаешь вид, что принимаешь), либо эта среда быстро отторгает тебя как некое чужеродное тело.

Но – поразительная вещь – стоит человеку вернуться в нормальную людскую среду (то есть сменить работу, уйти на пенсию и т.д.), как к нему мало-помалу начинает возвращаться «нечто человеческое» – здравый смысл, трезвый взгляд на вещи, критическое отношение к тем самым коридорам, мифические ценности которых он ещё вчера так ревностно оберегал...

И это не парадокс, а своего рода закономерность. В нормальной житейской среде человек, как правило, остаётся самим собой – тем, что он есть на самом деле. А там он – крепостной актёр и вынужден играть навязанную ему роль. При этом совсем неважно – кто стоит у власти: вчерашние коммунисты или нынешние демократы.

Спор

Как-то мы крепко поругались – чуть не разодрались – со старшим братом и зятем из-за горбачёвских реформ. Мы круто разошлись во мнениях. Брат, выпускник партшколы, и зять, директор совхоза, весьма критически оценивали идеологические и прочие новации нового генсека. Я же, молодой редактор, был ярким горбачёвцем и, не стесняясь в выражениях, костерил их на чём свет стоит.

Мы до того разобиделись друг на друга, что даже водку пить не стали.

Время нас рассудило.

Зятевский совхоз окончательно развалился: ни техники, ни скота. Зарплату зять не получает годами.

Брат, журналист с двадцатипятилетним стажем, не может заработать денег, чтобы раз в год, как это было прежде, приехать в отпуск к матери... К тому же он теперь живёт за границей, в Красноярском крае.

Газета, в которой работаю я, пока ещё дышит. Хотя тираж её с того времени упал в пять с лишним раз. Что будет с ней (и со мной) через год-два, я не знаю и стараюсь об этом не думать.

А мой кумир, будучи одним из кандидатов в президенты России, набрал на выборах один процент голосов. Но интереса к жизни, похоже, не утратил – рекламировал недавно по телевидению пиццу... Я же жду нашей встречи с братом и зятем, чтобы покаяться перед ними...

Время собак

Никогда прежде в нашем городе не было столько собак. Нельзя выйти во двор, в парк, на набережную, чтобы не встретить мужчин, женщин, детей, прогуливающих своих любимцев. Каких только пород и мастей тут нет: крошечные болонки, элегантные пудели и огромные доги, разномастные губастые боксёры и бульдоги, воспитанные, причёсанные колли и кровожадные свиноподобные питбультерьеры. Собака становится неким символом времени, знаком принадлежности к состоятельному сословию.

Условно говоря, владельцев собак можно разделить на три группы. Первые, наиболее бескорыстные, заводят их, так сказать, для души – как средство от одиночества, в какой-то мере заменяющее общение. Вторые – прагматики, и держат собаку главным образом для охраны жилья и имущества. Их тоже можно понять: надеяться сегодня можно лишь на металлические двери с мощными запорами да на четвероногого сторожа. И наконец третьи приобретают

собаку, чтобы в полной мере соответствовать своему новому социальному статусу хозяев жизни – это своего рода дополнение к уже имеющемуся суперсовременному интерьеру в жилище, престижной иномарке и т.д., и т.п. Многие молодые и среднего возраста женщины предпочитают рождению ребёнка покупке дорогой собаки. Что тут сказать? Наверное, это одна из примет нашего времени – времени собак...

Хлеб журналистики

Кто работает в журналистике, знает, какой это нелёгкий хлеб. И всегда он был таким. Особенно у районщиков. Я хорошо знал четырёх редакторов районных газет нашей области, которых сгубила профессия.

Редактор газеты, где я начинал работать, умер, не дожив до пенсии.

Заместитель редактора той же газеты, выйдя в редакторы, спился, тронулся умом и сгинул без следа – ушёл из дома, и не нашли.

Редактор газеты из соседнего с нашим района – красавец-мужик, умница, обладатель многих талантов – во время одного из запоев выстрелом из ружья свёл счёты с жизнью.

Редактор газеты из другого соседнего района, тихий, в общем, человек, не лишённый литературных способностей, в меру пьющий, выпил снотворное и включил в гараже двигатель служебного УАЗа...

Случайные совпадения? Но если сюда приплюсовать подобные судьбы рядовых районных газетчиков, то картина будет и вовсе зловещей.

Джон Браун из семейства Фёдоровых

Телевизионная пропаганда американского образа жизни из всей семьи наших друзей Фёдоровых наиболее сильно повлияла на их младшего сына, шестилетнего Пашку. Ему нравятся американские машины, американские мультки, американский флаг и «американский» язык (то, что этот язык английский, он отвергает напрочь). И вот ещё одно, уже крайнее проявление симпатий к далёкой и такой привлекательной Америке.

– Мама, а можно мне взять другое имя? – спрашивает он.

– А какое ты хочешь?

– На букву «Д»...

– Даня, Дима (так зовут его братьев), Денис?

– Нет, – шепчет он ей на ухо, – я хочу Джон!

Мать от ошеломления не может сразу прийти в себя, а он, приняв её растерянность за согласие, продолжает допытываться:

– А можно мне и фамилию другую?

– А какую бы ты хотел?

– А какие есть американские фамилии?

– Ну, я не знаю, Вильсон, Джонсон, Стоун, Браун...

– Вот эту, – ухватывается он, – я хочу Браун.

Так в семье Фёдоровых едва не появился Джон Браун.

Путём долгих увещаний удалось, правда, отговорить его от этой затеи. И самым весомым, пожалуй, оказался аргумент бабушки, без всяких дипломатий заявившей Пашке, что от своих имён и фамилий откажутся только предатели, и если он не одумается, она будет его звать на американский манер ласково «Жапоня»...

Так что с идеей ему пришлось расстаться. Хотя американское для него и теперь ещё – самое лучшее.

Случай из хирургической практики

Знакомый хирург рассказал мне историю из своей практики, которая не давала ему покоя всю жизнь.

Вот её суть.

Как-то он спас, буквально с того света вытащил парня с ножевым ранением в сердце. Это была его первая операция на сердце, и он после неё почти двое суток неотлучно дежурил у больного – даже ночевать домой не ходил. В конце концов поставил на ноги, чем очень гордился.

А парень оказался заурядным бандитом. Спустя какое-то время убил человека. Его поймали, судили, приговорили к высшей мере наказания. Когда хирург узнал об этом, захотел встретиться со своим бывшим пациентом: почему-то не верил, что, сам пережив такое, тот мог убить...

Но в свидании хирургу было отказано... А операций на сердце он больше не делает.

Зачем мама мыла раму?

Один литературный герой-приспособленец, желая подчеркнуть своё сверхнародное происхождение, говорил о себе так: «Я сын рабочего и двух крестьянок!». Теперь любой ребёнок вправе сказать, что его воспитывают не столько отец с матерью, сколько телевизор.

И вот история – вполне в современном духе.

Пятилетняя внучка наших знакомых начинает читать – по букварю. Бабушка ей помогает. Читают вместе, по слогам:

– Ма-ма мы-ла ра-му.

Бабушка – внучке:

– Поняла?

– Не-а, – мотает головой внучка.

– Что же тут непонятного?

– А зачем она моет раму?

– Как зачем? Чтобы чистая была.

– А разве она бывает грязная?

– Ну конечно, – удивляется бабушка.

– А я думала, что нет, что её едят, – взаимно удивляется внучка. – Каждый день какая-то бабушка говорит по телевизору: «Нет ничего вкуснее, чем хлеб и «Рама».

Когда не до шуток

В нашей газете выходит детская страница, которую большей частью делают сами дети, – она составляется из их писем, стихов, рисунков. Есть в ней уголок шуточных вопросов и ответов. Недавно один из юных читателей прислал такие вопросы: «Какой полуостров жалуется сам на себя?», «С какой птицы надо ощипать перья, чтобы получилось 24 часа?» и, наконец, «Город, по которому течёт кровь». Пришли и ответы: «Ямал – я мал», «Сутки – с утки». А среди ответов на третий вопрос («Вена») было и два таких: «Грозный» и «Чечня».

Как раз в это время в Чечне шли активные боевые действия.

Привет Чубайсу!

Хорошая частушка – большая редкость. Особенно отчётливо это понимаешь, наблюдая частушечный конкурс «Эх, Семёновна!» по ОРТ. Много примитива, грубости и откровенной пошлости. Мне вообще кажется, что частушка – не самый телевизионный жанр. Что уместно в узком дружеском кругу и на деревенской свадьбе, когда гости уже под хмельком и за столом нет детей, вряд ли годится для такой аудитории, какой располагает главный государственный телевизионный канал.

Хотя именно частушка как жанр способна выразить отношение народа к самым неожиданным сторонам жизни.

Помню, у нас в целинном совхозе, куда съезжался по разным причинам самый разный люд, про вызывающе форсистых молодых женщин, представляющихся ленинградками, ходило такое ядовитое четверостишие:

Прорастают на току

Вика с повилюкою,

Подержи мой редикюль –

Я пойду посикаю!

Тут тебе всё сразу: и приметы целинного быта, и их вопиющее несоответствие с городскими замашками, и ироничное отношение целинников к этому несоответствию.

В брежневские времена несколько раз дорожала водка. На одно из последних подорожаний народ отреагировал так:

Водка стала шесть и восемь –

Всё равно мы пить не бросим!

Передайте Ильичу:

Нам и десять по плечу!

А вот каким был ответ на знаменитый антиалкогольный указ Горбачёва:

По талонам горькая,

По талонам сладкая.

Что же ты наделала,

Голова с заплаткою?

Или вот ещё – уже из подзабытого:

Мы с Иван Ивановичем

Один пропили ваучер.

А на другой на ваучер

Деваху взяли на вечер.

Это – привет Чубайсу, который говорил, что один ваучер стоит две «Волги».

Песня-96

Много лет любимейшей телепередачей в Советском Союзе была трансляция большого концерта исполнителей советских песен, впервые прозвучавших в уходящем году. Концерт так и назывался – «Песня-75», «Песня-76»... И так каждый год. Концерт этот транслировался первого января, когда все дома, никто некуда не спешит.

В этом году «Песню-96» растянули аж на два дня. В числе прочих, удостоенных дипломов за слова и музыку, была песня в исполнении известного дуэта «Академия». Вот её припев:

Ты отказала мне два раза –

«Не хочу», – сказала ты.

Вот такая вот зараза

Девушка моей мечты.

Этот рефрен-припев приплясывающий дуэт повторяет раз десять – не меньше – под неистовые аплодисменты зала. А телевидение транслирует едва ли не на весь бывший Союз.

Под стать этому произведению и душевно-проникновенная лирическая песня-исповедь в исполнении не лишённой таланта Ирины Аллегровой. Суть её: бабушка по имени «хочу» озабочена тем, где бы ей взять дедушку по имени «могу».

И содержание этих (да и не только этих) песен, и то, что они включены, если можно так сказать, в общепризнанный реестр наиболее значительных произведений этого вида искусства – ярчайшее свидетельство общего уровня культуры, да и нравов вообще, демократической России образца 1996 года.

Предвыборные идиотизмы

Сколько словесной шелухи рождает предвыборные кампании! Каких только девизов, лозунгов, призывов (специалисты-имиджмейкеры именуют их слоганами) не встретишь. Иногда даже не поймёшь – о чём это? Например, такое – из недавней российской истории:

– Да! Да! Нет! Да!

А эта долбёжка подсказывает избирателю, как отвечать на четыре вопроса референдума. Не очень важно, какие это вопросы, главное – звучит в мозгу в нужной последовательности рефрен: два «да», одно «нет» и ещё одно «да». Так, кстати, и проголосовали – сработало!

Вот ещё – из той же серии: «Голосуй, а то проиграешь!». Это для того, чтобы народ пошёл на выборы.

На Украине несколько лет назад предвыборный штаб одного из претендентов на президентский пост родил такой перл агитационной мысли:

«Голосуй, голосуй –

Бюллетени в урну суй!».

Не помогло – проиграл бывший президент.

Не помог гениальный по своей простоте и всеобъемлющий по содержанию слоган недавнему претенденту на пост президента Казахстана. А ведь был всем девизам девиз: «Отвечаю за всё!».

А вот пример из совсем недавней предвыборной гонки: «Мы сумеем – мы стальные!» – без ложной скромности заявлял о себе кандидат из славной когорты железнодорожников. И сумел-таки – получил депутатский мандат мажилисмена.

К сожалению, не прижился слоган, предложенный проправительственному блоку в рамках конкурса на лучший предвыборный лозунг: «Братан, голосуй за «Отан!». Звучит, сказали, и правда здорово, но уж больно ясно, кому он адресован.

Движение «Единство» во главе с любимцем россиян Сергеем Шойгу выборы в Думу, можно сказать, выиграло. И этому не смогла помешать даже песня про медведя (это был символ движения), которую вполне справедливо окрестили одним из самых ярких предвыборных идиотизмов:

Я не бурый медведь и не белый медведь,

Весь лес я избавляю от нечисти.

Я не правый медведь, я не левый медведь.

Я медведь – общечеловеческий.

Другой песенный шедевр звучал по московскому каналу и посвящался мэру столицы: «Глазами умными на Юрку посмотри, словами нежными его заговори».

И хотя из этой невнятицы невозможно понять, кто, кого и чем должен заговорить, москвичи, как ни странно, наоборот, всё поняли. Может, потому, что пропустили этот предвыборный идиотизм мимо ушей?

А вот как агитировала со своих страниц газета, гордо именуемая себя патриотической: «Упаси нас Бог, ребята, выбрать в Думу дерьмократа».

А мы ещё удивляемся, почему всё меньше и меньше людей приходит на выборы.

Звонок от Господа Бога

В нашем новом Благовещенском соборе, особенно в первые дни после его открытия, было самое настоящее паломничество. Одну из делегаций – гостей из разных городов России и Казахстана – принимал игумен, настоятель храма. Высокий, чернобородый, осанистый, он выглядел очень внушительно в своих длинных одеждах и говорил хорошо, значительно, как и подобает священнослужителю его сана.

И вдруг откуда-то из-под него, непонятно откуда, раздался посторонний звук. Игумен остановил свою торжественную речь, повернулся боком, полез правой рукой куда-то под одежды и вытащил на свет Божий сотовый телефон.

– Извините, – сказал он, – забыл выключить, – нажал что-то на аппарате и так же быстро упрятал его на место. Под сводами храма воцарилась тишина, игумен продолжал беседу. Как мне показалось, слушали её без прежнего внимания. И кто-то даже шепнул сзади:

– А вдруг это был звонок от самого Господа Бога?

Не усердствуйте!

Рассказывают, что в своё время к М.И. Калинину был приставлен человек с весьма специфическими обязанностями. «Всесоюзный староста», он же председатель ВЦИК, периодически вручал в Кремле правительственные награды. Разумеется, при этом он пожимал награждённым руку. А если иметь в виду, что орденосцев в ту пору было немало, и среди них далеко не хилых мужчин, которые желали выразить переполнявшие их чувства с наибольшей силой именно через рукопожатие, нетрудно представить, каким это было испытанием для престарелого и немощного Калинина. Вот и был приставлен к нему тот человек, чтобы предупреждать орденосцев: не переусердствуйте, мол, пожимая руку главе государства...

Эта история вспомнилась мне совсем недавно вот в какой связи. В редакцию заглянул наш бывший сотрудник. Теперь он автор популярной серии книг о выдающихся людях Казахстана. Ему приходится встречаться с главами государств и правительств, министрами, известными писателями и артистами... Как-то он был удостоен чести быть представленным президентам Турции и Казахстана. И даже их рукопожатий. Казалось, всё было торжественно-пристойно.

Но когда автор книг отошёл, какой-то человек с явным неудовольствием попенял ему на то, что он уж слишком энергично тряс руку президенту нашей страны – если каждый будет так усердствовать при этом, то...

– Так это не я ему, а он мне тряс, – с простодушным лукавством отшутился автор. А сам потом всё же переживал: может, и впрямь перестарался?

Чувство долга

Есть такое не бесспорное, но не лишённое смысла утверждение, следующим образом характеризующее степени обмана.

Первая степень – это неправда, вторая – грязная ложь и, наконец, третья – статистика...

Иначе говоря, этой сфере деятельности как бы заведомо отказывают в стремлении к истине.

Но нет правил без исключений: я знал руководителя статслужбы, который всегда стоял насмерть, отказываясь корректировать нежелательную цифру в угоду местной политической и любой прочей конъюнктуре. При этом иногда он просто нарывался на неприятности... Вот мы получили аналитическую записку об итогах уборки. В ней говорится: область намолотила столько-то тысяч тонн зерна, этого достаточно для внутренних потребностей населения и на семена для будущего урожая. Тут вполне можно было бы поставить точку. Но дальше идёт цифра средней урожайности – пять центнеров с гектара. Опять же для любого мало-мальски смыслящего в сельских делах человека ясно: результат просто смехотворный. Однако автор аналитической записки и на этом не останавливается, бесстрастно констатируя: это самый низкий урожай со времен освоения целины.

Именно эта последняя фраза более всего характеризует человека, который служит своему Отечеству не за страх, а за совесть.

Вот бы их обилетить!

Популярный российский киноактер Алексей Булдаков начинал свою карьеру в павлодарском драмтеатре, окончил молодёжную театральную студию, которая действовала при театре в шестидесятые годы.

Как-то он приезжал навестить мать (она по-прежнему живёт в Павлодаре) и охотно рассказывал о тех временах. О том, например, что первой ролью, которую ему довелось здесь сыграть, был... диван. О сельских гастроях, которых было в ту пору очень много... Колесили по всей области на старом, разбитом автобусе – небольшая труппа во главе с директором, который в ходе этих гастролей совмещал также обязанности администратора и кассира.

– Надо вам сказать, народу на спектакли собиралось обычно немного, – вспоминал Булдаков. – Лето, жара, сенокос, огороды – одним словом, страда, людям не до спектаклей... И вот едем мы как-то по степи... Зной, солнце будто взбесилось, автобус раскалился, как сковородка на плите, мы все в пыли и в какой-то полудреме. Автобус встал

дорогу переходила огромная, наверное, с тысячу голов, отара овец... Дремавший директор-администратор-кассир вдруг встрепенулся и мечтательно говорит: «Ребята! Вот бы их всех обилетить!».

На ридной мове

Организатор первого в Павлодаре клуба шейпинга рассказывала, как её подруга, тренер по гимнастике, сдавала на Украине квалификационный экзамен на знание ридной мовы – государственного языка.

Комиссия пришла на тренировку. Начинаются занятия. Тренер уверенным голосом, громко командует одной из воспитанниц:

– Выще ногу! Выще, выще!

Другой:

– Довгая выа, довгая выа... Довгая, довгая, довгая...

Что означает – длинная шея...

Потом тренер свободно переходит на французский.

Комиссия довольна – украинским владеет, ну а французский – Бог с ним, не москальский же.

Каково теперь семейное чтение

Одно время мы выписывали для матери журнал «Крестьянка». И вот приходит очередной номер – почтальонка принесла нам его прямо в квартиру – иначе утащат из ящика.

Я взял посмотреть журнал. На яркой цветной обложке расфуфыренная девица явно заграничного разлива, вся в белом, в белых же, по локоть, перчатках – крестьянкой тут и не пахнет.

Дальше – больше. Читаю вкладку – журнал в журнале «Семейная библиотека», где приведён обширный перечень книг, которые можно приобрести с помощью журнала.

Что же предлагалось подписчикам? Я выписал несколько названий, рекомендованных для чтения, так сказать, в кругу семьи. Вот они, эти книги: «Французский эротический роман», «Сексуальное здоровье женщины», «Мужская потенция».

Но это, как оказалось, ещё цветочки. В серии «Будьте здоровы!» «Семейная библиотека» рекомендовала шедевр под названием «Как увеличить размеры мужского полового члена», в серии «Экспресс» – «Историю оргий» и «Историю порнографии», «Групповой секс», «Краткие жизнеописания геев и лесбиянок», «1001 ночь большого секса», «Сексуальное удовлетворение для женщин» (и, разумеется, для мужчин тоже), «Как заниматься сексом 6 раз в неделю»... Поверьте на слово – это далеко не вся «Семейная библиотека» подобного рода. Представьте, как всё это будет читаться в сельской избе, в присутствии детей и внуков.

А если не верите мне, то проверьте сами: я вычитал всё это в журнале «Крестьянка», год 1998, № 9.

Шутка со значением

Бывший первый секретарь Павлодарского обкома партии Б.В. Исаев рассказал мне такую историю.

Д.А. Кунаев как-то полшутя спросил первого секретаря обкома одной из южных областей – знает ли тот, какова зарплата у первого секретаря обкома?

Что за вопрос? – может удивиться кто-то.

Между тем полшутка имела вполне определённый подтекст – человеку определённо давали понять, что он живёт не по средствам.

Хочу быть немцем

Надо ли напоминать о том, каково было в годы войны, да и позднее, у нас в стране депортированным немцам? Многие из них вынужденно меняли свои имена, звались зачастую на русский манер. Нередко немцы не только давали детям русские имена, но и записывали их русскими.

– Ну что ещё за Ёган, – говорили в каком-нибудь Богом забытом сельсовете затурканному жизнью немцу, – ты представляешь, как тебя называть будут? Запишем тебя Иваном, и все дела. Тебе же лучше...

– Адольф? И ты собираешься жить с таким именем? Давай будешь Алексеем – хорошее имя!

То же самое или нечто подобное происходило с Гансами, Фридрихами, Германами, Фридами... Находились, правда, и такие, кто сохранял свои имена, но большинство предпочитало смириться. Немцы не хотели омрачать будущее своим детям, поэтому и соглашались называть их привычными местному уху именами.

Остаётся удивляться тому, как мог стать знаменитым на весь Союз председателем колхоза и даже Героем Соцтруда Яков Германович Геринг. Я помню, с какой иронией воспринималась эта фамилия иными заезжими журналистами, и не только ими.

– Геринг – Герой Соцтруда? Ну вы даёте, ребята! А Гитлера-орденоносца у вас часом нет?

Между тем человек прожил достойнейшую жизнь, не захотев расстаться с «неудобной» фамилией, хотя ему в своё время настоятельно советовали это сделать...

И вот пришли совсем другие времена.

Когда едва ли не в одночасье рухнул железный занавес и Германия стала принимать своих соотечественников обратно, для многих из них утрата истинных имён и фамилий, а тем более смена национальности, обернулась подлинной трагедией. Ведь немцы в первую очередь принимали немцев, а уже затем членов их семей. При этом для одних и для других предусматривался разный уровень государственной помощи, льгот и других социальных гарантий.

И советские немцы бросились восстанавливать свои забытые имена, а некоторые – уточнять и возвращать фамилии и даже национальность. Не сразу и не всем это удавалось, иные проклинали себя за то, что когда-то согласились стать Иванами и Фёдорами вместо Иоганов и Фридрихов... Дети выговаривали родителям-немцам, по воле которых они становились русскими. А ведь были ещё и смешанные браки, когда у одних и тех же родителей сын вполне мог считаться немцем, а дочь – русской или украинкой...

Как это у нас нередко бывает, теперь процесс пошёл в обратную сторону – с точностью до наоборот. Теперь многие из тех, у кого была хоть какая-то для этого возможность, возжелали стать немцами. И их можно понять: немцев Германия принимает всех, а представителей других национальностей – лишь при условии состояния в родстве с первыми.

Немцами теперь записываются не только русские и украинцы. Вот такая история случилась с нашим знакомым. Отец у него казах, а мать – немка (дочь ссыльных немцев с Поволжья). Сына отец записал казахом, тот женился на русской, русской же записал родившуюся дочь, которая, в свою очередь, вышла замуж за немца и уехала с ним в Германию. Родилась внучка, которая уже ни слова не говорит ни по-русски, ни по-казахски. Она полноправная немка. Семья нормально обустроилась на своей «исторической», а вернее сказать, на новой родине и зовёт постаревших родителей к себе. Но уровень приёма в ФРГ, как уже говорилось, может быть разным, и отец, записанный казахом, принимает решение сменить национальность – стать немцем. Основание? У него отец – казах, а мать – немка, так что это вполне возможно... Между прочим, ни в какую Германию он пока не собирается. Зачем же менять национальность, спросите вы? На всякий случай...

Наверное, так или примерно так поступали в своё время депортированные немцы...

Гостеприимство

В нашу область приехал израильский миллиардер Айзенберг – на персональном самолёте, в салоне которого, помимо всего прочего, была даже двуспальная кровать. Он предлагал области проект, связанный с развитием капельного орошения.

На ужин Айзенберга повезли в одно из хозяйств Аксуского района. Перекусили, затем по казахскому обычаю подали бешбармак.

– Неужели мы всё это съедим? – удивился уже слегка посоловевший от сытости миллиардер.

– Съедем-съедем, – успокоил именитого соотечественника сопровождавший его сотрудник посольства, уже знакомый с традициями казахского гостеприимства.

...Говорят, после Айзенберг чаще всего вспоминал именно этот момент своего путешествия в Казахстан.

Что доказал Ельцин,

или «Умом Бориса не понять...»

Ельцин доказал, что возможно всё, даже, казалось бы, самое невозможное.

Что сын репрессированного может стать видным партийным функционером.

Что можно бросить вызов вскормившей тебя всесильной партии и не быть при этом посаженным в тюрьму.

Что можно очень быстро, не предпринимая никаких сверхусилий, снискать едва ли не всенародную любовь.

Что можно объявить преступниками высших должностных лиц страны, пытавшихся защитить действующий на тот момент конституционный строй, и посадить их в тюрьму.

Что можно объявить преступниками своих вчерашних соратников и выдвиженцев, расстрелять здание парламента своей страны, а сам парламент разогнать.

Что можно давать любые обещания («Лягу на рельсы, если вырастут цены»), делать самые безответственные заявления («Берите суверенитета столько, сколько можете переварить!») без каких бы то ни было для себя нежелательных последствий.

Что можно предстать перед всем миром в ужасающе неподобающем виде и потом вести себя как ни в чём не бывало.

Что можно начать и проиграть войну на территории собственного государства, не понеся за это никакой ответственности.

Что можно управлять государством, даже будучи недееспособным... Даже если тебя не поддерживает большая часть населения.

Что можно быть по форме президентом, а по существу царём.

Что можно терпеть при этом любые измышательства в прессе, ни разу не прибегнув к закручиванию гаек.

И этот список, как принято говорить, можно продолжать и продолжать.

Все равно – как,

но только с Иваном Ивановичем...

Есть такой анекдот. Ещё в советскую пору еврейская семья добилась разрешения эмигрировать в Израиль. Берут с собой и любимого попугая. На таможне им заявляют, что попугая, как редкую, экзотическую птицу, вывозить за границу нельзя. «А как можно?» – спрашивает глава семьи. «Ну, можно чучелом или тушкой», – отвечает таможенник. «Согласен – хоть чучелом, хоть тушкой», – неожиданно встревает в разговор сам попугай.

Этот анекдот я вспоминаю всякий раз, когда речь заходит о бывшем совхозе «Маяк»... Предстояло очередное его реформирование. Здешние работники, хорошо осведомлённые о том, чем обернулись спешные преобразования у большинства соседей, где хозяйства попросту развалились, за сохранение своего стояли насмерть.

– Да поймите вы, что не можете дальше существовать в статусе КСП (коллективного сельскохозяйственного предприятия), – увещевал их на собрании представитель района, – нет больше в Казахстане такой собственности – коллективной...

– А в каком виде можем? – допытывались мужики, ошалевшие от бесплодных реформаторских шараханий, которые и довели село до ручки.

– В виде кооператива, ТОО, крестьянского хозяйства... Выбирайте сами.

– Нам один хрен, всё равно как, но только с Иваном Ивановичем, – заявил кто-то, и его дружно поддержали остальные.

Иван Иванович Колодий – давнишний директор здешнего совхоза – смог не только спасти его от бездумного реформирования, но и сохранить основной производственный потенциал.

Не прогадали «маяковские» мужики. Теперь здесь – одно из немногих по-прежнему дееспособных сельскохозяйственных предприятий. И уцелело оно не благодаря, а вопреки реформам. А ещё потому, что здесь оказался И.И. Колодий.

Какая теперь семья

В последнее время на российских телеканалах появилось великое множество всевозможных ток-шоу-передач, в которых люди рассказывают о своих жизненных коллизиях, а публика в студии выражает им участие, стремясь помочь советами.

Вот одна из недавних таких передач.

Женщина рассказывает о постигшей её беде. Муж – бизнесмен, притом преуспевающий, нанял ей шофёра, который по совместительству стал её любовником. (Как оказалось, муж оплачивает шофёру и эти специфические услуги, поскольку сам настолько занят делами, что ему уже не до супруги).

Жена, излившая своё горе на присутствующих в студии, рыдая, вопрошает: а рожать ей от кого – от шофера-любовника или всё-таки от законного супруга?

И «добрые люди», от души забавляясь, дают ей дельные советы. А когда кто-то резонно заметил: зачем вообще такой муж такой жене, не лучше ли ей остаться с любовником, ведущий тут же возмутился: «Вы что: это программа «Моя семья»!».

Между прочим, эта передача транслируется РТР на всю страну и даже за её пределы. И она далеко не единственная в своём роде...

Раньше и теперь

Лет двадцать назад одна из центральных газет опубликовала сенсационный материал. Мать гладила школьную форму дочки-десятиклассницы, нашла в кармане презерватив и избила её так, что той пришлось лечиться в больнице.

Теперь презервативы раздают в школах на специальных занятиях, а школьная беременность не есть нечто из ряда вон выходящее. Вот одна из таких историй, рассказанная центральной газетой. Девочку зовут Надя, ей 16 лет, учится в девятом классе, беременна, собирается рожать. Дальше диалог:

– Как ты забеременела?

– В первый раз? – уточняет Надя.

– А это не первый?

– Нет, третий... Я уже сделала два аборта...

– У тебя и муж есть?

– Мы не зарегистрированы, а живём уже три года.

– Как вы познакомились, где живёте?

– В очереди в поликлинике, мне ещё тринадцати не было... А живём мы у него, он сварщик...

– А что говорят родители, как со школой?

- Мои родители сначала ничего не знали, потом привыкли... В школе перевелась на вечернее – там проще...
- Учителя, подруги осуждают тебя?
- Да нет, теперь ведь многие рожают рано...

Мораль? Никакой морали газета не выводит. Её интересует сам факт, Надя как таковая...

Что же до меня, то не знаю, какая из этих двух историй более неприглядна. По-моему, впрочем, обе...

Культурная программа

В университет, в котором работает мой младший брат Пётр, приехали американцы. Брату поручили организовать для них культурную программу. Он решил вывезти их в воскресенье на природу.

Американцев было двое: ещё крепкий семидесятилетний старик и его совсем молодая коллега. И – так уж вышло – ехать пришлось мимо огромного поля, где копали картошку многочисленные горожане.

- Что эти люди здесь делают? – изумилась молодая американка.

Картина и впрямь была впечатляющая: люди с лопатами, мешки, десятки, сотни задов, устремлённых в небо – как будто выставленных напоказ.

- Картошку копают, – ответил брат, не пускаясь в долгие объяснения.

Наступило тягостное молчание. Потом встрепенулся старый американец:

- Ну как же, я помню: у нас до войны тоже иногда можно было видеть такое...

...И собкор в Тель-Авиве

Позвонил коллега – редактор областной газеты. У него репутация новатора-реформатора. Вот и теперь делится нововведениями:

- Недавно стали региональной газетой!

- А что это такое?

– Решили распространять газету в соседние области Казахстана и России... Собкоров держим в Алматы, Астане, Челябинске, Москве, Киеве... Вот только что в Тель-Авиве корпункт открыли...

- В Израиле-то зачем?

– Как ты не понимаешь? Представляешь: первая страница, рубрика «Диктует наш собкор из Тель-Авива!».

- А денег у тебя на счету много?

– Какие деньги, откуда? У меня долгов три миллиона.

- А как же зарплату платишь?

– Да кто её теперь платит? Главное сейчас – раскрутиться!

...Моя мать в таких случаях говорит так: не вошь кусает, а гнида.

Что такое стихи?

Давно слежу за поэтическим творчеством Василия Лукова. Считаю его поэзию настоящим явлением, а некоторые строки – готовыми афоризмами. Такие, например:

Позади гнилой застой,

Впереди – мираж.

То ли строить храм святой,

То ли рыть блиндаж.

Или вот:

Мы – самый читающий в мире

И самый нетрезвый народ.

Кто жил в коммунальной квартире,

Тот самый большой патриот!

Или ещё:

Коммерцией заняты дети.

Голодные мрут старики...

Мы сами сплели эти сети,

Советских вождей дураки!

Есть у него такое прекрасное четверостишие:

Коварно обКУПОНены,
Безжалостно обПИКаны,
Нахально обреформлены
И до смерти обСИКаны.

Первая строка – о том, как государство обмануло людей, наделив их купонами в ходе приватизации жилья, вторая – о том же самом, только речь уже о приватизационных инвестиционных купонах (их выделяли казахстанцам – как эквивалент полагающейся каждому бывшей государственной собственности, при этом обещали, что мы станем акционерами предприятий и даже будем получать дивиденды). Третья строка в комментариях не нуждается. И последняя в образно-иронической форме повествует о новой пенсионной системе. СИК – это социальный индивидуальный код, который теперь имеет каждый казахстанец, перечисляя на него ежемесячно десятую часть своей зарплаты. Считается, что этим мы зарабатываем себе на старость – каждый сам. Но что будет с этими деньгами – одному Богу известно. Во всяком случае, один раз эти вклады уже были ополовинены после перехода на «свободно плавающий» курс тенге по отношению к доллару.

А в целом четверостишие и по форме, и по сути просто замечательное. В нём вся история реформ – как на ладони.

Нравятся мне и многие лирические стихи В. Лукова. Но есть у него строки, способные кого угодно поставить в тупик. Половодье на Иртыше поэт живописует так:

Речное лоно тужится рожать...

– Это же физиологизм какой-то, а не поэзия, – говорю ему.

– Нет, это образ, притом очень удачный, хоть и необычный! – не соглашается он.

А вот как характеризует В. Луков суть поэтического творчества:

Стихи – как семьяизвержение:

Чем реже – тем сильней оргазм.

Тут, как говорится, и вовсе без комментариев.

Я немало сил приложил, чтобы отбить у Василия Лукова охоту к стихотворчеству. И очень рад, что у меня это не получилось.

А наши творческие разногласия нисколько не мешают нам дружить.

Как-то в редакцию пришла открытка с эпиграммой на газетные публикации В. Лукова – всего из двух строк:

Ах, Боже мой – какая скука:

Опять в «ЗП» Василий Луков!

Игра слов, может быть, и хороша, но по сути это не так: уж чего-чего, а скуки ни в стихах, ни в статьях В. Лукова не бывает...

* * *

Покритиковал В. Лукова за его обличительные стихи, сказал, что мне больше по душе его лирика. Он тут же отреагировал – через день или два принёс стих-возражение, который начинался так:

Твердит о лирике редактор:

Пиши любовные стихи!

А я, как без солярки трактор,

Заглох... ржавеют лемехи.

Дальше – о развале всего и вся на просторах СНГ, о потере ориентиров и идеалов, о беспросветности жизни... И вот концовка:

Молчи о лирике, редактор:

Не тянет нынче на грехи.

(Надо полагать, любовные. – Ю.П.).

Я, как тот атомный реактор, –

Бомбят протонами стихи.

Тут тебе сразу всё: и чувства, и образы, и даже самопародия.

Момент истины

В России ли, в Казахстане ли – люди любят ругать власть, включая, разумеется, и президентов. Но вот президенты выходят в народ, и мы видим, во всяком случае на телевизионных экранах, одно сплошное ликование.

Российский канал ОРТ как-то организовал прямое включение из глухой московской деревушки. Пожилая пара видит себя по телевизору в программе «Время». Корреспондент, до того рассказывающий о беспросветности жизни в этой самой деревушке, говорит деду с бабушкой: «Возможно, вас сейчас видит и слышит президент. Что бы вы ему сказали, может быть, попросите чего-нибудь...». Дед сперва замялся, а потом отвечает: «Да чего просить... Здравья бы Борису Николаевичу...».

Вот вам и момент истины.

Хорошо ещё бабушка вовремя встрепенулась – толкнула деда в бок, будто говоря ему: ты что, мол, старый пень, забыл, о чём старики день и ночь долдонят? И тогда дед добавил: «Ну и пенсию бы маненько добавить».

Может быть, сами того не желая, телевизионщики отразили типичнейшую ситуацию, когда у людей всегда есть два мнения: одно, так сказать, для внутреннего потребления и другое – на публику. И они, как параллельные, никогда не сходятся...

Для России мы – иностранцы

Иногда мне приходится ездить в Омск, Новосибирск, Барнаул, и как-то уже свыкся с таможнями, проверкой паспортов и прочими атрибутами государственной независимости...

Но вот довелось побывать как-то в Санкт-Петербурге. Нас, казахстанских журналистов, повели в Эрмитаж. И оказалось, что билет для нас, уже как для иностранцев, стоит в десять раз дороже, чем для россиян. Они платят по тридцать, а с нас взяли по триста рублей. Интересно, есть ли подобное хоть ещё где-нибудь в мире? Наверное, было только в Казахстане, где одно время в некоторых гостиницах с иностранных постояльцев брали деньги по какому-то особому тарифу.

Ударники капиталистического труда

В Японии нас, казахстанских туристов, повезли на один из заводов, выпускающих легковые автомашины знаменитой марки «Ниссан». Здесь, на сборочном конвейере, нам наглядно продемонстрировали, что такое интенсивный труд в высокоразвитой капиталистической стране.

Мы, человек семьдесят, шли вдоль конвейера (это метров сто) с остановками минут пятнадцать. И никто из работающих (их тоже было несколько десятков человек) ни на секунду не приостановился, не помахал рукой в белой перчатке, не улыбнулся. На нас вообще не обращали внимания. Потому что – некогда. У каждого рабочего места остов будущего автомобиля останавливался на считанные секунды, сборщик мгновенно что-то пристраивал или привинчивал, и машина проскакивала дальше. Люди в прямом смысле работали как роботы, подчиняясь неумолимому движению конвейера.

Позднее нам сказали, что средний месячный заработок здесь – три тысячи долларов в месяц. Но выдерживают на конвейере очень немногие.

И вот я думаю: если мы на самом деле хотим жить как они, то готовы ли как они – работать?

О менталитете и чувстве ответственности

Наша туристическая группа восемь дней провела в Японии и лишь раз оказалась на берегу Тихого океана. Остановка тут, кстати, не планировалась, но, идя навстречу нашим пожеланиям, сверхпредупредительные японские водители нашли место для парковки.

Спустя какие-то минуты двое или трое наших сограждан уже были в воде... Что из того, что февраль – он и в Японии февраль, пусть в тот день и без снега? Что из того, что каменистый берег, обрамленный к тому же специальным ограждением, отнюдь не был предназначен для купания? Может, парни всю жизнь мечтали окунуться в Тихий океан; а что момент не самый подходящий – так другого ведь в жизни, скорее всего, не будет...

Наша гид, сердечная и обаятельная японка Аня-сан, была близка к шоку: «Что они делают? Это же зима... Здесь нельзя... Меня отстранят от работы...».

Невестка как затесавшаяся в нашу группу канадка Хайди – фотокорреспондент из Москвы, напротив, пришла в неописуемый восторг от безумства горячих казахстанских парней: «Какие молодцы!» – и беспрерывно щёлкала фотоаппаратом...

Хлеб родины

Несколько лет назад делегация Павлодарской области ездила в Китай – устанавливать экономические связи. Было много интересного: переговоры, поездки, общение. Мне запомнилась история, рассказанная акимом области Галымжаном Жакияновым:

– Первый раз я поехал в Китай, ещё работая в Семипалатинске. Мне подыскали местного китайца – переводчика. У него была драматическая судьба. В своё время его послали учиться в Москву, что, конечно, считалось большой удачей и сулило хорошее будущее. Но в ту пору отношения Китая с СССР уже были изрядно подпорчены, потом дело дошло до военных столкновений (помните – Даманский, Жаланашколь), границы с обеих сторон оказались надолго перекрыты... Тот китаец не смог (а может быть, не захотел) вернуться на родину, и судьба его забросила в Семипалатинскую область... И вот мы вместе едем в Китай – он, кстати, впервые после долгой разлуки... И как-то во время обеда я у него спросил: «А что, китайцы вообще хлеба не едят, или есть у них что-то своё, подобное?». Он перевёл это хозяевам, они подсутились и скоро подали нам нечто непонятное и, мне показалось, малосъедобное: какие-то колобки из теста, причём полусырые... Я только попробовал из вежливости, а мой переводчик чуть не прослезился, ел и приговаривал: «Какой вкусный – хлеб Родины!».

А пиво у них хорошее...

Павлодарский художник Николай Фёдорович Залюбовский рассказывал мне:

– За границей я был один раз, ещё в ГДР. Ездил с нами и один мужик из Экибастуза – монтажник-высотник с ГРЭС-1. Немцев он недолюбливал, говорил: «Они трёх моих братьев убили...». И вот он один раз утром не поехал с нами по маршруту. Я, говорит, вас в пивбаре подожду. Вернулись мы часов в пять вечера и застали его там же – уже «хорошего». «Ну как, – спрашиваем, – дела?». Он начал, как обычно: «Я, – говорит, – немцев не люблю, они трёх моих братьев убили». Помолчал и добавил с совсем другими – уважительными нотками: «А пиво у них хорошее... И очереди нету... И приносят сами...».

Для сведения: хуже экибастузского пива в советскую пору в Казахстане, наверное, не было... Разве что качирское... Но даже и того, и другого летом было не достать.

Одиночество

Из письма однокурсницы, уехавшей в Германию:

«Ты знаешь, у меня всё хорошо, я всё же вписалась... Работаю... Квартиру недавно новую купили – сразу с мебелью, с телефоном... Всё у меня есть...»

Но понимаешь: телефон есть, а позвонить некому. Совсем некому... Живу среди людей, а как будто в лесу – одна-одинёшенька... Чтобы хоть с кем-то поговорить по душам, я должна записаться на приём к психотерапевту. Час – пятьдесят марок...».

Персональный трап

Иногда спрашивают: почему в своё время не встали на защиту компартии её рядовые члены, почти 18 миллионов человек, ведь не все же они были приспособленцами? Тут есть, конечно, над чем поразмышлять, но мне почему-то приходит на память письмо в редакцию – из перестроечных времён. В нём павлодарец, читатель газеты, рассказал о таком случае.

Он летел на обычном рейсовом самолёте из Алма-Аты. Самолёт был полон, пассажиру место досталось во втором ряду, за человеком, в котором он без труда узнал нового первого секретаря обкома. Тот, впрочем, ничем особым не выделялся; весь полёт читал газеты, и едва самолёт вырулил на стоянку, оделся и направился к первому выходу. Сюда, как успел заметить в иллюминатор сосед-пассажир, уже подруливал трап. Часто летавший павлодарец ещё подивился такой оперативности, а также тому, что на этот раз к самолёту подают сразу два трапа, и устремился вслед за первым секретарём... Но не успел – тот уже спустился, а трап отъезжал. Оказалось, он был персонально предназначен для первого секретаря. Все остальные, как всегда толпясь и подталкивая друг друга, стали спускаться по второму трапу.

Эту картину, возмущаясь, и описывал наш читатель.

Сначала я не поверил ему. Но оказалось – всё правда. Первому секретарю обкома, к тому же депутату Верховного Совета СССР, по какой-то инструкции полагалось подавать отдельный – первый трап.

Изменилось ли что-то в этом смысле за последние годы? Пожалуй... Нынешние руководители подобного ранга предпочитают спецрейсы...

«А яйца я возлагаю на комсомол!»

Комсомол в своё время всегда над чем-то шефствовал: над овцеводством, над трудными подростками, над ударными стройками...

В целинные годы павлодарская комсомольца выступила с почином – возродить «голубую целину», организовать на селе повсеместно, где есть хоть какой-нибудь водоём, утиные фермы. А на первом этапе требовалось обеспечить энтузиастов утиными яйцами. Эту непростую проблему и готовы были взвалить на свои плечи комсомольцы, призвав на помощь своих соратников по союзу из других регионов страны.

Присутствующий на областной комсомольской конференции секретарь обкома партии одобрил инициативу, завершив свою речь так: «Мы, конечно, со своей стороны тоже подтолкнём кого надо, а по яйцам, считаю, договорились – яйца я возлагаю на комсомол!».

* * *

Теперь этот случай вспоминают как анекдот. Но я сам был свидетелем того, как секретарь уже райкома партии закончил выступление на районном совещании по проблемам искусственного осеменения крупного рогатого скота энергичным призывом:

– А теперь все – на случку!

И его прекрасно поняли: никто даже не улыбнулся.

«Для нас тюрьма построена...»

Бывший директор Павлодарского химзавода Сапарбек Беркетов вспоминал:

– Дело было в конце семидесятых или в начале восьмидесятых годов. Тогда все крупные предприятия облагались своего рода данью – за счёт средств, выделяемых союзными министерствами на их развитие, строились нужные городу объекты социальной сферы. Мы, кстати, таким образом построили больницу, теплицы, бассейн, много жилья.

И вот звонит мне однажды первый секретарь обкома Исаев и говорит: «Готовься, полетим с тобой в Москву». А что мне готовиться – я там в иной месяц по два раза бывал – завод-то наш был союзного подчинения. Спросил только: «К чему готовиться?» – «К твоему министру, – говорит, – пойдём, будем деньги просить». – «На что?» – «На новую тюрьму».

Я удивился такому повороту дела, но спорить не стал – не принято было. А старая тюрьма, ещё дореволюционная, если кто помнит, стояла между улицами Ленина и Дзержинского, на их пересечении с улицей Лермонтова. Представляете себе: тюрьма – на улице Ленина!

Пришли мы к министру химической промышленности Леониду Аркадьевичу Костандову. Ему было в ту пору уже за шестьдесят, а мне, когда я принял завод, – 45 (я был самый молодой директор в отрасли). Леонид Аркадьевич хорошо ко мне относился, можно сказать – по-отечески, называл меня «сынок». Поговорили с ним о делах, сказали про тюрьму. И он вдруг – мне: «Ты-то, – говорит, – сынок, особенно не беспокойся – для нас с тобой тюрьма давно построена...». Я понял, что он имел в виду: в интересах дела любому руководителю крупного завода и министру тоже приходилось идти на разные нарушения, и, стало быть, нас всегда можно было «взять за жабры»... И я больше в разговор не вступал. А денег министр дал... Так в Павлодаре появилась новая тюрьма. А старую снесли.

Аберрация сознания

Эту историю рассказал мне Н.Г. Шафер.

В своё время он отбывал срок за «систематическое распространение клеветнических измышлений о советском государственном строе». (Разумеется, на самом деле ничего подобного Шафер не совершал и впоследствии был реабилитирован).

Первые три месяца своего срока, пока велось следствие и шёл суд, Н.Г. Шафер провёл в павлодарской тюрьме.

– Сначала я попал в «привилегированную» камеру, – рассказывал Наум Григорьевич. – Она была рассчитана на четырёх человек, в ней был деревянный пол, и через зарешёченное окно даже проглядывал кусочек неба. А потом меня перевели в общую камеру, человек на тридцать, к уголовникам... И знаете, какое у меня было самое большое желание? Вернуться в прежнюю камеру! Не домой – об этом даже не думалось, а именно туда, где деревянный пол, краешек неба в окне и нормальные сокамерники...

Безысходность

Я знал его лет тридцать. Его звали Сергей. И всегда он мне казался волевым, мужественным человеком. всю жизнь занимался спортом, испытывал себя на предельных нагрузках. Как-то затеял забег на сто километров, потом – заплыв на 25 километров.

Работал тренером по плаванию, подрабатывал грузчиком. Всегда был собран, сдержан, деловит.

Однажды вечером Сергей отнёс сестре двух живших у него кошек, попросил 15 тенге на проезд, сказал, что его не будет несколько дней... Вернулся домой и повесился.

Почему он так поступил? Может, что-то у него случилось? В общем ничего особенного. В бассейне его сократили, в магазине сказали, что грузчики им больше не нужны, другой работы не находилось... Семью завести не успел, жил одиноко, замкнуто... В петлю его загнали беспросветность настоящего, пугающее своей неизвестностью будущее, страх одиночества.

Провидческие строки

В своё время актёр и талантливый пародист Валентин Гафт написал ядовитую эпиграмму: «Россия, слышишь страшный зуд? Три Михалкова по тебе ползут». Имелись в виду отец, поэт и общественный деятель Сергей Михалков, и его дети – знаменитые кинематографисты Андрон и Никита. Все трое – сверхактивные люди.

И когда, уже в наши дни, Россия приняла новый текст Государственного гимна, отдав предпочтение из многих предложенных вариантов опять Михалковскому (старший Михалков соавтор первого – сталинского, автор второго – послесталинского, а теперь вот и третьего), российские юмористы язвительно иронизировали: большое видится на расстоянии – в той эпиграмме была заложена более глубокая аллегория, под ползущими по России тремя Михалковыми В. Гафт иносказательно имел в виду три версии Государственного гимна.

Благодарность

Ухоженная могила на городском кладбище. Уже не один год за ней присматривает пожилая интеллигентная женщина. Она делает это по собственной воле, хотя тут похоронен чужой ей человек.

Вот её история.

42-й военный год. Глухая деревенька, затерявшаяся в необъятных просторах Северного Казахстана. Школа-восьмилетка. Расшалившиеся на перемене ученики уронили висевший в классе портрет Сталина в застеклённой рамке. Стекло разбилось, порезав непрочную бумагу с изображением вождя народов.

Классная руководительница – немка с Поволжья, спецпоселенка. Она знает, что у неё в школе есть недруг, и он тотчас сообщит о случившемся «куда следует». И она сама едет в район, идёт к начальнику районного НКВД. Обливаясь слезами, рассказывает...

– Знаю-знаю, – говорит он ей, – уже есть сигнал.

– Что же мне теперь делать? – в отчаянии спрашивает она.

– Вам надо немедленно уехать, – отвечает он, – идите в районный отдел образования за новым назначением, я позвоню заведующему.

Умный человек, он сразу понял, что дело не стоит выеденного яйца, как и то, что житья ей в той школе не будет.

Её с охотой взяли в другое место, где она продолжала преподавать свою математику. Первое время ждала, что за ней придут, а потом успокоилась.

Спустя годы судьба свела их в столице Казахстана. Она подошла, напомнила о себе. Он ответил: «Да-да, я помню». Она помогала жене хоронить своего спасителя, когда он умер. Потом его жена уехала в другой город к детям. А старая учительница много лет ухаживает за могилой.

Встречи с чудом

Очищение

Такое случается, наверное, с каждым... Бессонной ночью услышишь вдруг, что дождевики стучат по жестяной крыше вразнобой. Или заметишь свежим морозящим вечером, что луна нынче матовая, а влажные провода блестят, как натянутые струны.

Почувствуешь горько-свежий запах опавших листьев в осеннем лесу и ни с чем не сравнимый, до боли знакомый запах пыльного зерна у совхозного тока.

Такое случается, наверное, с каждым. И невольно остаётся в тайниках памяти, чтобы отозваться тихой радостью или щемящей грустью. И делает нас добрее к людям, лучше и чище...

Сила жизни

В Баянауле красивые и своеобразные горы. Но самое удивительное здесь – не они, а деревья, растущие прямо на камнях.

Каменные глыбы, как блины, пластами выходят из-под земли, наслаиваясь друг на друга; прямо на пластах неизвестно за что цепко держатся шупальца корневищ сосен, берёз... Трудно дереву бороться с камнем, гнётся оно, рвётся вверх – вкривь и вкось, изгибается, словно в танце, но камню не уступает: глыба трескается, появляются расщелины, за которые с удвоенной силой цепляются корни деревьев... Чтобы выжить, снова дробить камень, давать потомство.

Вот она – сила жизни, которой можно позавидовать.

Мелодия дождя

Было тепло и тихо, как бывает ночами в наших местах только в середине лета. И дождь пошёл незаметно, тёплый, спокойный и очень редкий. Не было слышно привычного монотонного шелеста, только тишина становилась всё ощутимее – в такие минуты невольно ждёшь звука, который бы её нарушил. И он пришёл так же незаметно и тихо, как сам дождь: чуть слышный, но явственный – будто кто-то едва коснулся колокола. Казалось, мелодичный звон родился только для того, чтобы коснуться уха и исчезнуть. Это первая капля дождя, скатившись с крыши, попала на пустое ведро, висевшее вверх дном на заборе.

Странная и пока ещё не волнующая нота родилась снова и звучала теперь громче, отчётливее. Не успев оборваться, зазвучала опять, тревожа и настораживая.

Звук был однотонный и печальный, похожий на перезвон маленьких колоколов. Он не раздражал почему-то, только тревожил. Но это была ещё не мелодия, она пришла чуть позже – просто и ненавязчиво – звуки были теперь разной силы и тональности. Так, случается, играют лишь для себя, словно задумавшись и не мешая другим.

Ветер случайно тронул листья клёна, на дно ведра упали сразу несколько капель, и этот неожиданный аккорд оборвал грустную мелодию.

Потом она пришла снова, но это уже была другая мелодия, и слушать её уже не хотелось.

Ошибка

Как-то осенью в Алма-Ате зацвели яблони. Странно и непривычно было видеть рядом с желтеющими и уже пожухлыми листьями маленькие и беззащитные розовые и белые бутоны.

Яблони хотели, наверное, пережить весну в одном году дважды. А это не всегда удаётся даже людям.

Маленьким бутонам было одиноко и неуютно холодными осенними ночами, и они не понимали, что обречены на гибель.

А синоптики объясняли всё очень просто: в Алма-Ате была на редкость тёплая осень.

Иней

Вечером упал туман. Сгладил очертания домов и деревьев. Яркие огни редких фонарей стали матово-бледными кругами и полукружьями. Потускнели звёзды.

Всю ночь трудился туман, оседая на голые ветки деревьев, провода, окна домов и столбы.

А утром туман растаял, словно его и не было. Зато остались совсем седые деревья, пушистые провода, посеребрённые крыши домов и столбы. На улице тихо и торжественно. Воздух свеж и прозрачен.

Но посмотришь на солнце – воздух искрится и переливается: то ветер сдувает с проводов и деревьев мельчайшие снежные иглы, ещё недавно бывшие туманом. И странно – смотреть больно, а отвернуться не можешь.

Степь. Времена года

Один из знаменитых путешественников, побывавший в наших местах в конце девятнадцатого века, написал, что он не видел ничего более однообразного и унылого, чем павлодарская степь.

Вряд ли с этим согласятся те, кто родился и живёт здесь. Для тех, кто способен видеть и понимать степь, она прекрасна в любую пору, во все времена года.

Хорошо оказаться в степи весной, на исходе мая или в начале июня, ранним утром... Зелёный ковёр трав, внятный запах полыни... Степь благоухает... Песня невидимого в небе жаворонка... Земной простор до самого горизонта – неоглядная зелёная равнина, небо и ты... Найдётся ли человек, чью душу не тронет этот неброский, радующий взор пейзаж?

Умытая быстрым июньским дождём степь ходит под утренним солнцем волнами и лоснится, как круп молодой сытой кобылицы.

Осенняя степь в погожие дни дышит спокойствием и умиротворением, а в ветреную пору поёт: это ветер играет на струнах трав свою никогда не повторяемую мелодию.

Осенью в степи можно увидеть самую земную из всех земных картин – рукотворную: золотистые хлебные поля от горизонта до горизонта... Всюду, куда хватает взгляда, хлеб, хлеб, хлеб... Разве такое забудешь?

Полна очарования и тайны скованная морозом зимняя степь, когда над ней курится позёмка и когда на белой равнине так гармонируют, дополняя друг друга, цвет снега и прошлогодней травы.

В степи хорошо, неспешно думается, здесь отдыхаешь душой, как будто оттаиваешь, и начинаешь верить в то, что кажется совершенно недостижимым в «другой» жизни...

Боевая ничья

Когда я впервые попал в Баянаул, то был очарован не только его красотами, но и поражён невероятной силой жизни деревьев, растущих здесь прямо на камнях. Вообще же примеров живучести в природе настолько много, что их трудно описать. Вот ещё один...

Около двух десятков лет назад наше семейство стало хозяином дачного участка. Совсем небольшого – в четыре с половиной сотки, зато в тихом, укромном месте, на самом берегу старого русла Иртыша, ставшего протокой. Прежние хозяева дачки посадили за её забором несколько карагачей – с вполне определённой целью: чтобы они, набрав силу, держали своими корнями берег, не давая ему осыпаться. И вот уже почти полвека карагачи успешно справляются с этой задачей. Но им давно стало тесно на глинистом, твёрдом, как камень, берегу... Мало того, что карагачи затеняют добрую половину нашего и без того крошечного сада-огорода, лишая его солнечного света, но они каждую осень щедро рассыпают по всему участку свои семена. И молодой карагач каждой весной всходит как сорняк повсюду, порой в самых, казалось бы, не подходящих для этого местах – среди зарослей малины, под раскидистой яблоней-«уралкой», в центре грядки лука-батун... И если вовремя не вырвать эту юную поросль, потом уже ничего нельзя сделать. Как-то росток карагача забрался в куст черноплодной рябины, так быстро окреп там и укоренился, что мне – что бы я ни делал – никак не удавалось его выжить. Каждой весной карагач вновь давал отростки, а рябина всё хуже плодоносила и чахла, чахла, чахла... В конце концов пришлось выкорчевать карагач вместе с ней...

Так и проходит наша совместная жизнь со старыми карагачами – в постоянной борьбе, с переменным успехом. Каждые два-три года мы беспощадно обрезаем их кроны, а они затем отрастают вновь. И меня вполне устраивает то, что у нас с ними в этой упорной борьбе – боевая ничья...

Весной

В детстве я, наверное, больше всего любил пору ранней весны. Когда, оттаивая, совсем по-особому пахнет земля, наполняясь живительными весенними соками, когда пробивается к солнцу первая робкая травка, когда едва набухают почки... В такую пору хорошо было выйти за село, присесть на уже подсохший пригорок, ощущая, как сильно и свежо тянет холодком и сыростью из близкого берёзового колка, где ещё лежит снег... И просто посидеть, ни о чём не думая...

Тополиная метель

Невесомая пышная шаль липнет к заборам, укутывает калитки, прозрачным слоем стелится по земле...

Мой трёхлетний сын бежит по белым островкам, взметая за собой белый туман, – так, наверное, можно бегать по облаку...

Пух, гонимый ветром, лезет в нос и в уши, серебрит волосы.

– Ну чисто буран, – говорит мать, прикрывая ладонью глаза.

Скворцы прилетели

На совхозной улице переполох – скворцы прилетели. Сидят рядком на проводах, по-хозяйски орудуют в садах среди голых ещё ветвей тополей и клёнов, наполняя округу щебетаньем и щёлканьем, трелями и пересвистом. Во всех дворах царит праздничное оживление: ребятя и взрослые шарят по кладовкам и чердакам, извлекая на свет Божий скворечники... А то непорядок получается – хозяйва прилетели, а квартиры не готовы...

Удивительный факт: никто не видит, когда именно и как прилетают скворцы. Просто однажды утром обнаруживается, что они прибыли, и теперь дело чести каждого двора встретить новосёлов как подобает. Очищаются от мусора и пыли старые скворечники, спешно готовятся новые, и вот уже то там, то здесь поднимаются в небо шесты с разнокалиберными птичьими домами – выбирай кому что нравится!

Соседям везёт: дед Годун не успел как следует шест закрепить, а две скворчиных семьи уже затеяли шумную ссору за право обладания жилищем... Чрезвычайно довольный этим обстоятельством, дед спешит к нам поделиться радостью: «Мой-то, вишь, заселился...». Достает кисет, степенно закуривает и поучает отца: «Ты бы, Митьк, развернул скворешню к востоку – птице, ей, вишь, наспротив солнца сподручней...».

Я жду, затаив дыхание: остаться без скворцов было бы в высшей степени обидно и несправедливо. И вот откуда-то сверху спикировал скворец и на крышу вывешенного нами домика. Мигом обследовал внутренности скворечника, видно, остался доволен. На его призывный пересвист явилась хозяйка... Новоселье состоится. И душа полнится рвущейся через край радостью: на улице – весна, всю греет солнце, скворцы прилетели...

Пробуждение души

Весна. Уже подсохли пригорки, и мы, пацанва, по вечерам играем на них в лапту... На приусадебных участках хозяйва жгут скопившийся за зиму мусор, прошлогоднюю картофельную ботву, остатки ненужной соломы. Голубые сумерки... Плывёт, слюится по совхозным улицам сизоватый ароматный дымок... Ещё не тепло, но уже и не холодно. Душу переполняет ни с чем не сравнимое, ни на что не похожее светлое чувство. Хорошо, сам не знаешь отчего. До сладких слёз хорошо...

Нигде больше и никогда не бывало так безмятежно и светло на душе, как в те уже теперь далёкие весенние совхозные вечера с плывущим по улицам слоистым ароматным дымом.

Холодно

Морозный день. Только взшло солнце. Воробей на ветке нахохлился, топорщит перья – видно, так греется. И при каждом его движении можно заметить, как из крохотного клюва вылетает едва заметное облачко пара. Ох и холодно воробью! А не поможешь...

Буран

Снег пошёл часов в двенадцать дня – большими пушистыми хлопьями. Снег как снег, разве что небо было чуть темнее обычного. Потом посыпало гуще, снежинки неслись быстрее и скользили по земле, словно не успевая за неё зацепиться. Ничто ещё не предвещало приближающегося бурана, но гнетущее состояние, не покидавшее меня, не проходило, а напротив, усиливалось. Появилась даже мысль отказаться от командировки. Но тут подошёл автобус, как всегда переполненный. В нём было тепло, даже по-домашнему уютно, и тревога как-то отодвинулась.

Автобус шёл быстро. В лобовое стекло хорошо было видно, как струится по накатанной дороге позёмка. Казалось, автобус мчится не по дороге, а по тонкому льду быстрой речки, льду совершенно прозрачному, такому прозрачному, что видно, как волокнистые струи воды стремятся вырваться наружу.

Иногда автобус останавливался. Одни пассажиры выходили, реже заходили другие, и тогда становилось заметно, как быстро набирает силу ветер, разом вырывая из салона тепло и кажущийся уют.

Водитель всё чаще закуривал и всё реже шутил. Ему лучше других было видно, как темнеет впереди и сливается с горизонтом небо. Быстро сгущались сумерки.

Солнце ещё не село – его просто не стало видно. Землю окутывал серо-белёсый сумрак. Уже нельзя было различать кусты лесонасаждений сбоку дороги. За полчаса нам не попало ни одной встречной машины. Стихли разговоры случайных попутчиков. Только мотор ревел по-прежнему ровно и мощно, но к его рёву примешивался теперь грозный гул снежного месива.

Стало совсем темно. Это была не обыкновенная темнота, даже не темень, а густая и плотная серость, в которой терялись очертания предметов, растворялись и таяли звуки.

Шофёр быстро включил фары и вынужден был через мгновение потушить их – два совсем слабых столбика света сразу уткнулись в светло-серую массу, словно запутались в ней.

Автобус уже не мчался, а полз на ощупь, как уставшее животное, и скоро стал. Водитель сидел, по-прежнему наклонившись к стеклу, и напряжённо всматривался в темноту, силясь рассмотреть что-то. Потом устало откинулся на спинку сидения.

Ехать было некуда.

Водитель твёрдо знал, что где-то рядом село, но как тут отыщешь этот самый съезд нелево...

Несколько минут все оставались без движения, потом зашевелились: в салоне становилось прохладно.

Шофёр открыл дверь, и мы, те, кто стоял впереди, спустились в белую круговерть.

Ветер, казалось, дул со всех сторон сразу: небо швыряло уже не снежинки, а мелкую ледяную крупу, от которой нельзя было укрыться. И всё это месиво бесновалось, ревели, как разъярённый зверь, старалось свалить с ног,

засыпать... Но вот сквозь вой ветра отчётливо слышалось тарыхтение совхозной электростанции. Новый звук разом оборвался, пропал в пространстве и снова возник.

Медленно, но упрямо автобус пополз вперёд. Пассажиры прикинули к окнам – нельзя было пропустить поворот к совхозу... Съезд нашли, но проехать по селу уже не смогли. Машина завязла прямо посреди улицы.

Мне повезло – в автобусе оказался знакомый и пригласил меня к себе. Сто метров – не больше – нам нужно было пройти, а ветер, как оказалось (или просто казалось), дул навстречу. Мы шли по улице и не видели ни домов, ни деревьев – только мутные пятна света из редких окон. По ним и ориентировались. Жёсткий и колючий снег бил в лицо, выдавливая слёзы. Казалось, кто-то с размаху хлещет по лицу белой веткой, методично и зло. Не помогали ни поднятые воротники, ни варежки, которыми мы прикрывали лицо. Ветер насквозь продувал пальто, тёплый свитер, и я чувствовал, как коченеют пальцы ног в шерстяных носках и тёплых валенках.

Горе тому, кто окажется в эту непогоду в степи.

В дом не вошли, а ввалились не два человека – два снежных чучела. Кое-как сбили с себя снег, долго грелись у розовой, стреляющей искрами печки.

Буран ревел всю ночь, не утихая. Утром оказалось, что из дома нельзя выйти – открывавшуюся наружу дверь занесло снегом. Мне пришлось выставить окно в маленькой, промёрзшей насквозь кладовой и лезть через него на улицу. С большим трудом откопал дверь, но лишь настолько, чтобы можно было протиснуться в узенькую щель.

Теперь нужно было помочь выбраться наружу соседям.

...Восемь дней одно и то же. Бьётся в стекло обледенелая ветка клёна в проёме единственного не занесённого снегом окна, то появляясь, то исчезая в белой пыли. Воеет и свистит ветер, выдувая из дома тепло и натягивая холод, от которого не спасают ни теплая одежда, ни двойные одеяла...

...Раз в двое суток – поездки на буровую за водой и путь на улицу через окно кладовой...

Восемь дней одно и то же. Берёшь в руки книгу и через минуту оставляешь, берёшь ручку и тут же бросаешь, потому что не можешь сосредоточиться. Самое страшное, когда ничего не можешь делать.

Иногда казалось, что буран вообще не кончится, что за окном нет ничего, кроме обледенелой, промёрзшей насквозь ветки, кроме белой снежной пыли; нет других звуков, кроме свиста и воя; не верилось, что где-то есть люди, которым приносят по утрам газеты, что когда-то снова будет тепло.

Не знаю, откуда у моих хозяев – бухгалтера и учительницы начальных классов – взялся барометр. Он стал самым главным предметом в доме. Восемь дней он показывал одно и то же: к обеду стрелка, если постучать по стеклу, чуть двигалась к центру, а к вечеру снова падала вниз. Я ненавидел его, этот барометр, и не верил, что когда-нибудь он сможет показать «ясно».

Я видел немало буранов. И по-своему даже любил бураны. Находил особую прелесть в прогулках в зимнее ненастье. Но всё это потому, что рядом был родной дом, и когда я возвращался, милее казались и горячая печь, и знакомая старая книжка.

Хорошо, если метель – за окном родного дома. Пусть ломится за окном ветер и злобно швыряет пригоршни снега. Пусть. В доме от этого кажется теплей и уютней. Зимнее ненастье, если ты дома, можно сравнить со сказкой в детстве: немного страшновато, но мы знаем, что конец будет счастливым...

А тогда... Тогда я думал: если есть конец света, то это как раз нечто подобное происходящему на улице.

Лишь на девятые сутки, когда буран стал стихать, со случайной попутной машиной я вернулся в райцентр, где в ту пору работал.

Никогда не питал к нему особых чувств, но в тот момент показалось, что нет ничего лучше заваленных снегом улиц, по которым прежде ходил равнодушно...

– Приехал? – строго спросил вместо приветствия хозяин-старик, у которого я снимал комнату. – Что-то долго был. Заходи... Да ноги не забудь обмыть...

Тихая охота

Грибы – как люди: у каждого свой нор, свои привязанности. Всякий уважающий себя грибник знает, за чем идёт он в лес, и соответственно этому лес выбирает.

За грибами на жарёху лучше всего пойти в смешанный лес, где спокойные берёзы уживаются с нервными молодыми осинами и разномастным семейством тальника. Первой вас обязательно встретит нарядная сыроежка. Она вообще любит яркие одежды и шляпку свою красит едва ли не во все существующие цвета радуги, с самыми неожиданными оттенками – от бледно-жёлтого и малинового до светло-зелёного и густо-синего. Сыроежка – гриб бесхитрый и неприсохливый: её можно встретить и в березняке, и в осиннике, на опушке и в тени, она не прячется, как её многочисленные собратья, а наоборот, сразу бросается в глаза. Сыроежка не слишком ценима основной массой грибников, а без неё и лес не лес...

Застенчивый подберёзовик и франт подосиновик в смешанном лесу нередко соседи. Вот среди редкой травы застыл на тонкой ножке подберёзовик, а рядом, в осиннике, маячит густо-красная шаровидная шляпка подосиновика, корень у него забирается глубоко в землю и бывает во много раз больше головы. Иногда ошибёшься, приняв издали за подосиновик молодой мухомор, на котором ещё не проклюнулись характерные белые пятна.

Если особенно повезёт, вам встретится боровик, он же белый, – гриб степенный и важный. У боровика выпуклая смуглая шляпка, которую держит плотная осанистая ножка, чем-то похожая на короткую перевёрнутую морковку. В хороший год боровик растёт всё лето, но встречается он не часто, так что найти его – большая удача. Этот гриб хорош в любом виде – жареном, вареном, маринованном, его можно сушить и солить; при этом боровик всегда остаётся белым – отсюда, наверное, и второе название.

Ближе к осени любители тихой охоты наведываются в лес в поисках груздя. Из солёных грибов он самый вкусный. У нас растёт несколько видов груздей, поэтому встретить их можно в любом лесу – берёзовом, осиновом, смешанном, на пойме. Поросшие травой опушки и лесные поляны облюбовал белый степной груздь – истинные грибники называют его белянкой. Сухой груздь предпочитает сумрачные осинники. Срежешь его, и на ножке мгновенно выступает белый сок, напоминающий молоко, поэтому такой груздь называют ещё молочным.

Но особенно ценим у грибников житель влажного и тенистого колка – настоящий, или сырой, груздь. Опытный глаз обратит внимание на характерный, едва заметный бугорок рядом с берёзкой. Под шапкой из листьев и прячется влажно-горький упругий, ворсистый красавец. Белый гриб почти невесом, а срезав этот, сразу чувствуешь благородную тяжесть. Вот это удача! Но не спешите. Настоящий сырой груздь не любит одиночества, гриб он семейный. У молодых груздей шляпка выпукло-вогнутая, с плавно закруглёнными вниз краями; у старых – широкая, в форме развёрнутой воронки.

Далеко не каждый год бывает урожайным на грузди, особенно сырые. Последний раз они необычайно уродились дождливым летом 1980 года. В августе и сентябре почти в каждом колке обитало тогда и несметное количество опрятно-рыжих волнушек, а их у нас тоже далеко не каждую осень встретишь. Тот год грибники окрестили годом сырого груздя и волнушки.

Впрочем, кто ищет – находит грибы в любой год. В лесопосадках в середине осени упрямо лезет из земли неистребимое племя стойких валуёв. В колках и на пойме каждое лето и осень попадается степной белый груздь...

Осенний лес не только красив, но загадочно щедр: случалось, подберёзовики и грузди в нашем краю находили и в конце октября, по первому снегу.

Запах родины

Хорошо оказаться ранним утром, на исходе мая, в нашей павлодарской степи... Земной простор до самого горизонта, голубой купол неба – и ничего больше. Неброский, радующий взор пейзаж. Легко, привольно дышится. Тихо до звона в ушах. Накатывает лёгкими волнами шаловливый майский ветер, принося с собой родной, до боли знакомый запах...

Этот неповторимый, с горчинкой, запах – то внятный, резкий, то едва осязаемый – мне никогда не забыть и ни с чем не спутать, я помню его с первых мгновений своей осознанной жизни. Это запах моего детства, моей родины. Это запах полыни.

В нашем целинном краю она отвоёвывала себе место всюду – на приусадебных домашних огородах, на обочинах дорог, в привольной степи. На окраинных совхозных пустошах полынь вымахивала высотой в человеческий рост, и мы, пацанва, затевали в её пахучей чащобе свои нехитрые игры с захоронками-поисками-преследованиями... Когда полынь цвела, мне нравилось срывать с её макушек покрытые пылью зеленоватые шарики-плоды, прихватывая мелкие, узкие листья, и, растерев на ладони, нюхать... Запах был густой, насыщенный. И потом ладонь ещё долго хранила аромат полыни, её стойкую горечь.

В первые годы целины полыни в нашем краю было так много – целые дремучие заросли, что её использовали вместо камыша как строительный материал. У некоторых наших соседей в наскоро сооружённых сараях стены были из стеблей полыни, обмазанных глиной. И ничего – десятки лет стояли! Сухими, ломкими полынными стеблями подтапливали хозяйки «походные» летние печурки, на которых готовились – прямо во дворах – обеды и ужины. А как аппетитно хрумкали зимой овцы, выискивая в степном сене полынок и курай! Считалось, что без витаминной полынной добавки для овец и корм – не корм... Ещё помню полынные веники – их мы заготавливали в поле из какой-то особой полыни, похожей на кустарник, с упругим, почти древесным стеблем...

Кто-то считает полынь грубым, бестолковым растением. А я её люблю. Наверное, не меньше, чем ароматную степную землянику моего детства...

Самая удивительная встреча с полынью была у меня несколько лет назад в Америке. В штате Джорджия нас, казахстанских туристов, повезли в экзотический сад цветов, который нам показался раем земным. Диковинные цветущие деревья, благоухающие кустарники, необыкновенной красоты растения со всего света... И вдруг у самой дорожки, посыпанной мелким гравием, такие неожиданно знакомые сероватые, с лёгкой голубизной, совсем крохотные кустики. Неужели полынь? Оказалось – она самая. Её тут выращивают как редкое экзотическое растение. Не знаю, как и когда она здесь оказалась, но пахла совсем как у нас дома...

Последняя ночь в Майами

У подножия отеля ворочался, вздыхал, поудобнее устраиваясь на ночь, Атлантический океан...

В это было трудно поверить, но это было: бесконечный Майамский пляж, смутные силуэты кораблей на горизонте и океан, который можно потрогать...

Дороги

Просёлочные дороги появляются неожиданно и сразу – вместе с людскими заботами. Верно служат, пока нужны, и забываются, уступая место новым, большим и более удобным; они зарастают травой, стареют и умирают в одиночестве.

Просёлочные дороги чем-то сродни первопроходцам. На их долю выпадает самое трудное и неожиданное. Они многое знают, многое помнят, они и умирая могут служить случайному путнику.

Я люблю их, эти полузабытые, ничего не говорящие случайному человеку просёлки. Они дороги мне, как пожелтевшие старые книги, как верные друзья детства.

Что сильнее?

Однажды весной на наши дачные участки очень долго не подавали воду. Всё сохло буквально на глазах, даже комаров почти не было. И вот, наконец, воду дали. Я открыл все краны, и около большого бака с водой образовалась лужица. Тут же, неизвестно откуда, возникла ящерица и как-то совсем по-собачьи жадно стала лакать воду. Она была совсем рядом, в каком-то метре от меня, делала короткие передышки и снова пила...

Жажда оказалась сильнее инстинкта самосохранения? Или, наоборот, инстинкт самосохранения заставил пренебречь явной опасностью?

...Я отошёл в сторону, чтобы не мешать ящерице...

Живая душа

Ранней весной на даче бывает так же неуютно, как поздней осенью. Пожухлая прошлогодняя трава, сквозь которую едва-едва проклёвывается новая зелень; жалкие и не очень опрятные кусты и деревья, остатки грязноватого снега в укромных местах... Даже птиц в такую пору почему-то не слышно. В такие минуты как-то особенно сильно ощущаешь одиночество и неприкаянность.

Так было в тот раз и со мной. Делать ещё вроде нечего, пришёл, сам не знаю зачем... И вдруг услышал какой-то шорох в глухом, самом запущенном углу, где перемешались неведомо как туда забравшиеся кусты малины, черёмухи и чего-то ещё, чему я не знаю названия, потому что мы ничего здесь не сажали... Подумал сначала – просто показалось. Но оттуда снова послышался шорох, и куда более явственный... Пошёл посмотреть и обнаружил среди кустов серого степного ёжика, маленького, с кулачок... Похоже, он зимовал где-то здесь и теперь приходил в себя после долгой спячки. Как я обрадовался этому бродяге-ёжику: всё же ещё одна живая душа! И сразу будто отлегло от сердца, и уже не было так неуютно и одиноко на ещё не проснувшейся после зимы даче.

Я видел кукушку

Каждый из нас, и наверняка не один раз, слышал кукушку. Но кто может похвалиться, что он кукушку видел? Эта птица очень осторожная.

Прошлым летом мне удалось понаблюдать за кукушкой на даче. Она куковала уже несколько дней – то где-то на острове, за неширокой протокой, то в пойменном лесу, что тоже недалеко от нас. И вот майским вечером уже привычное гулкое «ку-ку» послышалось совсем рядом. Такого чистого и звонкого голоса кукушки мне ещё не приходилось слышать – может быть, потому, что он звучал так близко?

Я завертел головой в надежде увидеть неожиданную гостью. И рассмотрел метрах в пятидесяти на самой верхушке старого, полусохшего карагача её продолговатый, будто литой силуэт. Он очень рельефно смотрелся на фоне вечернего леса и по своим контурам напоминал хорошо знакомую нам сороку, с той лишь разницей, что тело у кукушки длиннее, а оперение у неё менее яркое, однотонное.

«Ку-ку! Ку-ку!» – продолжала свой вечный зов кукушка, а я всё смотрел и смотрел, совершенно забыв о том, что надо бы спросить у неё: «Кукушка, кукушка! Скажи, сколько лет мне ещё жить?».

Ещё зима, но уже весна

(Предощущение весны)

Я очень люблю это пограничное состояние в природе.

Ещё, конечно, зима, но уже чуть-чуть весна. Уже потрудилось солнце и растопило предутренний туман. В воздухе разлита прозрачная, хрустальная свежесть... И хрусткий ледок под ногами в пристывших за ночь лужах, и лёгкий морозец, и высокое небо, и звонкий птичий концерт в соседнем парке...

Всё это пьянит, будоражит душу, и ты невольно ускоряешь шаг, и дышишь полной грудью...

Потом разойдётся солнце, начнёт слепить глаза или греть спину... Притаает лёд... И будет тоже хорошо... Но лучше всего – утром, февральским утром, когда отчётливее всего понимаешь: уже весна, хотя ещё, конечно, зима.

На набережной...

На набережной Иртыша я живу, по ней уже много лет хожу на работу и часто гуляю. С ней связано много впечатлений и воспоминаний. Может быть, они будут интересны ещё кому-то...

Камыш

Когда-то на этом отрезке набережной – там, где теперь стоят наши десяти-двенадцатипятиэтажные «кривые» дома, многоэтажек не было. Не было острова, что на наших глазах возник правее Лермонтовского пляжа. Не была обустроена и средняя часть набережной – с теперешними фонтанами и террасами к Иртышу. Зато был внизу «камышинный остров» – густые высокие заросли, через которые вела неширокая дорожка. Летом, в самую жару, в этих зарослях можно было ощутить желанную прохладу. Ещё тут чуть-чуть пахло болотной сыростью от никогда не

высыхающей лужи, покрытой зелёной ряской. А зимой, особенно во время бурана, в сердцевине этого «островка» было тихо и как-то очень уютно. Наверное, и потому ещё, что шум ветра был слышен и тут, но сам ветер сюда не добирался, и даже снег сверху падал почти отвесно. Ещё откуда-то сверху проникал зимними вечерами свет, завершая картину умиротворяющей гармонии.

Дерево-жизнь

Этот могучий старый клён на набережной стоит особняком. И его не спутаешь ни с каким другим деревом. У клёна короткое, мощное основание, а дальше вместо ствола – кривые, искорёженные ветви, растущие во все стороны. Мне он напоминает ушедший двадцатый век – со всеми его кровавыми изломами, противоречиями, бедами...

«Всё уже было, – как будто говорит нам клён, – и я всё это видел, пережил и продолжаю жить».

Этот клён для меня – символ жизненной силы и стойкости. Я называю его дерево-жизнь и показываю своим друзьям, которые впервые бывают со мной на набережной.

Иртыш

Настоящего ледохода-ледолома на Иртыше нет с тех пор, как он не стал замерзать в черте города. Но можно наблюдать подвижку льда у речного вокзала. А ниже по течению – картину, чем-то напоминающую вечное движение... Шуршание льдин, трущихся друг о друга, лёгкое позванивание... Однажды я видел часть зимней дороги с уцелевшей прорубью на проплывающей льдине...

* * *

Во время разлива Иртыш в широких местах как будто не течёт, а стоит на месте.

* * *

В Павлодаре самое узкое место на Иртыше – у спасательной станции... Вечер... Взгляд каким-то образом захватывает одновременно полосу воды и ущербный диск луны над ней, отчего кажется, что луна тоже движется – навстречу течению.

* * *

Ночь. Узкий серп луны над Иртышом и серебряные проплешины на воде... Картина, достойная кисти Куинджи...

* * *

Яркий июльский день, на Иртыше лёгкая рябь, и он серебрится на повороте, как бок большой сильной рыбы...

* * *

Самая чистая, прозрачная вода в Иртыше – в середине осени. Именно в эту пору он – «беглец зеленоводый», как назвал его когда-то Павел Васильев.

* * *

24 августа 2009 года. Иртыш сегодня утром был так тих, так умиротворённо спокоен, что в нём, сохраняя цвет и едва заметно подрагивая, отражался пойменный лес на другом берегу.

* * *

В жаркую июльскую пору на набережной, под соснами, можно услышать, как раскрываются на деревьях с лёгкими щелчками молодые сосновые шишки.

И ещё увидеть, как через несколько дней после обильного дождя собирают под деревьями на берегу шампиньоны наши предприимчивые земляки.

Птицы

Набережную уже давно облюбовали дятлы. Чаще всего их можно тут встретить зимой. С одной стороны, это говорит о неблагоприятии зелёного наряда правобережья в пределах городской черты, ведь дятлы добывают себе пропитание главным образом на больных деревьях. Ну а с другой – о том, что эти птицы стали признавать зелёную часть набережной лесом. И хотя ещё не устраивают здесь свои гнёзда, как, например, сороки, но зато охотно кормятся. И стучат, стучат, стучат...

Иногда на отрезке пути от улицы Лермонтова до спасательной станции я насчитывал до четырёх-пяти дятлов. Раньше это всегда были чёрно-пёстрые короткохвостые птицы, а недавно стали встречаться их сородичи совсем другого, если так можно сказать применительно к дятлу, – страшноватого вида. Эти – сплошь чёрные, с удлинённым, конусообразным туловищем – чем-то напоминают героя зарубежных фильмов-страшилок Бэтмана, который в своём тёмном плаще летает по небу и вершит свой суд.

Однажды в конце лета я видел, как дятел, устроившись на вершине клёна, лущил сосновые шишки. Через несколько дней под ним была целая россыпь «растопыренных» шишек. Я показывал этот «феномен» нескольким людям и предлагал им объяснить, что это, откуда под клёном столько сосновых шишек? И никто не мог правильно ответить, а некоторые мне не верили, когда я им говорил, что это дятел.

...Когда я утром иду на работу и встречаю дятла, у меня сразу улучшается настроение – для меня это всегда добрая примета. Такой же считаю суетящуюся пару трясогузок, которые стали попадаться мне (жаль, только летом) у фонтана в верхней части набережной.

* * *

Иртыш в районе Павлодара не замерзает из-за тёплого течения протоки, охлаждающей турбины Аксуской ГРЭС. Это плохо и для самой реки, и для живущей в ней рыбы, и для пойменного леса, вынужденного зимовать в сырости.

В сильные холода, когда нет ветра, Иртыш как будто отгораживается от города белой, зыбкой завесой пара...

В тот год морозы в январе стояли под сорок, и почти каждый день на Иртыше, в районе спасательной станции, можно было видеть пару диких уток, прилетающих на открытую воду то ли кормиться, то ли греться... А может, за тем и за другим одновременно. Где они проводили остальное время суток, где ночевали, пережили ли зиму?

* * *

Конец октября... Холодно, но снега ещё нет. На берегу неуютно и ветрено. И только сорока-чистюля неслышно скользит меж голых ветвей у самой воды.

* * *

18 августа 2009 года. Опять видел по пути на работу стаю коршунов, летящих откуда-то из-за Иртыша к Павлодару. Впрочем, стаей в прямом смысле слова их вряд ли можно было назвать, хотя, насчитав больше трёх десятков, я сбился со счёта. Они летели разрозненными группами, по нескольку птиц и поодиночке, на разной высоте, некоторые «притормаживали» и кружили над поймой и над рекой... И почему-то коршуны не обращали никакого внимания на потенциальную добычу – голубей, пролетающих внизу и сидящих на песке у воды.

Никогда ещё я не видел над Павлодаром столько коршунов, как минувшим летом. Или это был взрыв их рождаемости, связанный с какими-то природными «сдвигами», или изменились традиционные маршруты миграции коршунов, и наш город оказался на их пути по этой причине?

Впрочем, тем летом мне приходилось наблюдать обилие коршунов и в степи, неподалёку от Железинки. Наверное, всё же их вывелось в предыдущие годы больше обычного.

Моржиха

Конец декабря. Раннее утро, ещё темно... Мороз за 30 градусов. На набережной ни души, и только ближе к спасательной станции замечаю впереди одинокую фигуру. Догоняю и слышу:

– Здравствуйте!

– Здравствуйте...

– Вы меня не узнаете?

– Нет... Да и темно...

– Я мама Гали Шестопаловой.

– А что вы тут делаете в такое время?

– У нас назначен сбор группы моржей на девять утра...

– Вы что, и купаться ещё будете? В шесть утра, кажется, 36 градусов было...

– Это в шесть утра, а в начале десятого будет всего тридцать или меньше... Уже можно будет купаться...

Пришёл на работу, послал молодого журналиста: хотелось удостовериться – будут всё же окунаться в воду или нет?

Купались!

Теперь вот и сама Галина Павловна Шестопалова стала завзятой «моржихой». Удовольствие, уверяет, неопишное...

Кто как оздоравливается

Никого уже не удивляют сегодня павлодарцы, обнимающие по утрам на набережной деревья, – кто сосну, кто берёзу. Отождествляя себя с ними, наши земляки черпают из них энергию...

Но вот совсем другая картина... Милицейский пост-будка на набережной... Напротив – сосна, у неё вниз головой не то стоит, не то висит, зацепившись валенками за ветку, мужчина. Чуть притормаживаю...

– Привет редактору, – слышится снизу, – ну как там у вас в редакции, власти не донимают?

– Здравсьте, – отвечаю машинально и замолкаю: как-то не очень часто приходилось говорить с человеком, стоящим-висящим вниз головой...

– Что – удивляетесь? А ничего тут такого нет – нормальное упражнение, я его делаю уже лет двадцать... Отлично себя чувствую – всегда в тонусе. Никакого простатита и прочих мужских болячек. Женщины до сих пор не обижаются...

Лет ему – 72. На дачу и обратно с весны до осени (она в районе тракторного завода) ездит только на велосипеде.

Лошадиная тропа

У поэта Василия Лукова есть такая строчка: «Как вкусно пахнет конский пот...». Кто-то, может, сморщит нос от подобного сравнения, между тем оно очень верное: если вы когда-нибудь в жизни имели дело с лошадью, то

никогда не забудете этого неповторимого запаха. Да и вообще, общение с этими удивительными животными, особенно в детстве, остаётся в памяти навсегда. Как первая любовь...

Причём здесь набережная? При том, что в последние годы здесь неизменно появляется статный казах средних лет, а с ним две или три его лошади. На них он за символическую плату катает верхом всех желающих. Чаще всего вокруг него собирается ребятня, которой всё интересно. Притом девчонок, кажется, всегда больше... Они и смелее садятся на главного хозяйского коня – высокого, статного, тонконового (они чем-то похожи с хозяином). И тогда «учитель» бежит рядом с наездницей, подсказывая ей на ходу, как надо себя вести.

Не думаю, что этот человек много зарабатывает таким образом. Но то, что он делает, заслуживает огромного уважения. Потому что он пробуждает в детях лучшие из человеческих чувств. Как жаль, что наши чиновники от образования до сих пор не додумались до того, чтобы найти достойное применение урокам доброты и человечности, которые он по сути бескорыстно даёт на глазах у всех...

Предложение

Она встретила меня, как только я повернул на набережную. Сначала просто бежала поодаль, будто сама по себе, будто ей нет до меня никакого дела... Потом приблизилась чуть-чуть, словно приглашая обратить на неё внимание. Потом забежала вперёд и бежала прямо передо мной, всё время оглядываясь и как будто говоря: «Ты посмотри, какая я – красивая, умная, воспитанная, хочешь, я буду с тобой? Вот увидишь – ты не пожалеешь об этом!».

Это и вправду была очень хорошая собака, она сразу мне понравилась...

Я остановился. Остановилась и она, как будто вновь говоря: «Ну что же ты, давай, решайся!».

«Извини, – сказал я, – вижу, какая ты хорошая, но куда я тебя возьму?», «Эх ты, – читалось в её ответном взгляде, – я к тебе со всей душой, а ты...».

Я ушёл. А она осталась. И больше мы с ней не встречались.

Упорство

Начало 90-х годов теперь уже прошлого века... Каждое утро, идя по набережной на работу, я встречал эту пожилую женщину, бегущую на лыжероллерах. И делала она это так истово, упорно, как будто хотела кому-то (или, может, себе самой) что-то доказать... Я не знал, кто она, есть ли у неё семья, близкие... Мне почему-то казалось, что она одинока. И я пытался представить себе историю её жизни... Когда-то она была молода и, вероятно, обременена шлейфом житейских забот; любила и была любима, растила детей... А теперь всё в прошлом; остались лишь старость да одиночество, да эта давняя страсть к движению – наверное, единственное, что приносит ощущение полноты жизни. И этот бег стал своеобразным ритуалом, с которого начинается её день. Это – и образ жизни, и смысл её, и мировоззрение...

Той женщины на набережной давно уже нет. Теперь мне встречается бегущий мужчина средних лет: коренастый, жилистый, на длинных кривоватых ногах. Бывает, когда я иду от улицы Лермонтова до спасательной станции, он успеваеет мне встретиться дважды. В нём то же упорство и та же неистовость, что были в женщине на лыжероллерах. Он ни с кем не заговаривает и не здороваются на бегу. Он весь – в этом беге. И, как когда-то давно, я пытаюсь представить его жизнь. Пытаюсь и не могу... И тогда говорю себе: «Движение есть жизнь» – и ускоряю шаг.

Ярмарка тщеславия

Когда-то берег Иртыша от бывшего Дворца тракторостроителей и до речного вокзала был застроен сплошь одноэтажными домишками. Исключение составляли трёхэтажный «обкомовский» дом да спасательная станция. Теперь же иртышский берег – настоящая «ярмарка тщеславия», на которой новые хозяева жизни будто соревнуются друг с другом – чей особняк или дворец круче. Новые жилища, наклепанные вдоль береговой линии, где похорошему и строить-то подобные «хоромы» не следовало, вполне отражают вкусы их хозяев. Вернее сказать, пристрастия, потому что о чувствах вкуса и меры говорить не приходится. А роднят их все – высоченные глухие заборы, как будто хозяева постоянно ждут нападения невидимого противника. И будто в назидание потомкам стоят многие из новых хором на улице основоположника учения, заклеившего капитализм, – Карла Маркса.

...Как наше слово отзовется...

(Рецензии, отзывы, читательские отклики, строки из писем)

Эти отклики стали неожиданным и своеобразным продолжением моих книг... Отозвавшись на них своим живым словом, знакомые и незнакомые мне читатели оказались соавторами этих книг.

Поистине, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...».

Наше сложное и трагическое – эпическое – время прорастает в памяти людей, согретой теплом добра и любви, сохранившей, как заповедник, светлые истоки их непростых и таких разных судеб...

Поэтому они так дороги мне – эти строки.

Панорама малой прозы

Когда маленькая деталь становится смыслом большого повествования, поражаешься таланту, такту и уму писателя, сумевшего философски-эстетически осмыслить эпохальное явление. Но когда живая жизнь с её масштабностью и

глубиной полноценно отражается в бытовой миниатюре – тут уже думаешь о чуде жанра, способного камерно «переплавить» наиболее яркие приметы века.

Юрий Поминов работает в труднейшем литературном жанре – в жанре бытового этюда. Трудность его в том, что на страничке печатного текста (а порой в двух-трёх фразах) нужно так умудриться запечатлеть частный случай, чтобы за ним «проглядывала» сложная человеческая судьба и неповторимый характер личности. А если к тому же за всем этим угадывается «лик эпохи», то перед нами уже полное торжество изобретательной малой прозы над капитальными литературными со-оружениями.

Я не хочу сказать, что Ю. Поминов задался целью посрамить подобные сооружения. Совсем нет. Он поставил перед собой другую задачу: двумя-тремя рельефными штрихами изобразить жизнь в самых будничных её проявлениях. И, по-моему, справился с этой задачей блестяще. Его миниатюры, собранные в этой книге, с таким остроумием и нарочитой невинностью обобщают приметы нашего быта, что дают повод оптимистически прогнозировать судьбу малых жанров в хмурые дни господства толстых глянцевиных романов, когда, прочитав сотни страниц, ты не ощущаешь ничего, кроме пустоты, и сожалеешь о напрасно потерянном времени: овладел крепостью, которая тебе не нужна.

Мне попадались автобиографические опусы, где детство и юность рассматривались как бы в телескоп – настолько они отдалены временем от пишущего. Ю. Поминову нечего прибегать к оптическому прибору – детские и юношеские годы не только не потускнели в его памяти, но стали нравственным стимулятором сегодня. Не в этом ли родство его «семейных» миниатюр с творческим почерком другого павлодарского автора, Людмилы Гришиной, создавшей очаровательную ностальгическую повесть «Родные и близкие»? Да, в детстве (советском) у каждого из нас было немало уродливого, но уважение к своим былым ощущениям и наивным, чистым побуждениям, романтизация быта, память о «родных и близких» определяют наш моральный облик в зрелые годы...

Вот эту мысль Ю. Поминов стремится внушить читателю не открытым текстом, а пристальным вниманием ко всем своим родственникам – кто бы они ни были: слабые или сильные, рядовые или незаурядные... Ибо если мы не манкурты, то должны осознать свои истоки.

Окно, распахнутое в прошлое, обнажает индивидуальное и неповторимое художественное мироощущение. Как много общего надо иметь со своими предками, чтобы на протяжении десятков лет после их ухода из жизни оставаться рядом с ними, совсем близко, как будто они и не уходили! В чём разгадка этой беспокойной близости? Конечно же, в непреходящей боли автора... Глубоко впечатляют мемориальные страницы, посвящённые дедушке и бабушке по материнской линии. Они прожили большую жизнь, полную невзгод, и не заслужили даже лёгкой смерти – умерли в мучениях. Жили – мучаясь, и умирали – мучались...

А вот рассказ о бабушке по отцу – Марье Петровне. Её долгая, долгая жизнь (98 лет), в которой отразились поэзия быта и вековая нравственность (она была неграмотной), свидетельствует, что никакая литература, никакое искусство этого не прививают – всё воспитывается средой, традициями, коренится в менталитете народа. Не зря Булат Окуджава напомнил: шедевры литературы и искусства существуют тысячелетия, а в мире по-прежнему процветают зло, насилие, обман.

Сердечный интерес писателя к духовному миру родной матери определяет этическую концепцию всей книги. Какие бы «побочные» житейские истории не рассказывал автор, мы невольно воспринимаем и морально оцениваем их сквозь призму той истинно народной мудрости, носителем которой является простая русская женщина. Примечательно, что образ получился полноценным, несмотря на отсутствие авторской характеристики. Внутренний мир матери «компануется» из реплик, которые она произносит по различным поводам. Вроде бы набор цитат. А в сущности – свободная словесно-речевая реализация народного здравого смысла. Это надо уметь! «Глаза бояться – руки делают»... Да тут целая философия. Когда душа содрогается от растерянности перед нынешним днём и его непосильными задачами, в подобном взгляде на мир – свет спасения. Кто знает: может быть, мы и впрямь спасёмся, если окончательно реабилитируем теорию «малых дел»...

А вот – не угодно ли? – «Богу молись, и чёрта не гневи!». В книге Поминова «Помню и люблю» этот афоризм был заповедью центристов. А в устах мудрой матери – это уже привитие холодостойкости при морозной погоде. Чтобы выжить. И продолжать делать своё дело. Кто сказал, что «переть на рожон» – признак большого ума?

Долг сердца подсказал писателю создать произведение «Память сердца», посвящённое отцу. По формальным признакам это – повесть. Но не случайно в подзаголовке есть другое обозначение – «записки». И действительно, перед нами опять-таки серия бытовых миниатюр, складывающихся в жизнеописание родного человека, вокруг которого группируются другие выразительные личности. «Я не буду ограничивать себя никакими жанровыми рамками, – предупреждает писатель читателя, – не буду заботиться о сюжете и композиции. Я буду писать, как будет писаться». Именно потому так легко и читаются эти записки, что в них нет нарочитого «угла зрения» и показного экспериментирования по части жанровых «слияний». Это – свободно льющийся рассказ, где тонкая наблюдательность объёмлет необъятное (абсолютно стихийно!) и раскрывает объективный характер прекрасного, таящегося в самых грубых проявлениях быта. Уже в самом начале повествования, после мартиролога, запечатлевшего скорбный конец многочисленных дядек и тётек, автор сообщает, что его отец впервые заговорил лишь в пятилетнем возрасте – и сразу с мата... И в дальнейшем Поминов не всегда щадит отца, повествуя об обидах, которые он наносил людям. Но странное дело: чем чаще отец предстаёт в неприглядном виде, тем больше ощущаешь внутреннюю доброту его натуры и начинаешь понимать драму человека, который всю жизнь готовил себя для чего-то значительного и справедливого, но не мог этого осознать. Однако результат его неосознанной духовной целеустремленности налицо – в противном случае сыновья не были бы такими, какие они есть. Да простит мне читатель банальную истину: дети – зеркальное отражение своих родителей (хотя и не всегда). И если после их ухода наследники ощущают бездну свободного пространства, то в этом пространстве нет места памяти сердца и чистым помышлениям.

Любопытен рассказ о младшем брате, ставшем кандидатом филологических наук. Жизненные перипетии, в общем-то рядовые, приобретают уточнённо-юмористический оттенок благодаря верно найденной интонации. Поэтому читать интересно, хотя читать в принципе не о чем. Вот попробуйте так написать: чтобы читать было не о чем, но чтобы ты с интересом и сочувствием следил за судьбой героя... Хотите узнать секрет? Он кроется в той же подспудной любви к «родным и близким», а легкие воздушные строки страхуют автора от разлива горячих чувств.

Очерк «Дядя Коля»... Ещё одно подтверждение неутомимого интереса к своему роду-племени. Исходная мысль очерка такая: «Говорят, что когда уходит человек, вместе с ним исчезает целый мир. Я не хочу, чтобы с дядей Колей ушёл его неповторимый мир... Но что я могу? Я могу рассказать о дяде Коле». И далее автор повествует о вечном трудяге-шофёре, умельце на все руки, замечательном муже и отце, добрейшем человеке, который жил с достоинством и умер с достоинством. «Я всю жизнь буду ему должен», – говорит писатель в конце очерка... Да, чувство благодарности – великое чувство. И очень редкое. К сожалению...

Мне кажется, что этюды Юрия Поминова универсальны в том плане, что они в одинаковой степени рассчитаны как на тех, кто редко берёт в руки книгу, так и на тех, кто давно владеет искусством чтения. Для первой категории читателей этюды могут восприниматься просто как занимательные житейские истории (это тоже неплохо), для второй – это повод задуматься над проявлением необычного в обычном. Но от опасности упустить истину не застрахован никто.

Вряд ли будет прав тот читатель, который решит, что миниатюры типа «Федя Попов» или «Гонорар за общение» носят исключительно анекдотический характер. Конечно, Юрий Поминов может и развлечь, и рассказать анекдотический случай, и это прекрасно, тем более что любую абсурдную ситуацию автор молниеносно доводит до логической и смешной развязки. Нет, я веду сейчас речь о другом – о драматическом подтексте в обрисовке так называемых «чудиков» (словечко, узаконенное В.М. Шукшиным). Кто он, Федя Попов, съевший в один приём девяносто шесть пирожков, – ненасытный обжора или человек, не знающий другого способа доказать свою непохожесть на других? Возможно, автор намеренно подготовил почву для мыслящего читателя, создав другой рассказ – отражательный – о серьёзном волевом человеке, голодавшем долгие годы и захотевшем однажды взять реванш. В сущности, это две вариации на одну тему: персонажи – полярно противоположны друг другу, а естественность причинной последовательности событий – одинаковая.

Вероятно, рассказы о «сумасшедших», одолевших редактора газеты своими фантастическими проектами, не заключают в себе никакого подтекста. Но мне хочется думать, что он всё же есть, и ему принадлежит решающее значение. Безумен ли человек, предлагающий удалить внутренности ракет, просверлить корпус, а затем заполнить водой, чтобы поливать поля с вертолёта? Вроде бы да. Но почему, в таком случае, мы считаем нормальным человека, который избрёл эти самые ракеты на погибель всему человечеству? Классики предостерегли нас от шаблонного мышления. В повести «Доктор Крупов» А.И. Герцен изложил парадоксальную теорию всеобщего и повального сумасшествия людей. В самом деле, кто сошёл с ума: больной, вообразивший себя китайским императором, или врач, надевающий на себя все свои ордена при осмотре палат? Обратим взоры на наш повседневный быт. Кто безумен: бедолага, попавший в психиатрическую больницу, или преуспевающий бизнесмен, который решил снабдить персональным автомобилем каждого члена своей семьи, в том числе сына-четвероклассника?

Я не знаю, перечитал ли Ю. Поминов «Доктора Крупова» в процессе составления своей книги, но некоторые его этюды весьма удачно варьируют темы из старой русской классики, находятся с ними в тесном соседстве. Вот оскорблённый механизатор, получивший почётную грамоту и не расслышавший, что в придачу ему полагается ещё и мотоцикл. А вот довольный трёхлетний малыш, который давится ненавистной манной кашей, – давится, но ест, так как получил её «в награду» за хорошо прочитанный стишок... Разве это не отголосок толстовской теории, что в ребёнке больше духовности, нежели во взрослом: сознание ребёнка – чистое, оно ещё не замутнено ложным смыслом материальных ценностей.

Ю. Поминов вынужден заменять некоторые действительные имена персонажей, в особенности когда пишет о бывших партийных деятелях. Последние, впрочем, чаще всего безымянны. Тут, думаю, дело не только в писательском такте (ещё живы те, которые осмеливались называть себя проводниками «мудрых» идей), но и в стремлении подчеркнуть вездесущность той или иной фарсовой ситуации. В этом отношении показательна миниатюра «Воспитательный момент». Всего лишь в одном эпизоде (анекдотическое исключение из партии беспартийного человека) запечатлена вся сущность бюрократической системы, при которой важна не суть, а форма. При этом – полное наплевать на судьбу человека. В сатирической концовке угадывается символ неминуемого краха тупой, бездушной системы.

Должен заметить, что Поминов решительно избегает разоблачительного пафоса. Наоборот. Подчас его ирония граничит с сочувствием и, пожалуй, с улыбочивой доброжелательностью. И это хорошо. Ведь не все партийные бонзы были бюрократами и карьеристами – они просто не соответствовали новому жизненному содержанию дальнейших времен. Одному из них, наиболее умному, эрудированному и талантливому, автор уделяет особое внимание. И есть за что. Бывший партийный вождь Павлодарской области не предал своей веры, не стал конъюнктурщиком, не унился до отречения от своих идеалов. После краха советской власти он стал жить по пословице: «Уважай себя, если хочешь, чтобы тебя уважали» – и свой нерастраченный дар стал воплощать в стихах, которые публиковались под псевдонимом Василий Луков. Мини-очерк Поминова заканчивается так: «Готовится к выходу первая книжка его стихов. И кто знает, может быть, мы ещё станем свидетелями настоящей популярности нового поэта...».

Как в воду глядел Поминов. Читатели знают: книга «Возвращение к себе» уже вышла в свет. И была положительно отрецензирована в периодике. И порадовала многими талантливыми строками. И огорчила поверхностным максимализмом. А в целом – действительно принесла автору настоящую популярность.

Уж о ком – о ком, а о журналистах Юрий Поминов пишет с особым пристрастием. Тут удивляться нечему. Многолетнее пребывание на посту главного редактора солидной областной газеты «Звезда Прииртышья» позволило ему сполна испытывать и тяжесть духовного гнёта со стороны властей, и горечь вынужденных компромиссов, и состояние катарсиса (очищения), после которого наступал период ясного и глубокого осознания жизненных конфликтов.

Ю. Поминов рассказывает о забавных, порой трагикомических ошибках и опечатках на газетной полосе. Симптоматично, что некоторые опечатки – стихийно! – срывают покровы с лицемерия и лжи, неожиданно выявляя истинную правду во всей её наготе. Так, например, «всенародно избранный Президент» было напечатано как «вненародно избранный Президент» – то есть «н» вместо «с» в первом слове. И имитация выборов стала документальным фактом, запечатлённым в газете... О том, что подобные казусы могут стимулировать научные занятия дотошных лингвистов, уже не говорю.

Признаться, меня в некоторой степени умиляет стремление Поминова вырвать из общей массы личность и придать ей черты неповторимости. Ему очень хочется, чтобы человек, обречённый кануть в бездну забвения, остался бы жить хотя бы на одной страничке печатного текста. Все эти личности, с одной стороны, заурядны, с другой – неповторимы. У автора подспудно пробивается мысль, что в природе нет ограничений для проявления качества человеческой природы. А «тревожные запросы совести и морали» (Ольга Форш) – что поделаешь! – удел не всех смертных.

Правда факта и художественная правда, как известно, – разные вещи. Порой всего лишь восемь или десять строк могут у Ю. Поминова приобрести ослепительную ширину. Миниатюру «Психология очереди» хочется процитировать полностью (не беда, если читатель прочитает её дважды):

«За многие годы Советской власти, особенно за последнее время, у людей, а у номенклатурной верхушки в ещё большей степени, сформировалась устойчивая психология очереди: ненавидеть тех, кто впереди, презирать тех, кто сзади, и, по возможности, расталкивать локтями тех, кто рядом...

Приходится констатировать: новые времена в этом смысле мало что изменили».

Вот и всё. Но сколько здесь горькой иронии, сколько глубины и точности в крохотном тексте!

Природа и труд у Поминова – главные воспитатели человеческих душ. Об этом – серия небольших очерков «Пора сенокосная». Здесь улавливается скрытая полемика с приверженцами так называемого «кнопочного труда». Труд (подчас тяжёлый, изнурительный) – это, в сущности, проверка не просто на физическую выносливость, а прежде всего – на нравственную стойкость. И вот перед нами предстаёт дядя Митя, тракторист, неутомимый и бескорыстный труженик, тип народного умельца и доброго человека, на котором держится земля. И – неотразимое счастье подростка, хорошо поработавшего на сенокосе: «Высокое чёрное небо дружелюбно подмигивает мне ясными глазами звёзд. Ближе к полуночи звёзды начнут падать: конец августа – пора звездопада. Надо поймать момент и загадать желание... Но неожиданно ловлю себя на мысли, что мне ничего не нужно от падающей звезды. На душе тепло и уютно: вот так бы ехать и ехать далеко, далеко... И я лежу, наслаждаясь тишиной и покоем, и думаю о том, как это здорово – жить под этим добрым небом...».

В этом финальном фрагменте выражен подлинный культ бескорыстия, о котором подросток ещё не догадывается. А творческая манера автора близка к жанру «стихотворения в прозе», где мысли выражаются не столько открытым текстом, сколько самим строем художественной речи, его эмоциональностью.

Не случайно многие миниатюры в этой книге можно без всякого риска отнести уже к самостоятельным образцам этого жанра. Истинными стихотворениями в прозе я назвал бы такие этюды, как «Сила жизни», «Мелодия дождя», «Дороги», «Скворцы прилетели», «Тихая охота» (последний этюд, впрочем, уже похож на маленькую поэму). Здесь я нахожу все признаки жанра, некогда облюбованного И.С. Тургеневым, а потом – Солоухиным и Солженицыным (в «Крохотках»): богатую ассоциативность, поэтическую аллегорию, сложные обобщения. Внутренний мир отражён, как в стихах – отсюда музыкальность речи... А странная выходка способна осветить человеческую душу, очистив её от бытовой угнетённости. Такова малюсенькая новелла «Просьба». Один человек звонит по междугородному телефону другому человеку и просит его спеть на пару «Когда мне невмочь пересилить беду»... Эта новелла – о волнующей «проницаемости» истинного искусства, которое сближает людей, разделённых тысячами километров... Нужны ли после этого учёные трактаты о народности песен Окуджавы?

«Буран» – вариация на заманчивую классическую тему (Пушкин, Толстой). Вместо тройки лошадей – заблудившийся автобус, который с трудом пробивается к совхозу и, обессиленный, застревает на улице. А потом – восемь дней пребывания героя в чужом доме, пока неистовствует буран. Борьба человека с природой заканчивается вничью, вернее, общим примирением. Если бы всегда существовал разум!

«Живу» – такое название дал автор своей книге. О! Название не столь простое, как может показаться на первый взгляд. Попробуем разобраться.

В одной из новелл идёт речь о том, как журналист «профукал» свою жизнь, полагая, что занимается полезным делом. В другой новелле речь о том же. Но если в первом случае герой – жертва ложного представления о духовных ценностях, то во втором – жертва «романтической дури». Эти новеллы легко сопоставимы. Ибо и в том и в другом случае человек проживает чужую жизнь.

Тайны человеческой психики... Автор принципиально отказывается разгадывать их – пусть читатель сам приложит усилие, чтобы понять, что такое истинная жизнь и истинное величие души. Вот одна из загадок. Зек-агроном заводит в Карлаге садово-огородное хозяйство, экспериментирует, пытается вывести засухоустойчивый сорт степной вишни, а когда приходит полная реабилитация, готов повеситься на единственном дереве и... остаётся жить вблизи мест, где отбывал заключение, продолжая заниматься любимым делом... Не знаю, как кому, но мне сразу же

вспомнилась история потомственного дворянина, поэта-декабриста Владимира Фёдоровича Раевского. Сосланный в Сибирь, он там занимался земледелием и женился на бурятке. Получив через двадцать лет амнистию, он побывал в Москве и Петербурге, посмотрел на суету сует, махнул рукой и... вернулся к своей бурятке и к своему огороду. Что же произошло с человеком: духовное оскудение или духовное прозрение? Омертвление или воскресение души? Выдержал ли он все трудности и испытания или адаптировался, сдался? Попробуйте найти однозначный ответ.

Ну а над названием книги Юрия Поминова я не ломаю голову. Убеждён: автор – живёт! Живёт, а не прозябает. Живёт своей жизнью, а не чужой. Живёт реальными чувствами, подымающими художественное сознание писателя и моральный долг журналиста. Живёт с подлинно человеческим отношением к людям и с доверием к ним. Чего он, несомненно, желает своим читателям.

Наум Шафер.

Полынь в Америке

Деревенскую прозу не раз хоронили (и с почестями, и без них). Я стойко пытался этому сопротивляться и в душе, и в своих профессиональных ориентирах. Когда же пришло время признать, что эта литература отдала своим героям «последний поклон» и у неё, как у всего сущего, есть свой «последний срок», вдруг услышал новые интонации, и совсем рядом. Конечно, Ю. Поминов, более четверти века отдавший журналистике, и в литературе далеко не новичок. В разные годы и в разных изданиях публиковались его очерки, циклы небольших рассказов и новелл. Уже можно говорить о читательском внимании и признании. Есть и свой читатель.

Неожиданность заключалась в другом: среди многочисленных разнохарактерных и разновозрастных героев не оказалось тех, кого мы привыкли называть отрицательными персонажами. Много написано и о разном (детство, родственники, друзья, коллеги), и нет зла. Осмелюсь сказать, что это не только характерная черта творческой индивидуальности Ю. Поминова, но и примета времени. В нашей непростой действительности это почти невероятно, зато совершенно закономерно и традиционно для русской литературы. Это один из парадоксов искусства и в то же время одна из родовых черт нашей классики. По Достоевскому, неистребимое стремление к идеалу и есть истинный реализм, или, по его же определению, реализм в высшем смысле.

Русская классика, которую мы привычно и не точно называем литературой критического реализма, оставила нам в наследство главную заповедь – увидеть в человеке человека.

А критический пафос – только фон, точнее, верность реальности, та правда, без которой нет истины, без которой великая литература стала бы великой утопией.

Но как быть с этим явлением – литературой без зла?!

В послевоенной русской прозе одним из наиболее ярких течений стала так называемая исповедная, или лирическая проза (Ю. Казаков, В. Лихоносов).

Эта литература сознательно и даже вызывающе лишала характер своего героя исторической масштабности и даже социальности. Её герой – странник, бродяга, отшельник – сам себе государство. Герой другого направления – деревенской прозы – хотя бы внешне социален, но эта внешняя социальность имеет принципиальное значение – именно социальный мир грубо препятствует самореализации личности, ограничивает, сужает эту личность. Таким образом, социальный человек и природный имеют явные противоречия, более того, именно в этом и заключается основной конфликт, если говорить обобщённо, личности и общества (государства).

В прозе Поминова нет ни внешнего, ни скрытого конфликта. Более того, лирический герой не только не замкнут в себе, открыт миру, но именно этот мир, люди, окружающие его, больше всего и привлекают к себе. Совершенно очевиден исповедальный и даже документальный жанр повествования, и в то же время общий фон небольших новелл, безусловно, эпический. Один из лучших сборников Ю. Поминова назван «Характеры». Сразу вспоминаются шукшинские «Характеры», книга, ставшая визитной карточкой писателя. Сколько билась критика над их определением: «чудики», «маргиналы» и т.п.

Думаю, всё было проще и мудрее – в очередной раз русская литература открывала для себя много раз изученную, но так и оставшуюся загадкой тайну – человека.

Этот знакомый, неведомый мир – душа человека – не оставляет в покое и Ю. Поминова. Более того, можно с полной ответственностью говорить и ещё об одном герое его книг – Природе. Новеллы о грибах или дожде воспринимаются как настоящая поэзия в прозе. Причём их присутствие в книге совершенно обоснованно, потому что это тоже «характеры» – яркие, самобытные, одушевлённые – живые.

Мир открыт герою, и герой открыт миру, но за внешней открытостью души, приемлющей мир, есть совершенно определённая иерархия, безошибочный отбор.

* * *

Юрий Поминов родился в Сибири, но вырос в целинном совхозе «Михайловский», который расположен практически на границе с Россией (Новосибирской и Омской областью), в Казахстане. Эта пограничная топография гораздо глубже укоренится в его сознании, в котором не окажется места границам. Родина окажется больше её географических ориентиров.

Примерно в одно время будут написаны два очерка: один о поездке в Америку, другой – о поездке в родную деревню, на школьный вечер встречи выпускников. Америка оценена по достоинству. Есть там неподдельный интерес, удивление и даже восторг (ещё бы – небоскрёбы!).

Но это восторг человека искушённого и, главное, крепкого, устойчивого. Сумел же увидеть за безбрежной Атлантой и заоблачными небоскребами незаметную полынь среди декоративных, почти фантастических растений в одном из многочисленных музеев. Это не просто удачная художественная находка. Родное село в другом очерке предстаёт полуразрушенным (нет и родного дома, вернее, есть руины).

Так вот, родина в душе, в памяти, после её разрушения в реальности стала ещё чище, стала почти святыней.

Когда деревенскую прозу уже похоронили, она вдруг пробилась там, где её не ждали; так же, как родная полынь в Америке, так и она – в памяти писателя, родившегося в Сибири, от семени, занесённого историческими ветрами с древней тульской земли, выросшего на казахстанской целине, ставшей для него той малой родиной, без которой нет большой судьбы.

В течение века три поколения одного рода трижды заново обретали родину. В итоге малая родина (целинный совхоз) – разрушена, родина родителей (сибирская деревня с вековой историей) – разрушена, историческая родина (тульская земля) – за границей. Что осталось?

Память, неистребимая, как полынь...

* * *

Героев деревенской прозы сначала пропустили через коллективизацию, потом (через время), в качестве пробной акции, объявили неперспективными (даже тех, кто ещё помнил коллективизацию), а тех, кто сумел и это пережить, уже в новое время пригласили к фермерству (т.е., надо понимать, к кулачеству). Об этой исторической «вехе» деревенская проза ещё не сказала или, скорее всего, уже не скажет, да это и не столь важно – «дело привычное». Важнее другое – был открыт характер и универсальная мера вещей.

Ю. Поминов начал открывать свою Матёру в то время, когда успешно и тотально шла борьба с неперспективными уже не деревнями, а регионами, и когда деревенщики от высокоталантливой, но «малодейственной» художественной «формы борьбы» перешли в открытое наступление публицистикой и даже к «артиллерийскому» жанру «открытых» писем.

Я не случайно упомянул распутинскую Матёру, потому что Матёрой Поминова стал целинный совхоз в северном казахстанском краю, рождение которого было абсолютно партийно-волевым. Сюда приехали люди со всех уголков страны, разных национальностей. Но если у Распутина пришлые люди – «архаровцы», которым противостоят местные жители, то здесь – иначе. Казахстанская земля сумела принять десант. Было разное, и не только хорошее, были трудности, равноценные корчагинским (об этом пока не сказал коренной целинник – автор этой книги), были свои «архаровцы» (и в достаточном количестве).

Но люди прижились. А жить им не дали. Короткой оказалась судьба целинной Матёры. Люди приехали по призыву партии и правительства. А потом их подвиг был забыт. «Дело привычное».

Осталась память. Она и заставляет писать.

* * *

Книга «Живу» создавалась стихийно, без заранее намеченного плана и чётко просчитанного сюжета, а в итоге вобрала в себя события целого века, бурного, противоречивого, трагического, который и стал, по существу, главным героем. Как годовые кольца на стволе векового дерева, нанизываются в ней судьбы, год за годом, поколение за поколением. Герои на страницах книги живут часто вопреки всему, а значит, на пороге третьего тысячелетия живы и мы. Думаю, в этом главный секрет обаяния творчества Поминова.

Книга о прошлом оказалась в итоге обращением к будущему и потому состоялась. Её финал остаётся открытым. Век закончился, век начинается.

Пётр Поминов,

кандидат филологических наук.

Между прошлым и будущим

Павлодарскому журналисту, писателю Юрию Поминову газета не только не мешает писать добротные очерки и другие газетные материалы, но и помогает создавать работы, полные поэзии. Это и короткие новеллы о природе, и рассказы о людях, зарисовки, короткие картинки из жизни, весёлые и грустные, которые автор называет «Блётками». А это уже не документальная, а художественная проза, говорящая о несомненном писательском даровании пишущего. Но если бы спросили, какие его книги произвели на меня наибольшее впечатление, то я бы выделил из всех «Помню и люблю» и «Характеры». Может быть, потому, что меня покорили своим свежим языком и мастерством такие славные этюды, как «Мелодия дождя», «Дороги», «Скворцы прилетели», «Тихая охота», возвращающие в незабываемое, всегда чудесное деревенское детство. Эти этюды настолько поэтичны, что их смело можно назвать стихотворениями в прозе. А может быть, потому, что в, казалось бы, простеньких «семейных»

миниатюрах, в бытовых картинках и рассказах есть правда жизни, и они превращаются в большую картину ушедших лет, заставляют размышлять о смысле жизни и неостановимости времени...

Книгу «Между прошлым и будущим» открывает прекрасный очерк «Свет отчего дома», где события связаны тоже с детством. И это закономерно. Хоть и родился писатель в Сибири, соседнем Купинском районе, детство его прошло в наших, казахстанских местах – в целинном совхозе «Михайловский», расположенном на границе с Россией. Здесь начинается отсчёт его жизни, здесь истоки его творчества. Как гласит народная мудрость, детская память – это чистый лист бумаги, где всё пишется один раз и на всю жизнь. И это истинная правда – чем дальше отстуживает время, тем чаще мы возвращаемся в страну детства. А если ты писатель, то всё, что видел тогда, что сохранил в своей душе, хоть с годами и опытом переосмысливается, всё равно найдёт отражение в твоих произведениях.

Очерк «Свет отчего дома» (как не хочется называть очерком лирическую повесть), по признанию самого автора, был задуман давно, создавался долго и трудно. Что ж, хорошие вещи так и пишутся. Лучших успехов добиваются те, кто пишет трудно, а не те, кто легко. «Свет отчего дома» можно считать большой удачей писателя, и недаром очерк стал победителем объявленного фондом «Сорос-Казахстан» конкурса «Казахстанская литература-2000». Лично я перечитывал «Свет...» несколько раз. К слову сказать, под его впечатлением написал одно из своих стихотворений «Прощание с деревней».

Отчий дом... Детская память не сохранила, как он появился на земле. Но по рассказам матери, они и на целину-то отправились из-за того, что у семьи не было своего гнезда. Здесь, на целине, жили сначала в палатке, потом в землянке... А уже на следующий год после приезда родители, взяв посуду, твёрдо надумали строиться. В лето целинники ставили до полутора десятков домов, в основном камышитовых или саманных. Строили по давней доброй традиции – всем миром. Это называлось помощь. И дом Поминовых, хоть и камышитовый, получился на славу. Особенно нравился мальчишке чердак, где ему позволялось в летнюю пору ночевать с кем-нибудь из друзей и где «через щели в крыше ночью проглядывали звёзды, отчётливо слышны были голоса редких прохожих с улицы, доносилось мерное лопотание тополиных листьев... И уже совсем становилось славно, когда начинал накрапывать дождь – под его негромкий аккомпанемент так неслышно и сладко подкрадывался сон...». Тогда же и зажёгся в отчем доме тот свет, который остался в памяти на всю жизнь.

Незаметно, как бы попутно писатель в этом очерке воссоздаёт жизнь села того времени, рисует яркие, неповторимые образы людей – одноклассников, соседей. Запоминаются и девочка Таня, по которой он тайком вздыхал, и вечно насупленный, сумрачный сосед Ищенко, отгородивший свой дом со всех сторон высоким дощатым забором, тут и обладающий исключительным нюхом на спиртное, хитровый мужик дядя Вася, друзья отца и матери Шарубины, жившие бедновато, и молодой Оралбек Кожанов со своей женой – красавицей Марьям, ставший впоследствии государственным деятелем и написавший несколько хороших книг... Причём все эти портреты написаны с любовью, и писатель не скрывает этой любви... Жаль, что дома того уже нет, да и время всё дальше и дальше, и сама целина кому-то нынче кажется просто пустой затеей. И всё же, несмотря ни на что, светлое это было время.

К теме детства, родины Юрий Поминов возвращается и в путевых заметках «Соседи», написанных им после поездки в Новосибирскую область, на историческую родину, как теперь любят говорить. Побывал писатель вначале в городе Купино. Этот город в годы целины был тем плацдармом, с которого перебрасывалась техника, строительные материалы для создаваемых целинных совхозов. Именно отсюда с одним из отрядов пробивался сто с лишним километров в далёком 1955 году к месту будущего совхоза «Михайловский» отец писателя. Соседние хозяйства Купинского и Железинского районов всегда помогали друг другу, выручали в трудную минуту. Здесь автор встречается и разговаривает со многими людьми, подробно рассказывает, как живут наши соседи-сибиряки.

Не мог проехать он мимо дорогой ему Чубаровки. «Приезжая в небольшую – в одну улицу – деревеньку Чубаровку, что в восьми километрах от Купино, я всякий раз испытываю особые чувства», – признаётся писатель. Близки и понятны эти чувства. Здесь – родина его отца и матери. Отсюда отец уходил на фронт, а мать, ещё девчонкой, оставив школу, работала в войну поварихой в тракторной бригаде. После войны они поженились. Здесь, неподалеку, в бывшем совхозе «Купинский», родился старший брат. Здесь родился и сам будущий писатель. Здесь жили его дедушка и бабушка... Трудно, по себе знаю, выразить словами те самые особые чувства, когда увидишь через много лет места, где родился, старое деревенское кладбище, где много родни, а само оно заросло травой... Но Юрий Поминов находит нужные слова. И для мёртвых, и для живых.

Будоражат и навевают воспоминания тёплые зарисовки Юрия Поминова о наших коллегах-журналистах, которых, к сожалению, уже нет в живых. Вспоминается и талантливый Виталий Ступак, и фотокор Владимир Колчин, с которым мы проколесили не одну сотню километров по нашей области, и районный газетчик Пётр Бородихин, который приносил мне свои стихи... Могу подтвердить, что все они были такими, как написал о них Юрий Поминов. Добавлю только, что в последний путь мы провожали их всей редакцией...

Книга вышла в свет. Теперь у неё своя жизнь, своя судьба, надеюсь, счастливая. Автор подарил мне книгу с пожеланием всегда помнить о прошлом, дорожить настоящим и верить в лучшее будущее. Хорошее пожелание. Думаю, оно может быть адресовано и читателям.

И всё же... Меня никак не покидает мысль, что Юрий Поминов способен на большее. Я имею в виду художественные произведения. Для этого у него есть всё – и божий дар, и свой стиль, и свой образный язык, и знание жизни. Очень хочется прочитать новые строки писателя, такие же, как в «Мелодии дождя» или в «Тихой охоте». А может, он уже пишет эти строки?

Виктор Семерьянов.

2002 год.

* * *

Нет, это не подражание! Это – своё, выстраданное, осмысленное, прочувствованное сердцем. Самое сокровенное! В этюдах Ю. Поминова много сугубо личного, но, пожалуй, немало и близкого каждому из нас.

Очень хочется верить, что выпускника факультета журналистики ожидает счастливая судьба. Так должно быть: человек, разглядевший просёлочную дорогу, никогда не пройдёт мимо большака...

Ю. Крикунов,

доцент кафедры журналистского мастерства

и литературного редактирования факультета журналистики Казахского государственного университета,

газета «Қазақ университетті», 5.11.1976 года,

г. Алма-Ата.

«Я нежно болен воспоминаньем детства...»

...К воспоминаниям о детстве органично примыкают «Блёстки» и «Встречи с чудом», где так же ярко проявляются авторская наблюдательность, умение бережно отсеять ненужное, заинтересовать читателя необычностью ситуации, образностью подачи материала.

...Работа в газете – тяжёлый труд. Написать, будучи редактором, не дежурную брошюрку, не конъюнктурную книжку-однодневку, а нормальную, запоминающуюся, радующую, человеческую вещь – очень непросто. Но это, к счастью, случилось.

Л. Гришина,

«Звезда Прииртышья»,

№ 140, 1993 год.

* * *

Уважаемый Юрий Дмитриевич!

Недавно прочитал вашу книжку под названием «Помню и люблю», и на меня нахлынули воспоминания давно минувших дней...

...Я помню тот Купинский базар и, конечно же, помню бабин Манин голос, предлагающий знаменитую «чубаровскую ряженку», вкус которой для меня не сравнится ни с чем...

...Хочу ещё раз сказать вам спасибо, что вы напомнили мне о некоторых годах моей собственной жизни...».

В. Журавлев,

из письма в редакцию газеты

«Звезда Прииртышья»,

21.04.1994 года, г. Павлодар.

Для нас и о нас

В книге павлодарского прозаика Юрия Поминова «Характеры» собраны в основном его новые работы последних лет так называемого малого жанра – короткие новеллы о людях с яркими характерами, зарисовки, создающие своеобразную и неповторимую палитру жизни. Гражданственность в творчестве, вольнолюбие, независимость и чувство собственного достоинства в жизни – вот те определяющие черты поминовского облика, которые характеризуют его как журналиста своего времени, сознательно и убеждённо отстаивающего искусство жизненной правды. Незатейливые, но искренние воспоминания, жизненно достоверные и социально активные «Характеры» представляют неисчерпаемый запас наблюдений, глубокую и мудрую человечность, людей своеобразных, ярких дарований.

Природный дар наблюдения помог Ю. Поминову максимально понять современных ему людей, проникнуться их чувствами, их страстями.

Л. Свидерская,

газета «Столичный проспект»,

31.07.1997 года, г. Акмола.

* * *

Кому из любителей русской словесности не знакома в Интернете библиотека Максима Мошкова, насчитывающая почти 4000 литературных произведений? Как говорится, есть что почитать! И всё-таки нет в этой библиотеке страниц, на которые я набрел, блуждая по интересному, но несколько неряшливому серверу павлодарского Internet-провайдера – Иртыш-Релком. Со вкусом написанные и так же со вкусом оформленные миниатюры Юрия Поминова под общим заголовком «Характеры. Лики эпохи. Блёстки» – вот что привлекло моё внимание настолько, что я даже не вспомнил о возможности сохранить файл на компьютере, а так и читал до конца в он-лайне...

Отклик на размещённую

в Интернете книгу «Характеры»,

1997 год.

«Живи!»

Юрий Поминов тоже пишет о том, что было, как было. Но его новеллы, зарисовки, микрорассказы, очерки – не документальная, а художественная проза...

У Юрия Поминова счастливый дар не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать.

У него хороший, «прозрачный» слог... И от первой до последней страницы книгу согревает добрая усмешка автора.

С. Шевченко,

член Союза писателей Казахстана,

газета «Звезда Прииртышья»,

24.12.1998 года.

* * *

Как явление русской прозы в Казахстане книга Ю. Поминова тесно связана с литературной традицией: автор свободно чувствует себя в жанрах семейной хроники и мемуаров, очерка и миниатюры, лирической новеллы и путевых заметок, портрета и бытовой зарисовки. Ему известны секреты композиции и сюжетопостроения, он владеет тональной палитрой красок (от лиризма и мягкого юмора до скрытой сатиры).

Книга привлекает не только удивительной россыпью человеческих характеров, но скорее мастерством их индивидуализации через живое разговорное слово. В этом смысле название книги («Живу») действительно очень удачное: в сложном и изменчивом мире опорой человеку становится живое народное слово... Выход книги – свидетельство того, что родники живого слова не иссякают.

Л. Дудина,

доцент кафедры русской и зарубежной литературы

Восточно-Казахстанского университета,

кандидат филологических наук,

январь 1999 года, г. Усть-Каменогорск.

* * *

...И самое, пожалуй, главное – настойчивое стремление автора отстоять лад жизни, изуродованной бесчисленными социальными экспериментами и катаклизмами, пусть на самой малой её площади – в быту, в семье, в собственной душе...

...Книга Ю. Поминова поражает своим неистребимым жизнелюбием, даёт читателю ощущения опоры, значительности и значимости каждой отдельной капли в безбрежном человеческом море... Ему дано умение запечатлеть нечто существенное в характере современного человека, которого досужие критики называют то «серединным», то «промежуточным», то маргинальным...

В. Артамонова,

доцент кафедры русской и зарубежной литературы

Восточно-Казахстанского государственного университета,

кандидат филологических наук,

январь 1999 года.

* * *

Новая книга Юрия Поминова «Живу» написана такой чистой и ясной прозой, с таким добрым и уважительным отношением к людям и их жизни, что представляет собой не просто замечательное, но редкое явление на нашем литературном небосклоне.

Т. Карандашова,

газета «Новое время»,

17.02.1999 года, г. Павлодар.

* * *

...Меня поразил рассказ об отце. Ведь это целое поколение людей, которых после войны уцелело всего три процента. Мне обидно за это поколение, которое вынесло всё и оказалось в итоге выброшенным из нынешней жизни. И когда автор говорит об отце, о бабушке Акулине, о своей матери, за ними стоят наши люди, наши современники, типичные образцы труда.

Ф. Тарасуло,

учитель литературы,

газета «Новое время»,

1999 год.

* * *

В своём прошлом, в воспоминаниях автор черпает силы для будущего... Возможно, очищением для автора и становятся его рассказы, общение с читателем, с самим собой. А вместе с ними и с тобой, читатель, срываются одежды серости и обыденности, недовольства всем и вся. Ты чувствуешь всю мелочность и незначительность того, что отравляет тебе жизнь, заставляет делать неприятности другим, дорогим тебе людям. Вот ты уже улыбаешься над чудачками, встающими со страниц, вспоминаешь, чувствуешь себя самого, а большего и не надо...

А. Протасьева,

магистр филологического факультета

Восточно-Казахстанского университета.

1999 год, г. Усть-Каменогорск.

* * *

Впечатление от вашей книги двоякое. С одной стороны, всё до звуков и запахов знакомое, родное. Да и рассказчик нигде не даёт повода усомниться в искренности и правдивости, его речь проста и внятна, сюжеты встроены в параметры социальной педагогики, позиция автора гуманистична...

...Жанр? Его нет... «Сама жизнь пишет эту книгу» – не оправдание... Созданная вами книга – лишь черновик для двух-трёх, а может быть, десятка произведений художественного творчества...

А. Устинов,

бывший редактор газеты «Казахстанская правда»,

член редколлегии журнала «Жизнь национальностей»,

июнь 1999 года, г. Москва.

* * *

...Что же касается Ю. Поминова, он работает преимущественно в жанре прозы, относящейся к разряду документальной, воссоздавая через конкретных, а не выдуманных лиц саму жизнь, тщательно отбирая из множества явлений быстротекущего времени наиболее колоритные и выразительные «кадры» (как это делает фотохудожник, запечатлевая под неожиданным ракурсом неуловимые мгновения бытия), зорко подмечая в тех людях, о ком пишет, такие характерные черты и тончайшие штрихи, что делают их узнаваемыми и полнокровными.

«Акмолинская правда»,

18.11.1999 года, г. Астана.

* * *

Жду всё, что выйдет из-под пера Ю. Поминова. Его поэтическая и земная проза – в русле того, что рождалось и на донской земле (повести и рассказы Владимира Фоменко, Виталия Закруткина, Анатолия Калинина, Василия Воронова), и в русской литературе (В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин).

...Во многом знакомые мне «блёстки» прочитал и перечитал с большой радостью для себя, удивляясь (в который раз!) зоркости глаза и яркости литературного языка автора...

...По-бунински ярко и красочно дана картина бурана... Это ли не поэзия?

...Вы прекрасно владеете образным словом, в ваших рассказах чувствуется и неповторимый стиль, и собственная ваша интонация (вместе – это визитная карточка писателя).

Вы тонко чувствуете природу, вы можете скучными красками дать портрет изображаемого вами человека... Сколько раз перечитываю «Записки об отце», столько раз перехватывает дыхание...

...Ваши лирические миниатюры заменяют развёрнутые рассказы.

Вы умеете на ограниченном пространстве прозы создать яркие образы, живые характеры. Язык ваших произведений – образный, музыкальный, многозначный. Стиль вашей прозы – свидетельство того, что вы прошли хорошую школу русской словесности...

...«Блёстки» ваши – прелесть! Читать и перечитывать их – сплошное удовольствие...

Э. Барсуков,

писатель.

Ростов-на-Дону.

Исповедальная книга павлодарского писателя

...Автор книги «Живу» не соревнуется с теми, кто печёт бестселлеры-однодневки. Главный его козырь – хорошее знание мира «простых людей»... мира, в котором история не творится, а проживается. Воспоминания об этом мире обладают удивительным эффектом...

...Стиль его мастеровито бесхитроушен и поэтичен одновременно.

...Юрий Поминов живёт... «не по злобе», пишет без надрыва и взвинченной пафосности.

В. Дмитриев,

газета «ВЕК», 16-22 февраля 2001 года, г. Москва.

* * *

В своём творчестве автор остаётся верен главным для него темам – детству, родному краю, людям, с которыми его сводила судьба... Можно сказать, что именно время – один из главных героев новой книги Юрия Поминова «Живу».

В. Лаврушин,

газета «Маяк Кулунды», 29.07.2000 года, г. Купино,

Новосибирская область.

* * *

...Мне эти рассказы напомнили о судьбах моих предков, повеяло дымом собственного Отечества, знакомым запахом ковыльной, полынной степи...

Автор через призму своей родословной знакомит читателей со всеми этапами уходящего столетия, и бытовые картинки оказываются срезом всего общества, территория которого простирается от родины Льва Толстого до казахской ковыльной окраины с застенчивыми берёзовыми колками...

...Воссоздавая живые картинки прошлого, автор в своих рассказах воздвиг своеобразный памятник своим самым близким, самым любимым людям...

...Будто молодые деревца из густой берёзовой рощи, вырастают на страницах книги Поминовы-младшие, подпитываемые живительной влагой человечности... Идут своей дорогой, осиливая свою ношу...

...Где бы автор ни был – в Америке ли, в Японии – он всегда мысленно возвращается к себе на родину, помнит запах полыни... Путевые заметки о поездках за границу – ещё одно доказательство того, как сильно он любит свою родину...

С. Мухаметкалиев,

(из письма в редакцию газеты «Звезда Прииртышья»),

3.12.2000 года, г. Павлодар.

* * *

Достоинство книги «Живу», на мой взгляд, в том, что, читая её, глубоко переживаешь за невымышленных героев... Тонко подмечены характеры людей нашей эпохи. Вы пишете о своих знакомых, а я, читая, вижу своих знакомых, которые жили в других краях, в других обстоятельствах, но в их действиях и поступках много общего, продиктованного обстоятельствами времени.

А.Ф. Пильчевский,

полковник, старший преподаватель
Тамбовского военного
авиационно-инженерного института,
18.12.2000 года, г. Тамбов.

* * *

Прочитав том избранной прозы Юрия Поминова, названный ёмким словом «Живу», донской писатель Василий Воронов сказал: «Здесь нет ни слова неправды». Они оказались близки по духу и по стилю, ростовский и павлодарский собратья по перу: та же приверженность к правде, народной жизни, умение увидеть поэзию в обыденном...

Альманах «Южная Звезда»,
2000 год, г. Ростов-на-Дону.
(Василий Воронов – известный ростовский прозаик,
бывший главный редактор журнала «Ростов-на-Дону»).

* * *

Отличительной чертой прозы Ю. Поминова является её «человеческое начало», стремление запечатлеть сложную палитру мыслей, характеров, поступков... Материалом, дающим «толчок» художественному мышлению, служит сама жизнь – она и становится основанием идеи, скрепляющей отдельные новеллы и очерки в единое повествование, тем внутренним стержнем, на который нанизываются события, факты, ситуации.

«Живу» – книга-диалог. Её герои – «персонажи» действительности, наделённые в произведении собственными «голосами», благодаря чему повествование книги приобретает полифоническую структуру.

Анализируя речевую организацию произведений Ю. Поминова, нельзя не заметить, что поэтику автора питает художественная традиция, авторская мысль сплетается с мыслью народной. Авторская речь вбирает в себя насыщенный колорит изустного русского слова.

«Живу» – книга-откровение, её содержательная доминанта – основательное, неспешное «промысливание» бытия, постижение многообразности человеческой души, поиск духовной первоосновы современной действительности.

О. Кувшинникова,
аспирант Восточно-Казахстанского
государственного университета, 2001 год.

* * *

Невозможно оторваться, пока не дочитаешь до последней строчки «Блёстки» Юрия Поминова. И невозможно не улыбнуться...

Гульнара Нурпеисова,
«Казахстанская правда»,
28.12.2001 года, г. Астана.

Много ли может один человек?

Он может, например, сохранить память о своей семье, Доме, Родине, дать им пусть и не вечную, но долгую-долгую жизнь, согреть и сохранив теплом и любовью своей души.

Детство – наша общая Родина. Что мы сохраним оттуда, из золотого сна, то и пребудет с нами сегодня и, самое главное, после нас. Щедрое семя зрелости закладываются в детстве, и благо тому, кто не засушил и не заморозил их на бесконечно долгом и трудном пути к самому себе. Ю. Поминову это удалось.

В очерке о целине «Свет отчего дома» главный герой – эпоха, слившаяся в единый мощный поток сотни тысяч людей. Это – эпическое время. Жанр «записок» выбран исключительно точно. Рассказ о сугубо личных и детских впечатлениях об отчем доме неожиданно и закономерно трансформировался в историю поколения.

П. Чурсин,
кандидат филологических наук.
5.08.2000 г.

* * *

Мне передали Вашу книжку «Блёстки». Прочёл. Правильнее сказать – проглотил. Здорово! Какие верные наблюдения, остроумные, лирические, неожиданные... Получил огромное наслаждение. Спасибо!

С уважением –

Аркадий МАЦАНОВ,

редактор литературно-художественного альманаха «Ковчег»,

Май, 2003 г.

г. Ростов-на-Дону.

* * *

Сюжеты «блёсток» вырастают из самой что ни на есть народной жизни. Ну чем, казалось бы, здесь заинтересовать можно? А как захватывает!

...В «блёстках» автор буквально слит со своими героями... Каждая миниатюра, даже самая маленькая, – производное его внутренней сущности, его мировоззрения... И юмор, и лёгкая грусть, и едва уловимый налёт мудрой народной философии. А ещё – поразительная искренность...

Людмила и Юрий Сакины.

2008 год.

* * *

Небольшая по объёму, но очень ёмкая по содержанию книга «Блёстки»... Особенность её – краткость изложения при законченности мысли. У меня эта книга на особом счету. Короткая зарисовка, буквально несколько строчек, – и уже готовый, интересный рассказ, не требующий разжёвывания. Многие страницы окрашены тонким, добрым юмором.

Я с удовольствием читаю эту книгу, буквально смакую, словно бокал хорошего вина. Иногда возвращаюсь к прочитанному...

Если у вас плохое настроение, вы устали – возьмите «Блёстки», откройте любую страницу, начните читать, и вы убедитесь: настроение ваше улучшится...

М. Пудич,

ветеран Великой Отечественной войны.

2003 год.

* * *

Книга «Между прошлым и будущим» – многожанровая: очерки, интервью, статьи, путевые заметки. Но главное – содержание... Просто писатель разными литературными средствами отображает время и людей... Оглядываясь в прошлое и заглядывая в будущее, он оценивает настоящее... При этом автор – не бесстрастный фиксатор событий. Всё, о чём он пишет, пропущено, говоря высоким стилем, через сердце...

Сергей Горбунов,

собственный корреспондент

«Казахстанской правды».

10 января 2003 года.

* * *

Книги Ю. Поминова пользуются большой популярностью у читателей нашей библиотеки. В том числе потому, что он не понаслышке знает жизнь села, заботы простого люда. Его герои живут рядом с нами, говорят нашим языком – они нам близки и дороги...

Г. Сенаторова,

заведующая библиотекой

села Голубовка Иртышского района.

17 марта 2003 года.

* * *

Юрий Поминов обладает редкой особенностью творческого духа – увидеть и выразить в слове поэзию простой человеческой жизни, обыденного, казалось бы, человеческого жития. Его книги «Помню и люблю», «Характеры»,

«Живу» и другие дышат живой теплотой глубокого, искреннего сочувствия к человеку, его душе, духовным устремлениям.

Стиль Ю. Поминова прост, непритязателен, но это высокая простота истинности, которая, любя правду, чурается суесловия.

Писатель любит и знает русский язык, по крупницам собирает живое и меткое русское слово (книга «Блѣстки»).

В. Михайлов,

редактор журнала «Простор»,

18 июня 2004 года.

г. Алматы.

* * *

Юрий Поминов регулярно публикуется в «Ниве». Его добротные материалы характеризуют автора как вдумчивого и пронизательного писателя-документалиста, обладающего подлинным художественным вкусом, хорошим литературным языком, широтой кругозора, глубиной постижения действительности и умением создавать яркие и запоминающиеся образы реальных героев.

Об этом красноречиво свидетельствуют его книги «Крупяной клин», «Помню и люблю», «Характеры», «Между прошлым и будущим». Юрий Поминов не только продолжает лучшие традиции российской и казахстанской документальной прозы, но и развивает их, внося в свои произведения своеобразие и собственную неповторимую интонацию.

Особое место в творчестве Ю. Поминова занимает жанр окрашенных мягким юмором и доброй шуткой миниатур, составивших замечательную книгу «Блѣстки» и сделанных уверенной рукой мастера, умеющего отбирать в многообразии жизни пикантные эпизоды, ограничивать их, превращая в блестящие самоцветы.

Литературный талант Юрия Поминова самобытен и не вызывает сомнений.

В. Гундарев.

редактор журнала «Нива»,

Июнь 2004 года.

г. Астана.

* * *

Жанры, в которых работает Ю. Поминов, – это публицистика, очерковая журналистика, можно даже сказать – мемуарная новеллистика.

Так, например, писал В. Солоухин, именно в жанре мемуарной новеллистики написана его книга «Каравай заварного хлеба». Так писал Виктор Конецкий, только слегка олитературивая картины окружающей жизни. Но сила литературы не в словах, слов много, а сила в сшибке слов, в ненарочном противостоянии предложений или абзацев. То есть в той искре, которая возникает у читателя при чтении документально-публицистической литературы...

Владимир Дегтярёв,

член Союза писателей России.

август 2010 года.